Арон ГУРЕВИЧ

История историка

Зерно вечности

А. Гуревич История историка


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.

В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.

- Арон Гуревич История историка
  - Предисловие
  - I. Медиевистика в Московском университете в середине 40-х годов
  - II. Разгром науки
  - III. «Ссылка» в Тверь
  - IV. Новые искания
  - V. Переломное время
  - VI. Обсуждение и осуждение книги о феодализме
  - VII. 60–70–е годы: «акме» историка
  - VIII. Конец 70–х — первая половина 80–х годов. Новые проблемы исследования
  - IX. Перестройка. Открытие мира
  - Postscriptum

Арон Гуревич История историка

Предисловие

Мысль о написании автобиографии смутно возникла в моем сознании довольно давно. Лет десять тому назад я набросал небольшой очерк, озаглавленный «Почему я не византинист?» Название это таит в себе вызов, ибо очерк был предназначен для византиноведческого сборника. Несколько позже я напечатал в ежегоднике «Одиссей» статью «Путь прямой, как Невский проспект, или Исповедь историка». В ней уже намечались некоторые контуры моей будущей «саги». Вскоре после этого небольшой этюд «Почему я скандинавист?» появился в сборнике в честь норвежского слависта Йостейна Бёртнеса. Наконец, первому тому моих «Избранных трудов» предпослана статья «“Генезис феодализма” и генезис медиевиста. Злые мемуары в роли предисловия». Но вплотную приниматься за воспоминания я все еще остерегался, полагая, что подобная работа будет последней в моей жизни. Однако время неумолимо идет, и долее откладывать нельзя.

Итак, зимой 1999 года я предложил участникам моего семинара и всем желающим прослушать мои устные мемуары, воплощающие опыт историка, проработавшего более полустолетия. Слушателей нашлось немало, и я им сердечно признателен за терпение и интерес. Этот текст был записан на диктофон, и Светлана Валериановна Оболенская самоотверженно расшифровала и отредактировала его. Я бесконечно благодарен ей за эту нелегкую работу, которая продолжалась и после расшифровки, поскольку на страницы будущей книги вносились многочисленные дополнения и уточнения.

Не менее я благодарен моей дочери Елене, с помощью которой было сделано немало дополнений и поправок; ей я обязан также окончательной редакцией книги.

В процессе работы над книгой я решил включить в нее целый ряд фрагментов из записей, сделанных мною летом 1973 года, по горячим следам событий, описанных в моих мемуарах. (Эти цитаты обозначаются в книге: «История историка», 1973.) Эту толстую тетрадь, исписанную моим неразборчивым почерком, много лет назад скопировала моя ныне покойная жена Эсфирь, которая всегда настаивала на том, чтобы память о событиях моей жизни историка была сохранена для будущего. На страницах этой тетради сохранились ее разрозненные пометки, сделанные ею незадолго до кончины. Ее памяти я и посвящаю эти воспоминания.

I. Медиевистика в Московском университете в середине 40-х годов

Вступление: Почему я взялся за мемуары? — Как я не стал дипломатом. — Кафедра истории Средних веков МГУ в середине 40–х годов. — Е. А. Косминский. — А. И. Неусыхин. — Б. Ф. Поршнев. — Лекции Р. Ю. Виппера. — Женитьба.

Попытки что-то наговорить в диктофон обнаружили мою неспособность вести живую беседу с этим бездушным существом. Необходимой спонтанности выражения не получается. Диктовать какому-нибудь одному человеку тоже не получается. Мне нужно ощущать аудиторию, которая не позволила бы отключиться и побудила бы собраться с мыслями. И хотя я вас не вижу, я чувствую, что вы здесь, и это взаимодействие мемуариста с публикой, может быть, даст возможность выразить то, что хотелось бы. Сейчас это записывается на диктофон, а расшифровка, редактирование, может быть, будут произведены теперь, а может быть, в другие времена. Это будет уже отчужденный текст, о котором сейчас у меня никаких забот нет. Теперь по существу.

Почему после довольно долгих колебаний я решился предложить вашему вниманию эти устные мемуары? Речь идет, конечно, прежде всего не о моей замечательной персоне, речь о другом. Все же большую часть жизни, почти всю свою сознательную жизнь я был историком, находился среди историков и пережил целую историю. Если вспомнить, что я начал заниматься историей во второй половине 40–х годов, а сейчас мы стоим на рубеже столетий, то выходит, что я был так или иначе вовлечен в некоторый историографический процесс. По меньшей мере на протяжении пятидесяти, если не более, лет я был свидетелем и по мере сил участником этого историографического процесса — это первое; и второе, что особенно существенно, — на памяти моей произошла резкая смена парадигм, смена основных задач, принципов, методологических установок и результатов, получаемых в историческом познании. То, с чего мы начинали в те времена, когда я был студентом или аспирантом, чем занимались наши учителя, и то, чем мы занимаемся или пытаемся заниматься, с

большим или меньшим успехом, сейчас, — это, собственно, две разные исторические науки. Между ними есть несомненная преемственность, которую важно признавать и даже ею дорожить при всем критическом отношении к ней, но все- таки эти страницы истории исторической науки уже перевернуты.

Насколько мне известно, воспоминаний историков о прошедшем полустолетии в нашей стране очень немного. Я слышал, правда, что отдельные тексты были опубликованы или будут публиковаться. Это очень хорошо, но, помимо всего прочего, у каждого свое виденье, своя оценка того, что произошло, и поэтому сопоставление воспоминаний разных индивидов об одном и том же предмете не лишено определенного интереса. Волею судеб, и не без собственной воли, я оказался в гуще событий, через меня проходили некоторые силовые линии, и поэтому я могу представить свидетельство из первых рук, разумеется, со всеми теми ограничениями и поправками, без которых мемуарист не может обойтись. Это *мои* представления о том, что происходило, *мои* оценки, они не могут не быть субъективными и лишенными полноты: что-то запомнилось, а что-то отошло на задний план; одному я придаю особое значение, другое оказывается не столь значимым. Масса подробностей всплывает в сознании. Естественно, эти мемуары несут на себе отпечаток того лица, которое перед вами выступает, и того времени, когда это вспоминается.

На мой взгляд, преемственность в развитии нашего исторического знания и преподавания за последние десятилетия была серьезно нарушена. Осмеливаюсь утверждать, что молодежь: студенты, аспиранты и даже молодые научные сотрудники, уже имеющие за плечами опыт самостоятельной работы, в силу ряда причин либо вовсе не знают, либо знают очень плохо новейшую историю отечественной и мировой науки, и это нарушение научной традиции и отсутствие должной перспективы, мне кажется, существенно мешает полноценному творчеству историков. Надо знать, откуда появились те идеи, которые сейчас на слуху или сталкиваются друг с другом, какова была судьба людей, высказывавших и отстаивавших свои взгляды, или, наоборот, тех, кто подвергал гонениям историков, имевших свои идеи. Прошлое в лицах, в поступках, в книгах, в диспутах и т. д. мало известно нашей молодежи.

Мне представляется, что это большой недостаток, который необходимо восполнить. Правда, я сталкивался с тем, что иные молодые люди не только не знают ближайшего прошлого, но занимают в этом отношении принципиально негативную позицию: им это не интересно, зачем забивать голову этой

рухлядью, когда есть настоящее и еще более заманчивое будущее; «пусть мертвые хоронят своих мертвецов».

Я надеюсь, что среди молодежи есть и носители противоположных взглядов; в частности, ваше присутствие здесь — тому доказательство. А кроме того, нигилистическая позиция некоторых молодых людей — не препятствие для людей старшего поколения, желающих поделиться своим опытом. Что вы будете с ним делать, в какой мере сумеете к нему прислушаться — это ваше дело, но, мне кажется, это не должно исчезнуть вместе с нами. К сожалению, за минувшее десятилетие из жизни ушли многие историки, у которых было богатое прошлое, — и не только индивидуальное, но и общественное; очень жаль, что они его не зафиксировали и оно оказалось погребенным вместе с ними. Я чувствую со своей стороны потребность и своего рода долг перед молодежью рассказать о том, что было пережито и чему свидетелем, прямым или косвенным, я был.

В моем повествовании не будет строгой системы, я, в частности, не собираюсь начать с рассказа о том, как я родился от отца с матерью и как все происходило в дальнейшем. Я начну с гораздо более позднего времени. Воспоминания — это ведь такая вещь: в сознании всплывают разные пласты, не всегда контролируемые логикой. Может быть, эта непоследовательность и не должна быть искоренена: чем меньше я буду себя цензурировать, тем более правдивой будет та информация, которой я смогу с вами поделиться.

* * *

Итак, с чего начать? Летом 1944 года я, двадцатилетний, окончил второй курс заочного отделения исторического факультета МГУ, заочного потому, что в начале войны, будучи негодным к несению строевой службы, был мобилизован военкоматом на танковый завод, работал в отделе технического контроля и одновременно мог учиться только на заочном отделении. Но закончив второй курс, я уже вполне убедился в том, что обучение на заочном отделении дает лишь малую долю того, что получает студент стационара. Общение с учителями было спорадическим и давало не так много: все же студент — заочник оставался вне университетской среды, вне многих семинаров, лекций, вне общения с преподавателями, профессорами, которым могли в полной мере наслаждаться студенты очного отделения. Я сделал попытку перейти на стационар, однако администрация факультета отказала: перевод

с заочного отделения на стационар запрещен. Но потребность «добраться» до профессоров была слишком сильна, и мне удалось добиться перевода в порядке исключения.

Тогда ведь вся жизнь складывалась таким образом: вы приходили к чиновнику, о чем-нибудь просили и получали в ответ «нет», «не положено» или что-нибудь в этом роде. Вы, может быть, знаете анекдот, возникший в советское время. Человек приходит к юристу и задает вопрос: «Скажите, имею я право?..» Тот прерывает его: «Имеете». «Простите, я еще не спросил вас…» Тот: «Имеете, имеете». — «Хорошо, а могу ли я?..» — «Нет, не можете». Это была точная зарисовка: мы ничего не могли, хотя формально имели право на что угодно. Всякий раз приходилось преодолевать какие-то запреты и рогатки, и вся наша жизнь состояла из таких вещей.

Расскажу об одном совершенном мною по крайней глупости и молодости поступке. Летом 1944 года объявили, что при МГУ открывается факультет международных отношений. Это был будущий Институт международных отношений, существующий и в настоящее время. Почему мне взбрело в голову попытать счастья поступить туда, не знаю. Но я пришел на собеседование и увидел большое количество молодых людей — все парни, девушек не было. Конец войны, все ходили драные, но тут мальчики были одеты неплохо, чувствовалось, что для этого торжественного дня мамы их приодели. И я стою в толпе, вызывают по одному. Выходит один парень, очень возбужденный, кричит:

— Евреи могут не беспокоиться, уходите сразу.

Я проявил понятный интерес и говорю:

— А что такое?

— Таких там не терпят.

— Ну, посмотрим.

— Ах, ты тоже из этих, ну, давай, сейчас сходишь, потом расскажешь.

Захожу, длинный стол, приемная комиссия. Председатель комиссии — Иван Дмитриевич Удальцов, экономист (брат известного медиевиста Александра Дмитриевича Удальцова). Говорили, что он был старым большевиком, руководителем первой подпольной большевистской ячейки в Императорском университете. Перед нами сидел седой старик с беспомощной неопределенной улыбкой на лице, несколько растерянный: вот его посадили, он председатель, но в чем состоят его функции, кроме как сидеть и приветливо улыбаться, ему, по — видимому, не объяснили или объяснили, что этого вполне достаточно. Рядом сидит молодой парень, представляющий, наверное,

комсомольские органы. А беседу ведет крепкий, сытый, самодовольный человек в форме генерала дипломатической службы — стального цвета мундир со всеми аксессуарами — по фамилии Силин, который после этого стал, кажется, чрезвычайным и полномочным послом в Чехословакии. Он, собственно, и был приемной комиссией, он царил, только он и имел право задавать вопросы, из которых мне стало ясно, что парень, советовавший мне не ходить, был абсолютно прав. Силин задавал вопросы один нелепее другого. «Кто такой Дидро? А читали вы “Монахиню” Дидро»? Затем еще вопросы такого же рода. А затем он срезал меня вопросом: «Когда во всемирной истории впервые появился корабль с металлическими деталями?» Убейте меня, я и сейчас не ведаю. Я узнал гораздо позже (Силин этого, конечно, не знал), что викинги строили корабли без единой металлической части. Я растерялся, не ответил, он прекратил беседу на этой ноте, и всей комиссии стало ясно, что я невежественный человек, который к дипломатической службе не может быть способен, ибо не знает таких элементарных для дипломата вещей.

Это был для меня некоторый опыт; ведь шел конец войны, уже намечались многие новые тенденции в нашей общественной жизни, и, в частности, на взлете патриотизма пропагандой и государством культивировались национализм и шовинизм. О том, что антисемитизм в нашей стране поднимает голову, я уже некоторые косвенные известия имел, теперь я получил доказательство из первых рук.

Я очень благодарен г — ну Силину за то, что он отвратил меня от совершения ложного шага. Я понял, что надо перейти на стационар истфака, что и сделал.

Переход мой из числа студентов — заочников в полноправные студенты тоже не был лишен известного драматизма, но совершенно в другом роде. По законам военного времени студент — заочник, работавший в танковой промышленности, не имел права уволиться. Натолкнувшись на отказ, я обратился к начальнику отдела технического контроля, где я работал, с просьбой перевести меня в ночную смену на длительное время (обычно ночная и дневная смены перемежались с интервалом в одну неделю). Работая только в ночную смену, я имел бы возможность посещать университетские занятия и ходить в библиотеку. Я получил соответствующее разрешение и на протяжении почти четырех месяцев наслаждался обретенной полусвободой — не только от дневного заводского труда, но и от нормального сна. Мне удавалось прикорнуть дома на час — полтора перед ночной сменой и прихватить полчаса дремоты в

заводской обеденный перерыв. До сих пор помнится удивительное ощущение непрерывности бодрствования.

Но если в двадцать лет многонедельная бессонница давала мне необыкновенную легкость и ощущение полноты жизни, то потом за это пришлось расплачиваться головными болями. За все приходится рано или поздно расплачиваться. На исходе четвертого месяца подобного существования организм мой взбунтовался, однажды вечером я не смог заставить себя проснуться и прогулял ночную смену. Наутро меня вызвал начальник и пригрозил передачей в суд дела о моей недисциплинированности. Время было суровое, и шутки шутить не приходилось. Но тут меня осенило, и я ему заявил:

— Конечно, я нарушил закон. Но разве вы, со своей стороны, не нарушили его, позволив своему работнику оставаться в ночной смене на протяжении нескольких месяцев?

Он растерялся:

— Что же мне с вами делать?

— Увольте меня с миром, как я давно вас просил!

Так я получил возможность стать полноправным студентом.

* * *

Итак, первое сентября 1944 года. Я вхожу в здание университета на Моховой, внизу висят огромные бумажные «простыни», на которых написано, какие профессора читают по каждой кафедре, какие будут курсы, какие семинары; предлагается масса всякого рода заманчивых вещей, а я знаю только, что люблю историю, а больше, собственно, ничего не знаю.

Правда, некоторый особый интерес был уже пробужден во мне одной из работ Дмитрия Моисеевича Петрушевского. Заочником на втором курсе я должен был сдавать историю Средних веков. До войны были изданы два толстенных красных кирпича — учебники истории Средних веков под редакцией О. Л. Вайнштейна и Е. А. Косминского — первый том, С. Д. Сказкина — второй, и там после каждой главы был помещен список рекомендованной литературы. Я наивно полагал, что нужно штудировать всю эту литературу, и начал это делать. Потом я убедился, что это невозможно — список был слишком велик. После главы «Рим и варвары» первой рекомендовалась глава из книги Петрушевского «Очерки средневекового государства и общества». До этого по истории Средневековья я читал только учебники и еще какие-то пособия. Но здесь я столкнулся с

текстом, написанным выдающимся историком — медиевистом. Петрушевский, несомненно, один из самых крупных русских медиевистов первой половины XX столетия. Читая его, я впервые увидел, как пишется история или как нужно ее писать. Богатство деталей никогда не заслоняет общего развития исторического процесса, выводы подтверждаются новым материалом, мысль историка движется логично, стройно и убедительно. Я подпал под обаяние идей этого ученого. Таков был первый шаг в моем образовании как историка.

Стоя перед объявлениями о том, где что можно послушать, я столкнулся с девушкой, которую знал очень мало, она была уже на четвертом курсе. Она спрашивает:

— Ну, и что же вы выбрали?

— Не знаю, тут слишком много интересного.

— Знаете, — сказала она, — кем именно вы будете дальше, это откроется впоследствии. А сейчас вам надо пройти школу. Школу надо пройти на кафедре истории Средних веков в семинаре у профессора Александра Иосифовича Неусыхина. Несомненно, он — лучший профессор факультета.

Это был самый дельный совет из всех, которые я когда-либо в жизни получал, и я бесконечно за него благодарен. Я послушался и пошел записываться на эту кафедру.

Я окунулся в новую для меня научную, психологическую и человеческую среду. Кафедра истории Средних веков истфака МГУ в конце войны представляла собой собрание крупных ученых, разного калибра, конечно. Но все это были люди, имевшие целью постижение истины, как они это понимали, и доведение своих очень глубоких и всесторонних познаний до студентов, с каждым из которых они неустанно возились. Заведовал кафедрой тогда Евгений Алексеевич Косминский, член — корреспондент АН, впоследствии академик, крупнейший специалист по аграрной, социальной истории Англии преимущественно XIII столетия. У меня уже была его книга «Английская деревня в XIII веке». Бывают же совпадения: в мой день рождения приятельница, с которой я еще в школе учился, подарила мне, купив у букиниста, эту книгу, не имея о ней никакого понятия, но зная, что я учусь истории. Это тоже был как будто прорыв в будущее.

На кафедре работали Сергей Данилович Сказкин, Александр Иосифович Неусыхин, Владимир Михайлович Лавровский, Вера Вениаминовна Стоклицкая — Терешкович, Борис Федорович Поршнев, Николай Павлович Грацианский (я знал его очень мало, потому что зимой 1945 года он трагически погиб), Фаина Абрамовна Коган — Бернштейн, Моисей Менделевич Смирин и

ряд других сотрудников, каждый из которых представлял собой яркую индивидуальность.

Это были люди разного склада. Но что им всем, во всяком случае людям старшего поколения, таким, как Сказкин, Неусыхин и в особенности Косминский, было органически присуще? Основы их образования и воспитания были заложены еще до революции и даже до начала Первой мировой войны. Они еще впитали в себя ту систему ценностей, которая в дальнейшем уже не культивировалась в этой стране. И помимо того, что мы получали от них знания, навыки научной работы и все то, что входит в систему исторического образования, общение с этими людьми совершенно иного психологического склада было прежде всего фактором нашего воспитания. Мы общались с носителями иной культурной традиции, нежели та, что была вложена в нас советской школой, семьей, средой, улицей, газетами, радио, да и самим истфаком. Выходя за пределы этой кафедры, мы попадали в совершенно иную идеологическую и психологическую обстановку. Кафедра истории Средних веков являлась, с моей точки зрения, замечательным оазисом, где приобретались такие ценности, которые за пределами небольшой комнатки, где она помещалась, получить было невозможно.

Истфак тогда находился на ул. Герцена (Никитской) в небольшом здании, где сейчас располагается издательство МГУ. Там была отгороженная шкафами комната; собственно, стен у нее не было, поскольку их закрывали книжные полки, заполненные преимущественно старой литературой, потому что средств на приобретение новой почти не выделялось. А из этой комнаты вела дверь в маленький закуток, где могли уместиться всего лишь несколько человек, когда происходил какой-нибудь семинар или экзамен. Кабинетом истории Средних веков заведовала Валентина Сергеевна Сорокеева, человек в высшей степени достойный и преданный своему делу. Она боготворила Косминского, нежно любила как наших учителей, так и нас, поскольку мы к ним прилепились, и заботилась об удовлетворении каждой потребности и члена — корреспондента, и профессора, и аспиранта или студента. Тут действительно был родной дом, сюда приходили, здесь было по — человечески тепло. Но главное — это те уроки, которые мы там получали.

Я записался в два семинара, к Неусыхину и Косминскому, двум совершенно разным педагогам. Косминский — исследователь, погруженный в свои занятия, строго говоря, не был горячо предан педагогическому делу. Но он уделял студентам необходимое внимание, и я не могу пожаловаться на отсутствие заботы по отношению ко мне или к кому-нибудь из

той небольшой группы студентов и аспирантов, которые к нему ходили. Мы вместе с ним сидели над огромным фолиантом «Doomsday Book», «Книгой Страшного суда» (опись земельных владений и населения Англии, произведенная по повелению Вильгельма Завоевателя в 1086 году). Само созерцание этой книги, а тем более чтение ее текстов приобщало нас к совершенно иной действительности; мы вместе разбирали отрывки и на основе их строили свои предположения, производили некоторые сопоставления с более поздними памятниками, такими, например, как не менее объемистые «Rotuli Hundredorum» («Сотенные свитки», 1279). Евгений Алексеевич с нами возился, но более всего его воздействие на нас шло через его работы, через «Английскую деревню» (спустя несколько лет вышло второе издание, коренным образом переработанное, под названием «Исследования по аграрной истории Англии XIII века»). Это классическая работа. Я вспоминаю: когда в первой половине 90–х годов я был в Кембридже, ко мне подошел некий джентльмен и говорит:

— Профессор Гуревич, я слышал, вы ученик самого Косминского?

Я приосанился и отвечаю:

— Да.

А он:

— А я, знаете ли, ученик самого Постука.

Постан был тоже очень крупный аграрный историк, он называл себя постмарксистом. Так вот, имена Косминского и Постана числятся в золотой книге английской медиевистики XX века.

Сейчас работы Косминского кое — кому могут показаться неинтересными, поскольку в них содержатся подсчеты, произведенные по упомянутым мною и другим памятникам; его исследование посвящено преимущественно или даже исключительно анализу аграрного строя, структуры феодального и крестьянского землевладения, категорий крестьян, форм ренты, способов эксплуатации крестьянства. Далеко за пределы этого круга вопросов книга Косминского не выводила, но это было фундаментальное исследование, опиравшееся на огромный статистический материал, уникальный для Средневековья. «Английская деревня» была опубликована в 1935 году, «Исследования по аграрной истории» — в 1947 году.

В то время историки — медиевисты производили свои подсчеты примерно так, как в Средние века считали с помощью абака. Кроме бухгалтерских счетов не было ничего — ни арифмометров, ни каких- нибудь хитроумных устройств вроде

счетных машин или компьютеров. Трудно представить себе, какие огромные затраты времени, энергии, здоровья понадобились Косминскому и другим исследователям аграрной истории, чтобы собрать этот необъятный цифровой материал и разместить его, сохраняя смысл и меру в исследовании. Теперь эти подсчеты можно провести во много раз легче и быстрее. Но перед нами были люди, решавшиеся на подвиг. Мне рассказывали, что Петрушевский (он скончался, если не ошибаюсь, в 1942 году в эвакуации) еще до 1935 года говорил Косминскому: «Е. А., ну когда же, наконец, вы напишете книгу, основанную на ваших подсчетах?» Косминский отвечал: «Мне, Д. М., еще раз надо все это пересчитать»; то есть он обрекал себя еще раз на эту казнь египетскую. Такова была степень добросовестности и вдумчивости этих людей.

Вспоминаю более позднее время, когда один из косвенных учеников Косминского Михаил Абрамович Барг писал свою докторскую диссертацию, посвященную сопоставлению «Сотенных свитков» и «Книги Страшного суда». Он уже ставил несколько иные вопросы, но опять-таки из области социально — экономической истории. Барг долгое время жил в бараке, где с потолка капала вода, а он всю комнату застелил своими таблицами и ползал по полу, чтобы разыскать какие-то данные.

Но когда мы теперь, имея другой опыт и обсуждая другие проблемы, читаем работы этих ученых, возникают и некоторые критические соображения. Перед нами средневековый источник, наполненный всякого рода цифрами; возникает соблазн организовать эти цифры в таблицы и на их основании строить утверждения, которые, как кажется, безусловно вытекают из скрупулезного и добросовестного анализа необъятного статистического материала. Это сциентистский соблазн. Еще в конце 40–х годов, да и в 50–е годы и гораздо позднее, сохранялось убеждение, что история является наукой в той степени, в какой она может овладеть числом и мерой, прибегнуть к помощи точных наук и прежде всего математики.

Много лет спустя, когда Косминского уже не было в живых, меня поразила мысль: а, собственно, что являлось предметом подсчетов медиевистов — аграрников? В источниках указано количество гайд, карукат и виргат — земельных участков, находившихся в распоряжении того или иного монастыря, или светского лорда, либо распределенных между крестьянами. Значит, можно суммировать и подсчитывать эти наделы. Когда площадь земельных владений определялась в этих источниках карукатами, то есть землей, которая может быть вспахана полной восьмиволовой упряжкой плуга, предполагалось, что

существовала какая-то средняя величина карукаты, и поэтому можно их в таблицы укладывать. Но откуда мы знаем, что карукаты и гайды — это всегда равновеликие величины? И однажды мне в голову пришла такая мысль: а что если средневековые меры имели такие особенности, которые делали их мало соизмеримыми с другими величинами под тем же названием? Ведь в Средние века не было и не могло быть какого-то эталона акра или карукаты, виргаты или гайды, который хранился бы где-то в Парижской обсерватории! Средневековые меры более чем своеобразны. Вирга — шест, палка определенной длины. Виргата — участок земли, к ширине которого прикладывалась эта палка. Но какова была длина этого участка земли, определялось характером почвы, пересеченностью местности, бесчисленными локальными условиями. В какой мере виргаты соизмеримы — это очень спорный вопрос. Специфика земельных мер, связанная с общими представлениями средневекового человека о пространстве и возможностях овладения им, о природе в целом, со своеобразным пониманием того, что такое точность, мало тревожила представителей аграрной школы.

Это не значит, что я готов перечеркнуть выводы, которые были сделаны Косминским. Слишком огромный материал был собран, и крайности могли в какой-то мере уравновешиваться. Но знать специфику этих источников и все каверзы, которые они в себе содержали, очень важно. Для того чтобы понять эти каверзы, оговорки, о которых я бегло упомянул, надо было выйти за рамки аграрной истории и подумать о содержании сознания средневековых людей. Но это историков — аграрников заведомо не интересовало.

После октября 1917 года коммунисты постепенно взяли под свой контроль научную работу, и Академия наук и университеты вскоре испытали это на себе. Царила обособленность социально — экономической истории от истории культуры, они были разведены напрочь; те, кто занимался историей культуры не интересовались, как правило, историей социально — экономических отношений.

Что касается медиевистики, то здесь сложилась такая ситуация. Историки, занимавшиеся социально — экономической историей, — это школа очень почтенная, насчитывавшая уже два или три поколения ученых, начиная с И. В. Лучицкого, Н. И. Кареева, М. М. Ковалевского, П. Г. Виноградова, А. Н. Савина, далее Д. М. Петрушевский, Е. А. Косминский и другие (я назвал далеко не всех). К этой школе власти проявили относительную терпимость, потому что изучение аграрной истории могло быть

вписано в учение о социально- экономических формациях. А историки средневековой культуры занимались историей религиозности, духовной жизни, историей монашества, папства — предметами, с точки зрения официальной идеологии, заведомо вредными, ненужными, запретными. И это направление было в конечном итоге задавлено, а многие из тех ученых, кто этим занимался, просто перестали вести профессиональный образ жизни. Аграрная история поневоле ограничивала себя собственными рамками, потому что выход за их пределы был чреват всякого рода невзгодами.

Косминский — несомненно крупнейший русский медиевист после Петрушевского. Это был человек необычайной образованности и обширного ума. В его облике присутствовала сановная величественность (мы его иногда называли «ясновельможным паном», разумеется, за глаза). Он был большой, медленно двигался, важно говорил, но люди, относительно ему близкие, — в той мере, в какой это не нарушало пафоса дистанции («пафос дистанции» — это выражение Неусыхина), — знали, что он робок в общении, стеснителен, деликатен, хотя вместе с тем вовсе не лишен не только чувства юмора, но, я бы сказал, здоровой человеческой злости или, во всяком случае, очень критического взгляда на мир. Он не раскрывался, по крайней мере, я не был этого удостоен (несомненно, кто- то знал больше, чем я), да и ситуация была такова, что не стоило лишнего говорить. Отношение к режиму оставалось его тайной; впрочем, когда от него требовали какой-нибудь идеологической «присяги», он мог ее дать.

Я не буду придерживаться принципа и никогда его не придерживался — о мертвых или хорошо, или никак. Если ему следовать, пришлось бы закрыть это заседание, ибо говорить все время «хорошо» было бы ложью совершенно беспардонной. Наши учителя прожили жизнь, и ясно, что в ангельском чине они пред Господом Богом не предстали, им много чего пришлось вкусить и совершить, и скрывать это нет оснований.

В своих опубликованных воспоминаниях («Путь прямой, как Невский проспект, или Исповедь историка», «Одиссей-1992») я упоминаю случай (там я имени Косминского не назвал), о котором мне много позже рассказал Неусыхин. В Ученом совете истфака выступает Косминский и произносит что-то патриотическое. Кончается заседание, Неусыхин подходит к Косминскому. Это надо было видеть: большой, величественный Евгений Алексеевич и маленький, щуплый, плохо одетый, недокормленный, болезненный Александр Иосифович (он был моложе Косминского, но кто из них выглядел более старым и

больным — это еще вопрос). Внешне все выглядело мирно, но некая пикировка произошла. Александр Иосифович говорит: «С каким пафосом Вы говорили сегодня, Евгений Алексеевич!» Косминскиий поворачивается, смотрит на него и отвечает: «Dixi et animam levavi, как сказал Салтыков — Щедрин».

А. И. учился в такой же классической гимназии, как и Е. А., и знает, что это сказано было задолго до Салтыкова — Щедрина. Поэтому он спрашивает: «Е. А., а причем здесь Салтыков — Щедрин?» Косминский: «А вы не помните в “Современной идиллии”: Dixi et animam levavi — сказал я, и стошнило меня». Вот такова была ситуация. Нашим учителям приходилось произносить официальные речи, противоположные их внутреннему убеждению, и они были вынуждены идти на компромисс. Е. А. не всегда мог уклониться от принесения таких вот словесных «присяг», гордиться которыми у него не было никаких оснований.

Злость или, скорее, ирония, которая присутствовала в его характере, выражалась в том, что он писал очень злые стихи (для узкого употребления). Прекрасный рисовальщик, он делал замечательные иллюстрации к «Острову пингвинов» Анатоля Франса, и была у него целая серия карикатур на академическую публику. Этот член- корреспондент, а потом академик очень хорошо видел и понимал академическую элиту, всю эту камарилью, которая отплясывала свой танец под эгидой Отдела науки ЦК КПСС, и запечатлел их в серии рисунков, не оставляющих сомнения в том, что он про них думал. Но с нами, учениками, он был, конечно, в высшей степени сдержан, не переходил границ, дистанцию держал.

Вспоминается один небезынтересный эпизод. К шестидесятилетию Е. А. группа студентов сочинила небольшое поздравление на латыни. Один из его аспирантов, А. П. Левандовский, начертал манускрипт со всеми особенностями средневековой каллиграфии. Мы вручили Е. А. это послание на одном из занятий, он был очень тронут. Неделю спустя он ответил нам латинским стихом, в котором, наряду с похвалами по нашему адресу, были такие заключительные строки: «Pereat doctrina dopschiana, et vinceat metodologia marxiana!» (Борьба с допшианством, учением известного австрийского историка Альфонса Допша, который интерпретировал каролингское общество как капиталистическое, считалась в конце 40–х годов одной из первостепенных задач советской медиевистики.) Но то, что в намеренном несоответствии смысла и формы стихотворения Косминского заключалась, разумеется, глубокая ирония, я понял лишь гораздо позже. Точно так же много лет спустя мы с моим

старым другом Ароном Ильичем Рубиным, желая сказать что-нибудь язвительное о книге Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и понимая, что открыто этого сделать нельзя, называли ее «De marxismo linguisticaque» — и никто не мог придраться.

В доме у Е. А. были три сестры (увы, отнюдь не чеховские) — Надежда Николаевна, его супруга, и ее сестры. Надежда Николаевна была персоной в высшей степени неприветливой. Однажды, когда Е. А. жил еще на Зубовском бульваре, в коммунальной квартире, студенты из нашего семинара зашли за ним, чтобы вместе поехать на какое-то заседание в Президиум АН. Спускаемся по лестнице, лифт не работает. Е. А. садится на скамеечку, стоявшую в углу между этажами. Идет Надежда Николаевна, спрашивает:

— Что с тобой?

— Что-то с сердцем неважно.

— Ну, посиди, посиди, — говорит она и удаляется.

Нас поразило ее равнодушие.

Зато когда Евгения Алексеевича избрали полным членом Академии, когда он получил новую квартиру на Ленинском проспекте, дачу под Звенигородом, персональный автомобиль с шофером и другие блага, отношение к нему изменилось, в том числе и в собственном доме.

Для нас он стал гораздо менее доступен. Я на себе испытал некоторое неудобство от того, что Е. А. превратился в академика. Будучи его аспирантом, да и позже, я, с его разрешения, иногда приходил к нему. И вот мы сидим в его кабинете. Ритуал был такой: сначала надо было поинтересоваться его самочувствием. Он говорил довольно медленно, описывал симптомы своего не совсем хорошего состояния. Я почтительно и с сочувствием все это выслушивал — я его любил (А. П. Каждан пишет в своих мемуарах в «Одиссее», что он боготворил Косминского, и я всецело его понимаю: мы чувствовали масштабы этого ученого и человека). Но вот он кончил справку о своем здоровье. Открывается дверь, появляется Надежда Николаевна: «Молодой человек, вы утомили Евгения Алексеевича». Это тоже был ритуал: не успеешь начать говорить и уже утомил его. Он начинает оправдываться: я товарища пригласил по делу. Удавалось отстоять какие-то позиции и все-таки с ним переговорить, в темпе, конечно.

Мало приятно было и то, что другие люди, его окружавшие, не слишком симпатичные, сплошь и рядом его недостойные, стремились монополизировать его в своих интересах. Е. А. от них зависел, потому что приходилось делать какие-то дела,

редактировать, организовывать, это было не для него и поручалось другим. Иногда обнаруживалось, что кто-то предварил тебя своим визитом и пытался воздействовать на него в определенном смысле. Сам он не всегда верно ориентировался в обстановке.

И все же не это было главным! Главным было то, что он мыслил очень масштабно, большими проблемами. Косминский заведовал одновременно и кафедрой истории Средних веков в университете, и сектором истории Средних веков в Институте истории АН. Он вел заседания, после всякого доклада подводил итоги, и его последнее слово было самым интересным; он всегда находил какой-то новый ракурс проблемы и включал тему, которую обсуждал докладчик, в более широкий контекст. Его выступления, даже реплики имели для меня и, я думаю, для всех моих сверстников огромное воспитательное значение. Он учил нас мыслить исторически, причем прилагая к истории адекватный ей масштаб, не раздробляя ее на мелкие, разрозненные фрагменты, но рассматривая конкретную ткань истории в широком смысловом наполнении. Таков был Косминский.

Другим моим учителем стал Александр Иосифович Неусыхин, человек совершенно иного склада. Внешне он был очень невзрачен, о нем мало заботились, во время войны в эвакуации он, как рассказывали, голодал, страдал дистрофией, которая в конечном итоге привела его к преждевременному старению и кончине в 1970 году. Но если вы видели его глаза и слышали его речи, то понимали, что перед вами очень живой человек, обладающий необычайно острым умом, способностью глубоко проникать в суть вещей.

Неусыхин был прежде всего педагог, затем уже исследователь. Педагог он был великолепный, возился с нашим семинаром, с каждым из нас, у нас происходили регулярные встречи. Он не успевал проделать с нами в университете все, что нужно, и поэтому вечером, конечно, предварительно договорившись, разрешалось прийти к нему домой, на Малую Бронную, в его малюсенький кабинет, заполненный книгами и рукописями, — когда-то это была комната для прислуги. Здесь стояли столик и два стула — один для А. И., другой для посетителя. Тут, имея в руках текст источника в оригинале, подробно обсуждали работу, представленную студентом, — обсуждали часами, столько, сколько А. И. считал нужным для того, чтобы все прояснить и объяснить. Он любил нас, любил это дело, работал с нами бесконечно много.

Докторскую диссертацию, если не ошибаюсь, А. И. защитил в

1946 году, а монографию по этой теме опубликовал только в 1956 году. Эта затянувшаяся пауза определялась разными факторами. Первый из них заключался в том, что он всю диссертацию заново переписал. В сборнике его трудов, изданном посмертно, напечатан первый вариант докторской. Книга же «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества VI-VIII веков», опубликованная десятью годами позже, — это совершенно иной текст. Переработка диссертации в монографию, потребовавшая от автора огромных усилий, привела к расширению глав и появлению бесчисленных детальных примечаний, что, несомненно, явилось данью немецкой академической традиции. В результате основные линии аргументации, четко и ясно прописанные поначалу, стали тонуть во множестве деталей, которые, на мой взгляд, скорее отяготили, нежели усовершенствовали книгу.

Второе. Н. А. Сидорова, которая к началу 50–х годов уже заняла силовые позиции и в секторе Средних веков Института истории, и на кафедре Средних веков МГУ, требовала от Неусыхина, чтобы тот в предисловии к своей монографии отмежевался от Петрушевского и подверг его критике как буржуазного историка. Но Петрушевский был любимым, бесконечно чтимым учителем Неусыхина. Он его воспитал, и память о Петрушевском была для А. И. столь же священна, как впоследствии и для нас, учеников, память и уважение к самому Александру Иосифовичу. Никому не удалось бы подвигнуть Неусыхина ни на какие историографические наскоки на Петрушевского, и это тормозило публикацию работы. В очень большой мере задержка публикации книги была вызвана, несомненно, и тем, что он занимался ею от случая к случаю, будучи постоянно отвлекаем педагогической работой, которая, впрочем, была ему органически необходима.

В семинары А. И. обычно подбирались сильные студенты: на факультете все знали о его требовательности. Мы старались получить от него как можно больше знаний и навыков исследовательской работы и трудились, не жалея сил. Но по временам в семинаре появлялись и другие персонажи. Я помню, пришли к нему две девочки, М. и Ш. Они были настолько беспомощны, что внушить им что-либо путное даже талант педагога Неусыхина был не в состоянии. Помню печальную сцену: он прочитал работы той и другой и говорит: «Товарищ М., ваша работа хуже, чем даже работа Ш.». Последняя была на седьмом небе, в восторге, что ее работа лучше. Ему приходилось тратить массу времени и нервов — ведь он хотел помочь каждому.

То же самое происходило на экзаменах. Студент с трепетом

входил в маленькую комнатку при кафедре, где А. И. принимал экзамены, и оставался там час или два. Все мы с ужасом ждали, что же произойдет. Наконец, студент или студентка, в совершенно «распаренном» состоянии, покидали кабинет, а следом выходил и А. И. — с видом хирурга после произведенной операции.

«История историка» (1973 год):

«У А. И. Неусыхина я занимался в семинарах, слушал спецкурсы и обязан его преподаванию и воспитанию больше, чем мог бы выразить. К великому моему огорчению, последние годы наших отношений (А. И. умер в 1970 году) были омрачены растущими несогласиями между нами, о которых еще придется писать, и эти горькие для меня воспоминания отравляют чувство удовольствия, возникающее, когда я возвращаюсь мыслью к годам ученья. В ретроспекции, в свете последующего моего развития я не могу не видеть всю однобокость и даже недостаточность преподавания на кафедре, в том числе и в школе Александра Иосифовича — самого квалифицированного и влиятельного (на студентов) педагога. Но эта переоценка не мешает мне сказать: как ученого меня “сделал” именно он!

Огромно, хотя и в ином роде, было влияние Е. А. Косминского — несомненно, самого крупного ученого на кафедре и, может быть, на всем факультете в то время. С ним встречи были куда более редкими, а беседы — краткими, чем с А. И., но каждая эта консультация была для меня значительна и памятна. Но прежде всего учили его труды».

На кафедре были и другие заслуживавшие всяческого уважения ученые. Вера Вениаминовна Стоклицкая — Терешкович являлась видным специалистом по истории средневекового города, немецкого прежде всего. Она очень много знала и очень много давала своим ученикам. У нее были свои особенности, которые иногда вызывали смех. Ныне покойный А. Я. Шевеленко, тоже учившийся на кафедре Средних веков, вспоминал: Стоклицкая читала спецкурс по еретическим движениям в Северной Италии в XI-XII веках. И вот однажды она настолько увлеклась рассказом о борьбе между еретиками и епископами, что, услышав перешептывание студентов, вдруг возопила: «Епископ Меерович, это что за разговор!» Она могла позвонить по телефону и говорить непрерывно, не проверяя, жив ли еще собеседник на другом конце провода, и не интересуясь его реакцией. Любимым ее учеником был Михаил Абрамович Заборов, впоследствии известный специалист по истории крестовых походов. Миша рассказывал: «Вера Вениаминовна стала мне очень часто звонить. Вот она звонит, я сижу за столом.

Я время от времени, с промежутками в 10 минут, говорю: “Да, да, Вера Вениаминовна, я вас внимательно слушаю”. Затем кладу трубку и занимаюсь своим делом». Это не значит, что она ничего путного не могла сказать, но неудержимый речевой поток вызывал комический эффект.

Ну, если хотите развлечения, я расскажу о том, что было в эвакуации, когда МГУ был в Ашхабаде. Всех, и студентов и профессоров, разместили в каких-то сараях. Девочки мне рассказывали, как они слышали ночной разговор за дощатой стенкой. Лежат в постели Вера Вениаминовна и ее супруг, известный юрист. У нее был громкий голос — есть люди, которые иначе, как громко, говорить не могут. Голос Веры Вениаминовны:

— Коля, купим осла?

В Ашхабаде были свой транспортные проблемы.

— Что, Верочка? Купим, спи.

Пауза.

— Коля, а где будет стоять осел?

— Ну, что-нибудь придумаем.

Снова пауза.

— Коля, а что ест осел?

Диалог продолжался довольно долго. Осел, кажется, так и не был приобретен. Но анекдот остался. Все это памяти настоящего ученого никак не вредит.

Вера Вениаминовна была очень серьезным исследователем, хотя, конечно, отпечаток времени на ее работах лежал. Средневековый город в ее трактовке — это прежде всего социально — экономическая структура, в которой трудились и в которой развертывалась борьба. Все остальное оттеснялось на задний план, до культуры дело не доходило.

Работал на кафедре Владимир Михайлович Лавровский, занимавшийся парламентскими огораживаниями в Англии. Это был очень доброжелательный и открытый человек, который охотно и с большим интеллектуальным напором передавал нам свои знания. Он увлекался не только темами, но и людьми, обожал Косминского, своего старшего друга, рассказывал, как они самоотверженно трудились в библиотеке Британского музея, когда в 30–е годы им разрешили поехать в Лондон в научную командировку. Лавровский очень опекал и превозносил молодого, только начинавшего свою карьеру М. А. Барга.

Нужно упомянуть еще одного ученого, который производил на всех сильное впечатление, правда, не в то время, а несколько позднее. Борис Федорович Поршнев — удивительная фигура. Да простит мне его тень, но я не думаю, что он был прежде всего историком. Он с пренебрежением относился к коллегам, называл

их (я сам это слышал) крохоборами, которые роются в источниках и что-то желают из них извлечь, а идеи лежат вне сферы их компетенции. Он мыслил социологически, философски. Концепции и оригинальные, даже парадоксальные построения были ему дороже, нежели исследование конкретного материала. Но это приводило к тому, что не все его работы принимались серьезными учеными.

Припоминаю несколько весьма поучительных эпизодов. Вышла в свет в виде книги его докторская диссертация о народных выступлениях во Франции накануне Фронды, вскоре удостоенная Сталинской премии, — ведь речь шла не о чем-нибудь, а о классовой борьбе! (Другим медиевистом, удостоенным Сталинской премии, был М. М. Смирин — за монографию о Томасе Мюнцере и Крестьянской войне в Германии: изучение народных движений и революций ценилось в те годы выше всего прочего.) Б. Ф. Поршнев в своей книге использовал огромный материал, в приложении дал тексты документов. И вот мы сидим на научном заседании сектора Средних веков Института истории, который тогда находился на Волхонке. Идет обсуждение этой монографии.

Из Питера специально приехала Александра Дмитриевна Люблинская. Это тоже была в высшей степени колоритная фигура среди историков старшего поколения, дама, обладавшая острым умом, огромными знаниями и очень нелегким характером, личность тираническая и крайне пристрастная. Но ученый она была первоклассный — для того времени, конечно. На обсуждении книги Поршнева она произнесла большую речь, разоблачая его ошибки и подтасовки. Вывод был такой: «В книге Бориса Федоровича (а в ней было страниц 600–700) нет ни одной добросовестной страницы». Я не думаю, что кто бы то ни было может написать книгу в 600–700 страниц, среди которых нет ни одной добросовестной, но то, что Борис Федорович допускал перехлест за перехлестом, не вызывает никакого сомнения. Это не мешало тому, что в его спорах с Мунье (книга вскоре была переведена на французский язык) французская научная общественность в основном, насколько я знаю, приняла сторону Поршнева. Его идеи оказались, таким образом, плодотворными для мировой историографии.

Но научное творчество Поршнева страдало своего рода инфляцией идей, и часто он не мог обуздать себя. Полковник Бирюкович — он работал в военной академии, но был и специалистом по истории Франции начала Нового времени — очень метко сказал о Борисе Федоровиче, что у него «страстный характер ума».

Плодом одного из его необузданных увлечений была странная книга «Феодализм и народные массы». Идеи ее сводятся к следующему. Феодалы были такими же жестокими угнетателями, как и рабовладельцы античных времен; и сеньоры наверняка довели бы вилланов, сервов до рабского состояния, если бы не постоянная, напряженная классовая борьба крестьян, которая помешала господам этого достигнуть, а крестьяне хотя и остались зависимыми, эксплуатируемыми, но все-таки не превратились в рабов. Следовательно, классовая борьба является демиургом истории и, собственно, творит экономику. После обсуждения статей Поршнева на эту тему, обсуждения очень страстного и в основном негативного для Б. Ф., он, тем не менее, захотел все это оформить в виде книги.

Я был свидетелем того, как он заказал одной молодой особе подобрать научные доказательства — ссылки, чтобы его высказывания не выглядели голословно. Подобрать ничего не удавалось, и эта молодая особа была настолько бестактна (я допустил это выражение, поскольку речь идет о моей жене), что, придя к профессору, изложила ему свои критические соображения. Он или пренебрег ее мнением, или не счел возможным для себя спорить по существу. И это не помешало ему опубликовать свою книгу, продукт его странного творчества.

Вместе с тем, несомненно, это был человек необычайного таланта, огромной эрудиции, очень увлеченный наукой. Вы, возможно, знаете, что он занимался не только историей Средних веков и Нового времени, его захватила мысль о «снежном человеке», и в поисках этого фантома он даже сам отправился на Памир в экспедицию. Все это заслуживает, наверное, всяческого уважения — человек обладал столь широким диапазоном научных увлечений и страстей. Но с ним было трудно.

Я помню: в конце 50–х или начале 60–х годов из Франции возвратился ученый из числа армянских эмигрантов. В Париже он работал в школе Иньяса Меерсона и Жан — Пьера Вернана, которые разрабатывали проблемы исторической психологии. Приехавший в Москву делал доклад об этом новом в то время направлении. Б. Ф. вначале отнесся к его сообщению в высшей степени негативно, через несколько месяцев, однако, передумал и решил, что исторической психологией стоит заниматься.

В связи с этим произошел такой случай. Я сделал в семинаре у С. Д. Сказкина в секторе истории Средних веков доклад об изучении исторической психологии. Он был воспринят с недоверием, недоумением, непониманием, а «раскусил» меня Александр Николаевич Чистозвонов, защищенный от всего нового своими ортодоксальными взглядами, о нем мне неоднократно, к

сожалению, придется упоминать. Выступая в прениях, Чистозвонов заявил: «Арон Яковлевич, вы совершенно правильно считаете, что в вашем докладе не содержится никаких оригинальных идей и вы только констатируете то, что уже было высказано (я действительно старался подчеркнуть, что есть уже богатая традиция, которая просто до нас не дошла). Между прочим, в Пентагоне, — продолжал Чистозвонов, — давно уже разрабатывают принципы идеологической войны, и вот в этом плане ваши изыскания, конечно, могут им помочь».

Б. Ф., присутствовавший на моем докладе, по — видимому, понял, что дело не в Гуревиче (что такое этот Гуревич?), а тут бросают камушек в его огород, выступил и поддержал меня, заявив о пользе изучения исторической психологии.

Вскоре Поршнев опубликовал книжку «Социальная психология и история» и преподнес ее мне со словами: «Я вижу в вас рецензента». Я прочел книжку. В ней не содержалось ни одного указания на какие бы то ни было источники, на факты, которые можно было бы исследовать в плане изучения исторической психологии, кроме одной главы с многочисленными цитатами из работ Ленина относительно того, как надо вести себя, чтобы революционная тактика не отрывала партию от масс с их переменчивыми настроениями и т. п. Но о том, как историк может мобилизовать для таких исследований исторические источники, какова возможная методология изучения социально — психологических феноменов, не говорилось ничего. И я сказал: «Б. Ф., я не буду писать рецензию на эту книгу. То, что этим нужно заниматься, уже доказано не нами. Но проблема состоит в том, как этим заниматься, вот в это надо углубиться». Он не хотел углубляться в проблему, он хотел на эту тему просто поговорить.

«История историка» (1973 год):

«Аспекты истории, которые все более привлекали мое внимание начиная с рубежа 50–60–х годов, я именовал “социально — исторической психологией”. Термин, вероятно, не слишком определенный и не вполне адекватно отражающий мой подход к рассмотрению исторического материала, тем более что одновременно Б. Ф. Поршнев выступил в качестве пропагандиста сближения истории с психологией, имея в виду совершенно иные, чем я, и, на мой взгляд, малоперспективные формы сотрудничества обеих дисциплин. Его занимали преимущественно всякого рода настроения или чисто психологические установки, он настаивал (правда, не конкретизируя) на необходимости изучения психологии. Я не нашел его подход существенным с точки зрения историка.

Решающим, по моему убеждению, является вопрос: возможна ли выработка с данной точки зрения плодотворной методики исследования исторических источников? Иначе говоря, можно ли сделать приемы, данные, идеи, установки другой науки (в данном случае психологии, но это же касается и социологии, антропологии, лингвистики и т. д.) достоянием исторического исследования, органически включить их в него, с тем, чтобы обогатить его понятийный и инструментальный арсенал?

Б. Ф. Поршнев не задумался над этой стороной дела либо по непониманию ее важности (не нужно упускать из виду, что, как это ни парадоксально, он был лишь отчасти историком — ремесло нашей профессии со всеми его трудностями его никогда не привлекало; его обобщения — строго говоря, не обобщения конкретного материала, а идеи общего порядка, к которым потом уже подгонялся материал истории, долженствовавший их не проверить и не изменить, уточнить или даже опровергнуть, но иллюстрировать, подтвердить), либо вследствие именно понимания, какую огромную и чреватую издержками черновую работу надобно проделать, прежде чем аппарат другой науки смог бы включиться в набор орудий мастерской историка.

Конечно, не обладая, в силу особенностей своего характера […] вкусом к конкретному исследованию, Поршнев к тому же спешил: спешил и потому, что был уверен в важности и плодотворности каждой мысли, зарождавшейся в его голове, и потому, что у него было мало времени: он старше меня почти на два десятка лет. А результат? Его книга “История и социальная психология” ничего не стоит. В лучшем случае, при самом снисходительном к ней отношении (как, например, А. П. Каждана, написавшего на нее очень положительную рецензию после того, как я вежливо, но твердо отказал в этом Поршневу), она имела минутное значение как начальная пропаганда идеи».

Б. Ф. Поршнев, несомненно, пользовался значительным влиянием на молодежь, будучи оригинальным мыслителем и нестандартным человеком, с собственными идеями. Их не всегда можно было принять всерьез, но они всегда провоцировали споры. Я могу утверждать, что когда из ландшафта Института истории исчезла его массивная фигура, наша среда многое потеряла.

Эпизодически читал лекции студентам и аспирантам — медиевистам профессор, который не был членом кафедры, но представлял собой в известном смысле живую легенду. Это был академик Роберт Юрьевич Виппер. Его научная деятельность началась в последней четверти XIX столетия, и в момент, когда мне довелось слушать его спецкурс по истории раннего

христианства, он был уже старцем, достигшим своего восьмидесятилетия. Лекции читал он у себя дома, в большой квартире на Ленинском проспекте, в известном доме академиков. Для студентов, как я уже сказал, он был живой легендой, и поэтому на первой лекции в его большой столовой собралось довольно много народу. Перед нами сидел очень старый человек, он читал, держа в руках, как мне показалось, старые, пожелтевшие листы рукописи, не отрываясь от текста. Уж не знаю, чья недобрая рука положила на другой конец длинного обеденного стола книгу, раскрыв которую, мы поняли, что это — не что иное, как учебник истории Средних веков, написанный Виппером для дореволюционной гимназии и опубликованный в самом начале XX столетия. Вскоре мы убедились, что Роберт Юрьевич читал тот самый текст, который был написан чуть ли не полустолетием раньше. Он ничего не изменил, ничего не убавил и не прибавил, он читал по своей старой рукописи.

Конечно, мы испытали очень большое разочарование: при всей нашей неопытности мы понимали, что за полстолетия в исторической науке немало было сделано, и повторять слово в слово то, что было написано пятьдесят лет назад, было довольно-таки странно. И это, естественно, привело к результату, напоминающему финал Прощальной симфонии Гайдна. Постепенно аудитория растаяла, и осталось всего несколько человек, которые преданно продолжали посещать лекции Р. Ю. Виппера. Разумеется, по отношению к старцу, каким он являлся, то было проявлением нашего молодого нецивилизованного неуважения, но это факт, который приходится упомянуть.

Я вспомнил это не для того, чтобы похулить память выдающегося ученого. Е. А. Косминский, историк следующего за Виппером поколения, рассказывал, что когда он слушал Виппера в самом начале XX столетия, будучи студентом, у него было впечатление, что тот в каждой лекции высказывал новые, оригинальные продуктивные идеи, которые приводили к развенчанию прописных «истин», внедрявшихся в головы учащихся, и таким образом его лекции играли большую роль в воспитании студентов. Правда, Е. А. рассказывал и другую анекдотическую историю, которая в известном смысле перекликается со сценой чтения почтенным старцем своих старых рукописей. Однажды якобы профессор Виппер взял извозчика и приехал в Императорский Московский университет, взошел на кафедру, открыл портфель, обнаружил, что листки с лекцией, которую он должен был читать, остались дома, молча сошел с кафедры, взял извозчика и уехал домой. Оторваться от текста не

свойственно было ему, по — видимому, и в ранние, и в поздние годы.

Для чего я рассказываю об этом? Не для того, чтобы просто развлечь слушателей и, возможно, будущих читателей. Эта история вспомнилась мне теперь, когда я сам достиг возраста, недалекого от возраста тогдашнего Виппера, которого я слушал в конце 40–х годов.

Наступает момент, когда ученый останавливается в своем духовном росте, в своем научном развитии, уже не может создавать новые вещи, но не всегда ясно сознает, что сказанное, написанное им несколько десятилетий тому назад уже устарело и к нему необходимо относиться критически. Этот урок я извлек, конечно, не тогда, когда слушал лекции Виппера, а вот теперь, когда пытаюсь подвести итоги развития медиевистики, в котором и сам принимал и еще пытаюсь принимать известное участие. Ученый переживает периоды акме — наивысшего подъема творческих сил, большой научной продуктивности. У представителей разных научных дисциплин этот период приходится на разные моменты жизни. Очевидно, у математиков, физиков и некоторых других представителей точных наук этот экзамен на оригинальность ученый проходит в ранней молодости — в двадцать — тридцать, тридцать пять лет; гуманитарий — в силу глубокой специфики его профессии, — очевидно, работает медленнее, накапливает больший жизненный опыт, и зрелые плоды своих трудов пожинает поэтому не в двадцать или тридцать лет, а несколько позднее.

Тем не менее действует неумолимый закон старения, перевеса консервативных сторон мышления ученого над продуктивными, изменчивыми его элементами — и новый период наступает рано или поздно. Я хочу подчеркнуть, что, кажется, я отчетливо сознаю, что мое акме давно миновало, оно приходится на 60–70–е годы, с последующими рецидивами, возвращениями, попытками продолжить исследования на основе анализа новых источников и учета новых тенденций в историческом знании в более позднее время. Они имели место в конце 70–х и начале 80–х годов, а затем такие эпизоды происходили в моей жизни все реже и реже. Это критическое самосознание, критическое отношение к тому, что ты делаешь, и понимание, что не только ты сам не вечен, но и высказанные в твоих трудах истины или то, что ты принимаешь за истины, устаревают так же, как устаревает и сам субъект этого творчества, дается с огромным трудом. Наше сознание и самосознание протестуют, никому не хочется плестись в хвосте, но воображать, что ты продолжаешь принадлежать к авангарду, — обманчиво и приходится делать из этого печальные

выводы."

Я думаю, что этот урок существен для меня, и постараюсь в дальнейших своих воспоминаниях соблюдать дистанцию между временем, когда мне удавалось создавать что-то новое, и временем, когда процедуры репродукции, повторения, может быть, на новой основе, с привлечением новых источников, но в кругу все тех же идей, приобретают первостепенную важность.

* * *

Таковы были некоторые из тех лиц, с которыми пришлось мне и моим друзьям — студентам встретиться на кафедре истории Средних веков и которые, разумеется, в разной мере и по — разному, оказывали на нас воздействие. Кажется, я состоялся как историк, и тем не менее, когда вспоминаю своих университетских учителей, не всегда могу избавиться от ощущения, что по сравнению с ними я приготовишка, робеющий перед мастером.

Как писал о себе и других ученых людях Бернар Шартрский в начале XII века, «мы подобны пигмеям на плечах гигантов». Он справедливо исходил из мысли, что ученый должен быть глубоко осведомленным о трудах своих предшественников и опираться на них; если же он видит дальше и острее своих предшественников, то только потому, что усвоил сделанное до него. Я отчетливо сознаю, что за последние десятилетия сама природа исторического знания изменилась настолько, что мы уже не можем следовать по стопам учителей. Но мы должны суметь включить все ценное из накопленного ими в наши построения.

«История историка» (1973 год):

«…Верность научной традиции — всегда ли она благоприятна для ученых и желательна для развития науки? Значение этих вопросов я сумел осознать лишь после того, как сам стал переживать глубокую ломку как историк и увидел, сколь легко из исследователя реальных проблем науки превратиться в эпигона, иллюстрирующего уже добытые истины и (именно поэтому) перерабатывающего их в не — истины, в банальности, уже не имеющие отношения к науке, к поиску, к разведке еще не изведанного».

* * *

Было бы несправедливо, говоря о профессорах кафедры

истории Средних веков МГУ, обойти полным молчанием тех медиевистов, которые тоже работали в середине 40–х годов, но не принадлежали к нашей aima mater. Медиевистика существовала и в других вузах. В педагогических институтах Москвы, государственном (им. Ленина), городском и областном, работали А. С. Самойло, В. Ф. Семенов, В. А. Немировский и некоторые другие. Владимир Абрамович Немировский, серьезный и вдумчивый историк, был, кажется, единственным, кто в те годы разрабатывал курс истории средневековой культуры. К сожалению, насколько мне известно, он ничего по этой теме не опубликовал. Возможно, причиной была его преждевременная смерть. Виктор Федорович Семенов, специалист по истории Англии, был в кругу аспирантов и молодых кандидатов наук известен как «всеобщий эквивалент»: он безотказно соглашался быть официальным оппонентом по любой диссертации, причем оппонентом не слишком строгим к соискателю.

За пределами Москвы медиевистику представляли такие историки, как С. И. Архангельский в Горьком (Нижнем Новгороде) и М. Я. Сюзюмов в Свердловске (Екатеринбурге). Этого знатока истории Византии отличала оригинальность воззрений. Припоминаю излюбленное им противопоставление «Кодекса Юстиниана», свода римского права, варварскому «котелку» — ордалиям, в частности, испытаниям кипятком, практиковавшимся на франкском Западе.

Наконец, не могу не вспомнить Юрия Алексеевича Корхова, специалиста по истории ремесла (в том числе догородского) и города. Очень милый и скромный человек, он казался совершенно беззащитным и неспособным отстоять себя, вследствие чего был оттеснен более энергичными коллегами на периферию научной жизни. Как сейчас, хотя минуло пол столетия, помню его растерянный взгляд, почему-то упорно напоминающий мне о князе Мышкине. И впрямь, он плохо вписывался в суровую действительность 40–50–х годов.

* * *

Этот раздел моих воспоминаний охватывает преимущественно 1944–1945 годы, но я испытываю необходимость подчеркнуть, что эти годы ученья сыграли решающую роль в моей жизни также и в другом отношении. Мои воспоминания — не автобиографического свойства, но вместе с тем я в полной мере сознаю, что некоторые события моей личной жизни слишком тесно переплетены с историей начинающего

историка, чтобы их можно было обойти молчанием. В той же студенческой группе, к которой я принадлежал, была девушка по имени Эсфирь; родные и друзья называли ее Фирой. Вместе с ней мы усердно трудились в семинарах Неусыхина и Косминского, посещали концерты в Консерватории, читали те же книги. Весной 1945 года мы стали мужем и женой и прошли вместе всю дальнейшую жизнь вплоть до августа 1997 года, когда она скончалась. Фира, несомненно, обладала всеми данными для того, чтобы стать серьезным историком, и это не одно лишь мое мнение, каковое вполне может быть субъективным и пристрастным. Передавали, что когда она подала Косминскому свою дипломную работу, посвященную древнеанглийскому праву, Евгений Алексеевич сказал Александру Иосифовичу: «Наверное, это Гуревич написал ей такую интересную работу», на что Неусыхин, который высоко ее ценил и говаривал, что она «закопала свой талант в землю», решительно возразил: «Нет уж, скорее это она написала Гуревичу его диссертацию». Но беда заключалась в том, что та разновидность истории, которой нас тогда обучали, социально — экономической и по сути «безлюдной», далекой от людей как живых существ, эта разновидность истории ее обескураживала, и она не захотела ею заниматься по окончании Университета.

Но на протяжении более полустолетия она оставалась неизменной первой читательницей всего, что я написал, более того — непредвзятым и придирчивым критиком. Она была очень честолюбива, но ее честолюбие было направлено на меня, и я изо всех своих сил старался соответствовать ее идеалу историка. Что из этого получалось, это другой вопрос. Во все нелегкие моменты моей жизни историка она была рядом и поддерживала меня. К моим противникам и оппонентам она была еще более непримирима, чем я сам, хотя, как правило, была расположена к людям с куда большей заинтересованностью и теплом и была более открытым человеком, нежели я. До встречи с ней я был по сути дела почти совершенно одинок — благодаря моей жене я оказался плотно включенным в густую сеть дружеских связей. Я не буду здесь перечислять своих друзей, отношения с которыми во многом обогатили меня и интеллектуально, и просто по — человечески. Всем этим я обязан ей. Короче говоря, я более не был одинок, и мои «тылы» были неизменно защищены.

II. Разгром науки

Разгул государственного антисемитизма в последние годы Сталина. — «Безродные космополиты». — «Проработка» И. С. Звавича. — Нападки на А. И. Неусыхина. — «Кому аплодируете?!» — «С легким паром, Александр Иосифович». — Удар по научным школам. — Обвинительный акт А. И. Данилова против Д. М. Петрушевского. — Атака на первый том «Истории крестьянства в Европе». — Как я поступал в аспирантуру. — Вставная новелла об академике И. И. Минце. — Юмор и анекдоты в разгар репрессий

Мой рассказ приближается к моменту, который оказался для страны в целом, для интеллигенции и для историков в частности, в высшей степени трагичным. Уже в конце войны, в 1944–1945 годах в национальной политике Сталина произошли сдвиги, наметившиеся, собственно, еще раньше. Во время войны упор на патриотизм был вполне естествен и понятен, но со временем это стадо приобретать характер национальной нетерпимости, выразившейся в репрессиях против целых этносов (крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардинцев и балкар и других народов Северного Кавказа), а также в нарастании антисемитизма. По — видимому, тут играли роль и личные симпатии и антипатии «вождя народов».

В конце 40–х годов началось осуществление мероприятий идеологического и организационного свойства, которые должны были, по мысли зачинщиков этой операции, привести к более «правильному» балансу сил на интеллектуальном фронте. Для писателей, поэтов, художников, деятелей искусства и ученых нерусского происхождения, прежде всего евреев, стали вводиться ограничения, предпринимались действия, оскорбительные и чреватые самыми тяжкими последствиями для судеб этих людей и для культуры в целом. Так начались сперва кампания против «низкопоклонства перед Западом», а затем вытекавшая из нее кампания борьбы против «безродных космополитов».

В прессе, в радиопередачах, в публичных выступлениях

подчеркивалось, что только истинно русские люди являются подлинными патриотами, между тем как в обществе затаились и даже активно, разнузданно себя ведут другие силы, которые мешают строительству социализма, «поют с чужого голоса» и т. д. Закрытие Антифашистского еврейского комитета и арест его членов, чудовищная фальсификация «дела врачей», обвиненных в покушении на видных деятелей партии и государства, зверское убийство Михоэлса, выдаю щегося артиста и общественного деятеля, и ряд других зловещих акций недвусмысленно свидетельствовали о том, что бациллы «коричневой чумы», казалось бы, только что истребленные вместе с гитлеризмом, обнаружили свою живучесть в нашей стране. Не забудем, что эти кампании разворачивались на фоне начинавшейся «холодной войны».

Вскоре все это проявилось в полной мере и на истфаке, и на других факультетах МГУ, равно как и в Академии наук.

Независимо от того, как замышлял операцию Сталин, те, кто выполнял задания, полученные сверху, пытались, как водится, не без успеха использовать эту кампанию в своих собственных корыстных целях. То ли в самом конце войны, то ли сразу после ее окончания, научным работникам высшей квалификации, прежде всего профессорам и докторам наук, резко повысили заработную плату, подкрепив рублем привлекательность научной карьеры, что в условиях разрухи было крайне важно. В то время шутили: «год великого перелома» в истории нашей страны имел место дважды — в 1930–м году середняк пошел в колхоз, а теперь «середняк пошел в докторантуру». Стало выгодным защитить докторскую диссертацию любой ценой, ибо это открывало возможность занять профессорское место, дававшее известные привилегии и регалии. Теперь не одно лишь научное призвание и способности двигали многими, но интересы, вовсе чуждые науке. Высокие этические требования, которые, несмотря на все испытания предшествующих десятилетий, все еще поддерживались в научной среде, были разрушены.

Что касается историков, то скоро развернулась серия преследований профессоров еврейской национальности. Наряду с ними и некоторые другие лица, не повинные в порче арийской крови, тоже подвергались гонениям, поскольку оказались на пути карьеристов, которые хотели и из-под них выдернуть профессорские кресла. Будучи студентом, затем аспирантом, я, как и другие историки моего поколения, явился очевидцем этих оргий. Сначала мы были лишь безмолвными свидетелями, а затем оказались сами втянуты в эти акции.

Помню общее собрание истфака в битком набитом

конференц- зале, где рассматривались идеологические и политические заблуждения одного из видных профессоров — Исаака Семеновича Звавича. Звавич был специалистом по истории Англии, первоначально занимался и Средневековьем, но затем его специальностью стала Новая и Новейшая история. Лекции его привлекали студентов прежде всего потому, что он долго жил в Англии в качестве сотрудника или даже секретаря Л. Б. Красина, первого советского посла в Лондоне, очень хорошо знал всех политических деятелей Англии 20–30–х годов и не преподносил современную историю Англии в виде общих схем, но иллюстрировал ее живыми рассказами о виденном. Однако обвиняли его отнюдь не в том, что он позволил себе рассказать что-то про Макдональда, а совсем в другом. В его работах якобы намеренно проводились идеи, которые не отвечают марксизму — ленинизму, идеологически порочны, следовательно, проф. Звавич подлежит всяческому осуждению.

Как строился сценарий проработки? Вначале слово берет секретарь партийной организации, рисующий общую обстановку обострения классовой борьбы, попытки буржуазной идеологии проникнуть в наши ряды. Проводниками этой идеологии объявляются лица, «которым мы, товарищи, должны дать решительный отпор». После этой «увертюры» предоставляется слово для доклада кому-то из организаторов проработки, он подробно разбирает порочные взгляды профессора Звавича. Затем объективности ради критикуемому дается право ответить. Объективность была, конечно, мнимой. Звавич, как и все участники этой процедуры, прекрасно понимал, чем все это пахнет. Речь шла не о том, чтобы поправить товарища, который в чем-то заблуждается, а о том, чтобы убрать его с факультета. В обстановке конца 40–х годов это могло быть только началом его падения. Затем могли последовать арест, ссылка или другие невзгоды. Звавичу приходилось выбирать тактику, единственно возможную с его, а может быть, и не только с его точки зрения: признать свои ошибки, но попытаться найти какие-то оправдания — недосмотрел, недодумал, он благодарен товарищам, которые его вовремя поправили. В общем, надо было выкручиваться.

И когда мы, молодые, видели этого уже пожилого человека, стоящего на трибуне и подвергавшего себя самобичеванию, для нас это, помимо чисто человеческих переживаний, сочувствия профессору, было некоторой школой. Эти впечатления не могли не наложить своего отпечатка на наше еще формировавшееся сознание. Нам, вернее, тем из нас, кто был готов открыть глаза на происходившее, становилось все яснее, что в нашем обществе далеко не все так благополучно, как это рисуется пропагандой,

что внутри страны действуют силы, которые ведут дело к возрождению событий 1937–1938 годов.

Но покаянием Звавича действо не заканчивается. Слово предоставляется молодому человеку, красивому, статному доценту Института международных отношений (между прочим, зятю В. М. Молотова). Он говорит: «Вы слышали выступление профессора Звавича. Я надеюсь, вам ясно, что он был совершенно неискренен, старался увильнуть от принципиальной критики, прозвучавшей здесь. Он или не понял, или не захотел понять своих заблуждений». Дальше идет по пунктам разбор взглядов Звавича с целью доказать то, что доказательств уже не требует, потому что всем уже очевидно «задание» — уничтожить Звавича в научном отношении, обосновать необходимость административных мер. А как дальше судьба Звавича сложится, будет зависеть уже от компетентных органов, которые этим и займутся.

Такие «действа» происходили довольно часто в разных научных учреждениях. Расскажу еще об одной проработке, на которой присутствовал; она касалась нас еще ближе и состоялась в те же месяцы на Волхонке, 14, на объединенном заседании сектора истории Средних веков Института истории и кафедры истории Средних веков истфака МГУ. Здесь принялись уже специально за медиевистов.

Первая сцена, которая приходит мне на память, была проработкой заочной. Жертвой был профессор Ленинградского университета Осип Львович Вайнштейн. Его не вызывали на это заседание, по — видимому, главная экзекуция происходила, в Питере. У нас выступил один из членов партийного бюро исторического факультета МГУ, доцент, который произнес следующее: «Профессор Вайнштейн повинен в ряде антимарксистских высказываний и фальшивых утверждений. В своей порочной книге о Столетней войне… — из зала кричат: “Не Столетней!” — Простите, я оговорился. В своей порочной книге о Семилетней войне… — из зала снова возмущенно: “Не Семилетней!”». Набор известных войн уже исчерпан, и он спокойно продолжает: «Да, простите, в своей порочной книге о Тридцатилетней войне Вайнштейн допустил такие-то ошибки». Вот таков был уровень проработки. Выступающий получил задание: ату его! За что? Что именно он сделал, какую книгу написал — все это не имеет значения. Вайнштейн написал порочную книгу, значит, надо его поносить.

Кульминацией этого проработочного заседания и совершенным откровением для всех нас стало выступление В. В. Дорошенко, любимого и преданного ученика Неусыхина, с

которым тот любовно возился больше, чем с кем бы то ни было из нас. Василий Васильевич Дорошенко, только что защитивший кандидатскую диссертацию по социальной истории Саксонии IX-XIII веков, не пользовался такой разнузданной терминологией, как предыдущий выступавший или те, кто плясал над телом избиваемого Звавича. Но он всеми словами сказал, что А. И. Неусыхин, конечно, крупнейший специалист, но взгляды его далеки от марксизма, и поэтому учеба у Неусыхина для него, Дорошенко, была сопряжена с большими сложностями, поскольку приходилось внутренне корректировать то, что ему внушал учитель.

Выступление Дорошенко повергло нас в ступор. В конце заседания было предоставлено последнее слово обвиняемому. А. И., в высшей степени взволнованный всей этой обстановкой, выступил очень кратко, но со всей определенностью подчеркнул, что в отличие от В. В. Дорошенко, недовольного своим научным руководителем, он вполне удовлетворен очень хорошей работой своего ученика и полагает, что как научный руководитель внес свою лепту в то, чтобы его диссертация была на соответствующем уровне. Поэтому его удивляет и огорчает критика, которую высказал Дорошенко.

Ответ был в высшей степени корректным, лишенным каких бы то ни было личных моментов, и когда Александр Иосифович кончил говорить — говорил он очень недолго, — мы, несколько человек из молодежи, ему аплодировали. Это была наша непосредственная человеческая реакция: нашего учителя подвергли оскорбительному обращению, и как нам было его не поддержать в столь трагичных обстоятельствах! Кругом напряженные, по большей части враждебные, иногда растерянные лица… Одна из учениц А. И., оправдывая собственную трусость, потом говорила: «Как вы нехорошо поступили! Вы подвели А. И., это же была политическая демонстрация». Но такой иезуитский ход мысли был не для нас.

Наши аплодисменты не прошли незамеченными. Через несколько дней Н. А. Сидорова, руководившая этой экзекуцией, устроила заседание кафедры в более узком составе. Были приглашены те, кто аплодировал, и каждому персонально предъявили обвинение в политически незрелом поведении: мы хлопали человеку, который подвергся идеологической критике. На это заседание почему-то забрел латинист Домбровский, у которого я занимался, будучи еще заочником (он напоминал мне персонажа из читанного в детстве «Кондуита» Льва Кассиля, учителя латыни по прозвищу Тараканус). Обращаясь ко мне (он меня давно забыл, это я его помнил), он заявил: «Молодой

человек, а ведь если сообщить куда следует о ваших аплодисментах, знаете, что с вами будет?». Мне было уже больше двадцати лет, я жил в этой стране достаточно долго и понимал, что может быть, если преподаватель латыни пойдет на Лубянку и расскажет о случившемся. Но мы были молоды, не боялись и воспринимали все это не без юмора.

Макаберность всего происходящего была совершенно очевидна. Как стало мне известно гораздо позднее, Неусыхин, потрясенный происшедшим, всю ночь бродил по улицам, не решаясь вернуться домой, где, как он думал, его ждали люди «из органов». Его страхи, слава Богу, не оправдались, но они суть отражение той неимоверно тяжелой психологической атмосферы, в которой все мы тогда находились.

Немного спустя А. И. принудили-таки выступить с признанием своих «ошибок». Я вспоминаю: когда Неусыхин вышел из зала заседаний Ученого совета, институтский шутник В. В. Альтман приветствовал его: «С легким паром!» В те дни многим пришлось претерпеть подобную баню…

Возвращаюсь к судьбе Дорошенко. Это был, несомненно, талантливый и располагавший к себе человек. Почему он предал любимого учителя? Разгадка, мне кажется, проста. Он защитил диссертацию, и ему сказали: если сделаешь то, что мы тебе поручим, — получишь место на кафедре. И он получил это место. Но через год ему пришлось уйти. «Ушли» его, или он сам не выдержал, но я знал, что, в отличие от других, кто предавал с легкостью, Василий Васильевич перенес серьезнейшую травму, которая отпечатлелась на всей его дальнейшей жизни. Это грехопадение его совершенно сломило. Когда Неусыхин умер, он приехал из Риги, где тогда работал, но на похороны явиться не осмелился.

Обстановка резко изменилась, и это проявлялось во всем. Вскоре состоялось заседание кафедры, на котором Косминский, зав. кафедрой, тогда еще не отставленный Сидоровой, сказал, что надо приступить к работе над новым вузовским учебником по истории Средних веков. Прежний, изданный еще до войны, уже устарел, недостатки его очевидны. Шло деловое обсуждение вопроса. И вдруг слово берет А. Н. Чистозвонов, тогда молодой сотрудник Института истории, докторант, и говорит: «Да, Евгений Алексеевич, вы глубоко правы, надо писать новый учебник, на этом воспитывать студентов далее невозможно. Вот пример того, к чему приводит чтение таких учебников. Беру я недавно защищенную дипломную работу тов. Гуревича и что я вижу в ней? Там подробная библиография, но нет упоминания ни одной работы Маркса». Я оторопел. Я был тогда в должной мере

марксист, и в тексте работы у меня были ссылки на соответствующие главы «Капитала». Но черт меня дернул пропустить Маркса в библиографии! Нужно ли это толковать с точки зрения теории подсознательного, я не знаю. А Чистозвонов сразу взял быка за рога и уже тогда обнаружил в моей работе коренной недостаток.

Такова была обстановка, в которой мы подвергались перевоспитанию. Старики, наши профессора, учили нас разумному, доброму, вечному, а теперь оказалось, что на кафедре есть и другие лица. А. Н. Чистозвонов, А. И. Данилов, Н. А. Сидорова, Ю. Н. Сапрыкин раньше были незаметны, сидели как бы во втором ряду, не очень подавали голос, присутствовали, но не играли активной роли, и поэтому я не упоминал о них, давая характеристику кафедры. Теперь все переменилось. Праздник был на их улице, и это вскоре выразилось в том, что Неусыхина практически отстранили от преподавания на кафедре, Косминский же потерял руководство и сектором истории Средних веков в Институте истории, и кафедрой в МГУ. На это потребовалось некоторое время, но переворот произошел.

«История историка» (1973 год):

«…среди выпестованных нашими мэтрами ученых были такие, как А. И. Данилов, Е. В. Гутнова, А Р. Корсунский, Я. А Левицкий, Ю. М. Сапрыкин, А. Н. Чистозвонов и др. Переход от преобладания в медиевистике “учителей” к засилью “учеников” (типа поименованных) не произошел внезапно и занял немало времени, и вообще это деление не вполне отвечает действительности. Ведь вплоть до последних месяцев главою медиевистов оставался один из “учителей” — С. Д. Сказкин, который не только попустительствовал проводимому “учениками” курсу, но и принимал в его осуществлении пассивное, а временами активное (что касается меня, в частности) участие. Он скончался в апреле этого года на 83 году, сохраняя до последнего дня неограниченную монополию “власти” в медиевистике (зав. кафедрой в МГУ, зав. сектором в Институте всеобщей истории, отв. редактор “Средних веков”, бессменный член редколлегии “Вопросов истории”), и это была в высшей степени весомая фигура!»

Н. А. Сидорова, проводя партийную линию, не позабыла получить все эти должности.

«История историка» (1973 год):

«Н. А. Сидоровой нет на свете вот уже 12 лет, но поистине “дело” ее живет! Она персонализировала новый курс в исторической науке, оттеснила прежних виднейших медиевистов, заменила их новыми людьми, воспитала их (о, нет, не в научном

отношении!) и, главное, насадила тот дух на кафедре и в секторе истории Средних веков, который оказался наиболее подходящим для “новой поросли” и благоприятствовал продолжению ее политики интриги нынешними заправилами этих учреждений. Н. А. Сидорова обладала своими качествами, в определенном смысле это была личность (я ей обязан ускорением защиты докторской диссертации), но других личностей вокруг себя она не терпела — и оставила наследство: нынешние кафедру и сектор медиевистики. Конечно, если рассматривать эти перемены в более широком плане, роль ее сведется скорее к исполнительской, нежели к собственно инициативной деятельности, но, как я уже заметил выше, я не собираюсь, по возможности, покидать очерченный мною круг и хочу оценивать описываемое “изнутри”. Так вот, в пределах медиевистики именно Н. А. Сидорова способствовала больше, чем кто-либо, вырождению медиевистики в Москве — и началось это вырождение еще при жизни Е. А. Косминского, не говоря уже о С. Д. Сказкине или А. И. Неусыхине. Все они ее боялись, а потому попустительствовали ей, отступали на задний план, ненавидели ее и пользовались созданными ею или при ее активном участии условиями».

Вспоминаю заседания сектора в это изменившееся время. Раньше в научном обсуждении принимали активнейшее участие прежде всего наши профессора, теперь обстановка была другая. В первом ряду располагались упомянутые мною новые, а также и другие лица. Они задавали тон, а наши старики уже сидели сзади по стеночкам и большей частью помалкивали, ибо чувствовали, что наступили иные времена, воцарился новый дух, причем не только в этом секторе, но и во всем Институте истории и во всей исторической науке. Всякого рода привходящие соображения стали теперь превалировать над научными. Не показательно ли поведение самого Косминского при обсуждении рукописи докторской диссертации Сидоровой об Абеляре и ранней городской культуре во Франции? Он заявил, что не мог оторваться от чтения ее с вечера до утра! Он, разумеется, не мог не понимать уровня этого сочинения, но знал, с кем имеет дело.

Косминский в это же время мог услышать на заседании выкрики: «Довольно мэноры считать!» Удары направлялись, таким образом, уже и непосредственно в адрес мэтра нашей медиевистики. Лучшие ее традиции наталкивались на обструкцию и ставились под подозрение. Студенту или аспиранту, который вознамерился бы записаться в семинар одного из ведущих медиевистов, приходилось призадуматься над тем, насколько это безопасно и перспективно и не выгоднее ли

предпочесть семинары Сидоровой или Сапрыкина. Все это была школа, которую проходил каждый из нас, каждый по- своему. Одни делали вывод, что надо прикусить язык, заниматься своим делом и, как говорится, не чирикать, другие считали возможным заявлять какой-то протест, хотя бы пассивно. Так или иначе, эта кампания имела для нас в той или иной форме — это зависело от восприятия — воспитательное значение.

Когда я думаю о. наших стариках, о профессорах, у которых мы учились, то испытываю самое тяжкое сожаление о том, что их постигла такая участь. Мы были молоды и не так много испытали за эти годы — с 1947 по 1953. Но те, кто нас учил, жили в условиях не прекращавшегося, а всего лишь перемежавшегося временными приостановками террора и подвергались зловредной радиации страха на протяжении всей своей сознательной жизни. И я не могу выступать в роли, их судьи, предполагая, что я так себя не повел бы, был бы смелым до конца. Это легко говорить post factum Но когда с 20–х годов ученых бомбардировали непрерывными репрессиями и подвергали идеологическому давлению, цензуре, проработкам, инфильтрируя в их сознание извращенные или упрощенные толкования псевдомарксистских идей, устоять было очень трудно, далеко не всякому это удавалось. К ужасу своему, я впоследствии убедился, что страх, порожденный репрессиями 30–х годов, подчас оставался неотъемлемой составной частью сознания и несколько десятков лет спустя. Страх ужасен своей иррациональностью. Поселившись в душе человека, он нередко может остаться в ней навсегда.

Одним из самых тяжких последствий этой кампании явилось то, что с научными школами, существовавшими в медиевистике вплоть до этого момента, практически было покончено. То, чего не достигли репрессии 30–х годов, обрушившиеся, как известно, и на историков — тогда погибли Лукин, Фридлянд и другие, — было довершено в конце 40–х — начале 50–х годов. Старики были отстранены от влияния на молодежь, руководство стало подбирать других, молодых, по другим критериям, и преемственность — то, что составляет основу научной школы, — оказалась подорванной. Совершенно очевидно, что разрушить научную школу с помощью административных методов и заушательской критики — дело нехитрое. Между тем создание школы — это длительный и трудный путь воспитания учеников, выдвижения и критики идей, путь, который требует усилий подчас поколений ученых — единомышленников.

Результатом разрушения школ было катастрофическое падение научного уровня исторических исследований, резкое сужение проблематики, культивирование цинизма и

безнравственности в среде ученых. Даже те, кого критика непосредственно не коснулась, не могли не сделать для себя вывода: надо остерегаться, ибо никто не застрахован от безответственных нападок, от посягательств на честь, достоинство и просто на право высказывать свои идеи.

В этой связи я не могу не вспомнить о другой истории, развернувшейся несколько позже в медиевистике. После войны был опубликован второй выпуск сборника «Средние века», посвященный памяти покойного Д. М. Петрушевского. Это была большая книга, в которой многие медиевисты, специалисты по отечественной истории и антиковеды, большей частью сверстники Петрушевского, вспоминали его или посвящали его памяти свои статьи. Сборник вызвал неудовольствие в «сферах». Не знаю, в каком кабинете родилась эта мысль, но, как говорили тогда, была «спущена» директива — отмежеваться от этого сборника и дать ему «принципиальную партийную оценку». Эту миссию возложили на А. И. Данилова.

Кто такой Данилов? Он тоже был учеником Неусыхина, казался серьезным, хорошо подготовленным ученым, написал докторскую диссертацию, опубликованную в виде книги, посвященной изучению социальной и аграрной истории Германии в немецкой историографии XIX века. Критика буржуазной историографии — тематика в высшей степени ходовая.

«История историка» (1973 год).

«А. И. Данилов. О его подвигах в битвах против “структурализма” речь впереди. Но вот его докторская диссертация по немецкой историографии германской раннесредневековой аграрной истории — эта книга заслужила высокие похвалы. Критикуя немецких историков, он начинает с оценки их философских взглядов и привлекает исторические источники. Но вся эта сложная конструкция надобна лишь для того, чтобы открыть… “всеобщий кризис буржуазной историографии” эпохи империализма! Начиная со второй половины прошлого века на Западе имеет место один лишь все углубляющийся кризис. Вершина науки — вотчинная и общинная теории столетней давности. Все последующее безусловно отвергается как не содержащее никаких реальных проблем. С сожалением приходится признать, что А. И. Неусыхин, вряд ли способный внутренне сблизиться с этим своим сановным учеником (ректор Томского университета, затем министр просвещения РСФСР, действительный член Академии педагогических наук, заслуженный деятель науки), ценил его сочинения и даже согласился выступить с ним в соавторстве в статье, разносящей школу Теодора Майера».

После этого Данилов перешел к критике немецкой историографии первой половины XX века и современной, а затем получил задание написать критическую статью о творческом пути и научном вкладе Д. М. Петрушевского. Эта статья появилась в одном из сборников «Средние века» (не помню, в каком именно, но уже после смерти Сталина; никто не позаботился остановить запущенные уже маховики).

Статья Данилова представляла собой политическое обвинение, предъявленное выдающемуся русскому историку, который в своем научном развитии прошел долгий и непростой путь от близости к марксизму в конце XIX и в первые годы XX века к существенно иным взглядам. В последних своих работах в конце 20–х годов он с редким мужеством, если вспомнить идеологическую обстановку того времени, высказывал новые для нашей историографии взгляды, опираясь на идеи Риккерта, Макса Вебера и всего неокантианского течения, которое в XX веке явилось наиболее продуктивным для теории и практики исторической науки. Петрушевский не скрывал своих взглядов даже тогда, когда уже не был в фаворе и понимал, что это чревато всякого рода последствиями. Мне, как и некоторым моим коллегам, довелось читать его письма, из которых явствует, что Д. М. на протяжении многих лет находился, в общем, в опале. Даже будучи академиком, он практически был отстранен от педагогической работы.

Данилов подверг взгляды Петрушевского уничтожающей критике и прямо, всеми словами, заявил, что его работы были сознательно антимарксистскими. В условиях начавшегося построения социализма они были направлены на подрыв нашей передовой общественной системы. Если вспомнить тональность речей Вышинского, государственного обвинителя на процессах 30–х годов, то становится ясно, что Данилов, в сущности, использовал тот же метод дискредитации, политической и идеологической, для уничтожения выдающегося ученого. Инвективы против крупнейшего медиевиста как нельзя лучше раскрывают уровень мысли и нравственности Данилова. Как ни странно, не так давно в том же сборнике «Средние века» появилась статья памяти Данилова, в которой восхваляли, в частности, научную принципиальность его выступлений…

Статья Данилова была в высшей степени характерна для той обстановки, которая сохранялась в исторической науке, и в частности в медиевистике, на протяжении многих лет даже и после смерти Сталина. Забегая несколько вперед, вспоминаю о проходившем в Институте всеобщей истории уже в 70–х годах обсуждении рукописи первого тома «Истории крестьянства в

Европе (период феодализма)». Большим коллективом авторов на протяжении нескольких лет была проделана значительная работа. В роли главного критика этого коллективного труда выступает все тот же Данилов, в то время министр просвещения РСФСР. Огонь его критики перенесен теперь на коллег. Он стремится не оставить камня на камне от обсуждаемого тома, обвиняет авторов в методологической беспринципности и в преклонении перед зарубежной наукой. Помню его фразу: «Нет такого французика из Бордо, на авторитет которого они бы не сослались!». И все в таком духе.

Двумя другими «богатырями», последовавшими примеру министра, оказались А. Н. Чистозвонов и Ю. М. Сапрыкин. Чистозвонов вообще был большой «диалектик». Прочитав главу о русском крестьянстве, он вопросил: «Так что же, товарищи авторы и редакторы, вы Сибирь отдаете Китаю?!» (а том хронологически был доведен до XI века, и ничего о русском населении Сибири в V-XI веках там, естественно, не могло быть). Комментарии излишни.

Создалось ясное впечатление, что Данилов нисколько не заинтересован в содержании обсуждаемого, что пахло здесь вовсе не наукою, а чем-то совсем другим. Директор Института академик Е. М. Жуков, который вел заседание, разумеется, превосходно понимал, что министр подводит мину не просто под данный коллективный труд, а под плоды работы возглавляемого им, Жуковым, Института. Иными словами, то были «разборки» среди «панов», и сценарии разрабатывались в кабинетах на Старой площади. Подозреваю, что «министр- просветитель» подобными акциями подготавливал свое вторжение в руководящие академические сферы.

Эта акция Данилова привела к тому, что публикация «Истории крестьянства» была отложена в долгий ящик, — до такой степени было перепугано руководство Института всеобщей истории, — и лишь после смерти Данилова этот труд увидел свет. Наш трехтомник едва ли представлял собой выдающееся научное достижение и скорее подводил итоги многолетних исследований большой группы историков — аграрников. Но для своего времени он или, во всяком случае, отдельные его разделы были небесполезны. Страсти, разгоревшиеся вокруг него, как мы могли видеть, не имели отношения к научному содержанию издания. С горечью приходится констатировать, что столь же чуждыми науке были в тот период и некоторые другие дискуссии вокруг наших публикаций. К этой стороне дела нам придется не раз возвращаться "Ь дальнейшем.

* * *

Возвратимся назад к 1946 году. Академия наук, вторая моя, после университета, aima mater, вынашивала меня как аспиранта удивительно долго — девять месяцев. Я сдал экзамены в аспирантуру осенью 1946 года, а был зачислен окончательно лишь весной следующего года. Между этими двумя датами происходили весьма неприятные события, связанные опять-таки с разгулом антисемитизма.

Среди успешно сдавших вступительные экзамены в аспирантуру Института истории по медиевистике оказался, увы, всего лишь один представитель «коренной национальности», который и был принят. Всех остальных, в том числе и меня, отчислили из аспирантуры спустя несколько дней после зачисления в нее, хотя такие известные ученые, как Косминский, Неусыхин, Пичета, Сказкин, хотели видеть нас своими аспирантами. Никаких мотивировок в приказах об отчислении не было приведено, и потерпевшие обратились с письменными жалобами «наверх». Некоторые из нас имели весьма неприятные и безрезультатные беседы в «инстанциях»; мне повезло: меня не вызывали на собеседования. Но моя письменная жалоба возымела неожиданные последствия. Мне позвонил Косминский и сказал, что он был приглашен президентом Академии С. И. Вавиловым, и тот с удивительной легкостью, по словам Косминского, дал согласие на мое зачисление.

Вообще я считаю себя счастливчиком: сколько раз в жизни меня ни увольняли (кажется, пятикратно), ни разу это сделать не удалось. Вот такой я крепкий орешек. С некоторого времени я с ужасом обнаружил, что те начальники, которые на меня нападали, кончали в высшей степени трагично. О подробностях умолчу.

Моя память извлекает из своих подвалов все новые сцены и факты. Поскольку речь шла об эпопее моего поступления в аспирантуру, тут уместно вспомнить о «византийской» эскападе в моей жизни. В свое время я описал ее в статье «Почему я не византинист?», опубликованной в сборнике в честь семидесятилетия моего друга А. П. Каждана. Но эта статья вышла только на английском языке и мало кому известна.

Когда приближался срок окончания моего обучения в МГУ, Е. А. Косминский сказал, что хотел бы взять меня в аспирантуру. Но он не скрыл, что пробиться в аспирантуру еврею будет трудно (на дворе был 1946 год), и поэтому предложил готовиться к тому, чтобы стать византологом. Дело в том, что Евгению Алексеевичу было поручено создать и возглавить в Академии наук сектор

византиноведения, и он надеялся, что, сдав экзамены по специальности и древнегреческому, я в аспирантуру буду допущен. Меня этот вариант не слишком воодушевил, но делать было нечего, да и вся жизнь у меня была впереди. Я начал усердно заниматься языком Гомера и Платона у милейшего Виктора Сергеевича Соколова и даже сделал некоторые переводы с древнегреческого, включенные в «Хрестоматию по истории древнего мира». Вступительный экзамен по языку был успешно сдан.

Однако вскоре после того, как меня все-таки зачислили в аспирантуру, я начал все более отчетливо ощущать нарастающую неприязнь к предмету моих штудий. Византийские порядки слишком напоминали мне советскую сталинскую действительность. После некоторых колебаний я решился обратиться к Косминскому с просьбой возвратить меня к занятиям по истории раннесредневековой Англии. К моему радостному удивлению, когда я пришел к нему с тем, чтобы изложить эту просьбу, Е. А. сам предложил мне вернуться на английскую почву.

Тем не менее я уже был отягощен некоторыми соображениями по поводу истории Византии VI века. Незадолго до того византолог М. В. Левченко напечатал статью, в которой утверждал, что происшедшее при императоре Юстиниане знаменитое восстание «Ника» — мятеж, начавшийся на ипподроме, где состязались возницы, пользовавшиеся поддержкой разных цирковых партий, — по своей социальной природе было конфликтом между землевладельческими и торговыми кругами. С В. С. Соколовым мы изучали «Тайную историю» Прокопия Кесарийского и другие памятники, и у меня сложилось прочное убеждение, что это выступление не имело никакого отношения к классовой борьбе. Бес подбил меня написать статью с критикой «концепции» Левченко и подать ее в редакцию «Византийского временника». Это мое сочинение, разумеется, было отвергнуто. Но что примечательно: критиком выступил Виктор Никитич Лазарев, крупный искусствовед, специалист по истории византийской иконописи и ранней итальянской живописи. В своем отзыве на мою рукопись он винил автора в том, что тот посягнул на лучшие достижения советского византиноведения.

Так я и не стал византологом.

* * *

О том, как причудливо переплетались и резко изменялись

судьбы людей, вовлеченных в вакханалию преследований конца 40–х годов, может свидетельствовать следующая вставная новелла.

Когда меня отчислили из аспирантуры, я решил обратиться к академику — секретарю отделения истории; им был в то время Б. Д. Греков, но он куда-то уехал. В его уютном кабинете нахожу его заместителя академика И. И. Минца. За его спиной стоит человек средних лет, интеллигентного вида, которого я никогда раньше не видел. Я пытаюсь доказать Минцу, что меня отчислили из аспирантуры несправедливо, он возражает. Я говорю ему: «Вы прекрасно понимаете, что это самый настоящий антисемитизм. Кого отчислили? Левину, Пинчук, Ивянскую, Гуревича». Разговор переходит на высокие тона и кончается, разумеется, ничем.

Несколько дней спустя я иду по ул. Маркса — Энгельса в Библиотеку им. Ленина и встречаю того человека, который безмолвно присутствовал при моем споре с Минцем. Он говорит: «Как хорошо, что я вас встретил, Исаак Израилевич хотел бы с вами поговорить. Он очень просит вас прийти такого-то числа в редакцию “Истории гражданской войны”». Я прихожу в огромный кабинет в здании напротив Морозовского особняка, на Воздвиженке. Исаак Израилевич начинает для меня «политинформацию» о дружбе народов и интернационализме, которые всецело господствуют в нашей замечательной стране. Я смиренно слушаю, а когда он кончил, говорю:

— Хорошо, Исаак Израилевич, может быть, так все и обстоит, но мне нужно маленькое доказательство. Дело в том, что я отчиелец из аспирантуры, у меня нет ни хлебных, ни продовольственных карточек, я не получаю никакой стипендии, мне надо как-то выкручиваться, и все-таки в аспирантуру хочется.

— Мы все уладим, я вам найду работу.

— Спасибо, до свидания.

Никаких реальных последствий это посещение, разумеется, не имело.

Минц занимал ключевые позиции и в Институте истории, и на историческом факультете МГУ как ведущий специалист в области изучения Октябрьской революции, Гражданской войны и начала социалистического строительства. Прошло очень немного времени, и я узнал, что разгромлена «школка Минца — Разгона». Его отставили от всех постов, и он свалился в тяжелом инфаркте. Не будем сейчас касаться вопроса о том, каков был его действительный вклад в науку, — речь идет о судьбах людей и расправах с ними. Потом Минц оправился и в политическом, и в научном отношении. Мне хотелось как-нибудь подойти к нему и спросить: «Исаак Израилевич, ну как насчет дружбы народов?» Но

все-таки хватило у меня ума этого не делать. Такие коллизии характеризовали наше повседневное бытие.

Здесь мне кажется уместным упомянуть ту весьма неприглядную роль, которую принял на себя академик Минц в конце 1952 и в начале 1953 годов, когда Сталин, уничтожив деятелей Антифашистского еврейского комитета и арестовав группу врачей, облыжно обвиненных в подготовке покушений на членов Политбюро, готовил широкую антисемитскую акцию. Подобно тому как в конце войны он расправился с крымскими татарами, ингушами, чеченцами и другими этносами Северного Кавказа, теперь он хотел на свой лад «окончательно решить» еврейский вопрос, сослав советских евреев на Дальний Восток.

Как явствует из сохранившихся материалов, было подготовлено письмо, которое должны были подписать евреи — видные деятели науки, литературы и искусства, и в этом письме они, признавая «историческую вину» евреев и справедливость направленного на них гнева русского народа, просили выслать всех представителей этой нации. Ф. Лясс, недавно исследовавший все эти материалы, утверждает, что заботы о сборе подписей под этим адресованным Сталину обращением взяли на себя несколько лиц, и среди них — все тот же И. И. Минц.

После смерти тирана планы этой акции были отменены, уцелевшие в застенках врачи — освобождены, но я хорошо помню те вполне понятные волнения, которые переживали многие представители еврейской интеллигенции.

Но каков наш академик?!

К несчастью, история время от времени повторяется.

Моя судьба как еврея в России была в каком-то смысле повторена моей дочерью. Лена окончила филологический факультет МГУ по кафедре германской, собственно, скандинавской филологии и была рекомендована в аспирантуру. Ее поступление в аспирантуру тоже представляло собой своего рода эпопею, но, несмотря на многочисленные препятствия со стороны ректората, она в конце концов была принята, причем в аспирантуру целевую. Это значило, что если она успешно и в срок защитит кандидатскую диссертацию, то будет оставлена на той кафедре, аспиранткой которой была. Лена успешно и в срок защитила диссертацию, несмотря на то, что как раз в те годы, когда она ее писала, у нее появился ребенок, мой внук Петр. На ее защите известный специалист по английской филологии О. С. Ахманова внезапно предложила присвоить ей за кандидатскую диссертацию ученую степень доктора.

В 1984 году встал вопрос о зачислении Лены на кафедру германской филологии. Власти университета решительно этому

воспротивились, естественно, старательно обходя побудительные мотивы, которыми руководствовались, ибо антисемитизм скрывали как не существующую в нашем обществе болезнь, а ссылались на отсутствие ставок. Заведующий кафедрой профессор Николай Сергеевич Чемоданов, уже старый, больной человек, обратился в ректорат с предложением: по болезни и старости он просит перевести его на половину профессорской ставки при условии, что освободившаяся половина его ставки будет превращена в половину ставки преподавателя для оформления на работу Лены Гуревич.

Никакого продвижения этого вопроса не происходило в течение двух лет, и все разговоры на уровне ректора, проректора, декана абсолютно ничего не давали. Но в это время, в 1986 и в начале 1987 года, ситуация стала меняться, новые люди оказались во главе государственных и партийных органов, первым секретарем МК партии стал Б. Н. Ельцин. То было врем» его «Sturm und Drang»‘а, когда он «громил штабы», то есть снимал с работы одного за другим первых секретарей московских райкомов партии, что не могло не породить напряженности и в конечном итоге привело к тому, что Ельцин, личный противник Горбачева, был со своего поста удален. Но в этот период, когда Ельцин был во главе Московской партийной организации, я обратился с письмом в МГК с жалобой на руководство Московского университета, без всяких оснований мешавшего трудоустройству Лены.

Наконец, я посетил декана филологического факультета МГУ профессора Волкова и услышал от него, что возможностей никаких нет, ставок нет; это был явный отказ. Тогда я сделал, как говорится, ход конем. Я сказал: «Профессор Волков, я уже обратился с жалобой на руководство МГУ в МК партии. Моим заявлением уже занимаются, и я полагаю, что в ближайшие дни у меня состоится встреча с кем-то из руководителей отдела, ведающего высшими учебными заведениями. Все, что я собираюсь им сказать, — это то, что во главе университета и филологического факультета стоят антисемиты. И я прошу вас учесть то, что я сейчас сказал». Он растерялся. Дня через три после моего заявления была созвана штатная комиссия, которая должна была решить этот вопрос, и Лена была зачислена на кафедру.

Как вы понимаете, эта сказка скоро сказывается, но дело делается медленно, и трепка нервов в связи с этим была велика.

Что меня особенно поразило? Не просто отсутствие возможности для Лены куда бы то ни было устроиться, помимо получения этой вакансии в МГУ, но то, что в судьбе моей дочери

копировалось происходившее со мной — не в университете, а в Академии наук — несколько десятков лет тому назад. То же самое глухое, труднопреодолимое препятствие. Преодолеть его в конечном итоге удалось. Но почему отказывали способному человеку, перспективному, нужному кафедре? Ведь она должна была читать те курсы по истории скандинавских языков, которые на кафедре длительное время не читались как раз потому, что не было специалиста. Почему нужно было поднимать всю эту возню, бороться, тратить нервы, чтобы добиться того, что при отсутствии так называемого «5–го пункта» решилось бы быстро и без особых затруднений?

Память опять занесла меня в совсем другой период, но такие ее причуды неизбежны и входят в ее природу. Напомню, что выше речь шла о моем зачислении в аспирантуру весной 1947 года. Я стал аспирантом Е. А. Косминского.

«История историка» (1973 год):

«Проблематика, меня интересовавшая, — генезис феодализма, дофеодальные отношения у германцев — это проблематика Неусыхина, а не Косминского. Между тем, я, будучи учеником Неусыхина, оставался аспирантом Косминского, и не только в силу внешних обстоятельств, но и потому, конечно, что этот ученый, масштабы которого я не мог не сознавать, мне импонировал.

Еще студентом последнего курса я был поставлен перед выбором: писать дипломную работу у Косминского или у Неусыхина, и решился писать ее у первого. А. И. не был этим доволен и затем до конца своих дней нет — нет да напоминал мне, что я — ученик Косминского, а не его. Это неверно: я, конечно, был учеником и Косминского, и Неусыхина, и в определенном смысле больше — Неусыхина. Уже этот факт — то, что я был учеником обоих, оставлявший Евгения Алексеевича индифферентным, создавал некоторую напряженность в отношениях (в основе своей добрых) между А. И. и мною».

* * *

В последние годы я познакомился с мемуарами некоторых зарубежных медиевистов — Э. Леруа Ладюри, Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других. В конце 80–х годов в Париже был издан сборник «Этюды по ego — истории», в котором выступила целая группа французских историков, и каждый рассказывал о своем пути в науке. Это в высшей степени поучительное чтение: вы узнаете, как человек развивался, в какой научной и общественной среде

он подвизался и как это отразилось на его творчестве.

Но я обратил внимание на то, что никаких особых трудностей в жизни этих историков, если верить тому, что они пишут, не было. Они продвигались от одного свершения к другому и так якобы без сучка и задоринки просуществовали всю свою жизнь. Единственный, кто написал по — другому — Э. Леруа Ладюри, наверное потому, что он задиристый человек. Он сообщил, каким был убежденным коммунистом в начале своей деятельности, а после того, как услышал по радио о событиях в Венгрии, о том, что советские танки вошли в Будапешт, вышел из коммунистической партии Франции, громко хлопнув дверью, и стал столь же активным антикоммунистом. У всех же остальных мемуаристов все было как будто более или менее благополучно. Почему они так написали, я не берусь судить и никогда их об этом не спрашивал. Но не подлежит сомнению, что они дали картину только одной стороны своей жизни. Ведь если ты живешь долгую жизнь, то в ней всякое бывает, и пути, усыпанного лишь розами, ни у кого не получается.

Ф. Бродель в своей статье мемуарного характера лишь одной-двумя фразами дал понять, что «Анналы», в редколлегии которых он доминировал после смерти Февра, теперь, около 1970 года, когда в ней возобладали представители нового поколения, — уже не прежние «Анналы». И это все. Люди, которые работали вместе с ним, отделываются туманными намеками на противоречия, которых никто, кроме причастных к секретам редакции, понять не смог бы. Между тем я знаю из первых рук, что Бродель однажды вызвал к себе одного из молодых сотрудников журнала и сказал: «Этих ребят — Леруа Ладюри и Ле Гоффа — надо выгнать из редколлегии». Слава Богу, этого не произошло, но, несомненно, какой-то конфликт назревал. Об этом в мемуарах ничего нет.

Трудно вообразить, будто у всех французских историков того времени была счастливая жизнь. Пример Марка Блока говорит о противоположном, и только ныне приоткрывается завеса над отношениями двух друзей — Блока и Февра, далекими от безоблачности не только в годы немецкой оккупации, но еще и в 30–е годы. Но в целом из мемуаров зарубежных коллег невозможно извлечь представление о том, из чего складывается повседневная жизнь ученых, и обнаружить ситуации, в которых возникают неизбежные в университетской или академической среде противоречия. Между тем Пьер Бурдьё предпринял своеобразное «этнологическое» исследование этой среды, вскрывая заложенные в ней механизмы «внутривидовой» борьбы за существование.

Но оставим радужную картину, возникающую из мемуаров

зарубежных коллег, на их совести. Между нами, людьми из России и людьми Запада, есть ведь и такое различие: когда европейца или североамериканца спрашиваешь: «Как дела?», он неизменно отвечает: «Гш fine». На самом деле у него могут быть всяческие невзгоды, но они входят в круг его privacy и не касаются собеседника. У нас это не принято, различия в менталитете очевидны. Но признаем, что наша жизнь и складывалась совершенно по — другому. Налицо контраст между тем, что происходило на левом берегу Сены, и тем, что творилось в Москве. Впрочем, в Петербурге, говорят, кампания 1947–1953 годов проходила еще тяжелее, хотя куда уж тяжелее, я не знаю.

В каком обществе мы жили, в каком мраке бродили, какому давлению подвергались прямо или косвенно! Казалось бы, лично тебе открыто никто ничем не угрожает, но в любой момент скрытая угроза могла реализоваться — не для тебя, так для твоего учителя. Эта атмосфера передана в художественных произведениях, например у Лидии Чуковской или Василия Гроссмана, но чтобы до конца ее понять, надо было пережить самим ежедневное ощущение, что в любую минуту может что-то произойти. И в конечном итоге что-то и происходило.

Лидия Яковлевна Гинзбург в одной из своих поздних работ вспоминает 30–40–е годы, когда кругом «рвалась шрапнель»: вечером встречался с человеком, а утром оказывалось, что он арестован. И что же, продолжает она, в это время влюблялись, ездили за город, ходили в театр, собирались вместе. То не был пир во время чумы, но сила жизни, интенсифицировавшаяся, может быть, под влиянием мысли, что в любой момент все может оборваться, психологическое противодействие тому ужасу, который висел в воздухе, брали свое.

Спасало чувство юмора, без которого можно было просто повеситься. Юмор был одним из условий нашего существования. Шутка являлась неотъемлемой чертой нашей жизни, психологическим средством, которое давало возможность жить, работать, несмотря на те ужасы, которые творились в повседневности.

Я не присутствовал на новогодних журфиксах у Косминского или Неусыхина — это был другой круг, и дистанция держалась, — но когда я защитил кандидатскую диссертацию, было застолье у меня. Косминский и Неусыхин вместе с некоторыми другими коллегами пришли ко мне в коммунальную квартиру жены, что само по себе было «достойно кисти Айвазовского», и в этот вечер шутки сыпались из уст профессоров так же, как из уст молодых людей.

В своей среде, когда мы встречались по самым разным

поводам или без повода, просто потому, что хотели общаться, мы веселились и шутили; чего только ни говорили, а ведь еще дорогой вождь был жив. То было время буйного расцвета политических анекдотов. Стукачество процветало, и за анекдот можно было схлопотать солидный срок. Собирались десять, пятнадцать, а то и двадцать человек, но все проходило благополучно. Как это обошлось, просто чудо. Бог нас спас, как говорится.

Анекдот был неотъемлемым компонентом бытия. Вот несколько образчиков из первых приходящих на память. Ночь, коммунальная квартира, резкий звонок во входную дверь, все лежат в постелях, парализованные ужасом. Наконец, уступая настойчивости звонка, самый смелый из жильцов плетется к дверям. И тут же раздается его радостный вопль: «Успокойтесь, это всего лишь пожар!»

Другой анекдот из времен гражданской войны в Испании:

— Вы слышали, Теруэль взят.

— Один или вместе с семьей?

— Да нет, это город.

— Так они уже целыми городами арестовывают?!

Еще один. Международный конгресс стоматологов. Советский представитель сообщает, что в СССР разработан новый способ удаления зубов — через anus. «Почему?» — вопрошают коллеги. «Но ведь рты у нас закрыты».

И еще. Телефонный звонок, просят Абрама Исаковича.

— Его нет дома.

— Он задержался на работе?

— Нет.

— Он в гостях?

— Нет.

— Он в доме отдыха?

— Нет.

— Я вас правильно понял?

— Да.

Этот анекдот, имевший совершенно ясный смысл в период массовых репрессий, возродился и пришелся ко двору лет двадцать спустя, в период эмиграции в Израиль.

Но колесо сталинских гонений вращалось неумолимо, и трудно было самыми остроумными байками отгородиться от вестей о том, что готовятся официальные документы для оправдания новых массовых репрессий. Не все могли это выдержать, сходили с ума, кончали самоубийством. Кампания против «безродных космополитов» сопровождалась человеческими жертвами в прямом смысле слова. Приведу лишь

один пример. В Иванове в пединституте работала молодая выпускница МГУ, доцент Разумовская. Ее подвергли уничтожающим нападкам, и она повесилась.

Но если человек не испугался и не сломался, то вышеописанные акции давали неоценимый жизненный опыт. Если благодарить учителей, то прежде всего я благодарен тем, кто учил меня добру. Но не меньше я обязан тем негодяям и их приспешникам, которые наращивали нам мышцы для сопротивления. Только в столкновениях с ними мы могли обрести свое лицо будущих шестидесятников. Противостояние не проходит бесследно и дает богатый жизненный опыт. К сожалению, такого рода отрицательный опыт пришлось приобретать и в последующие годы.

III. «Ссылка» в Тверь

Гоголь и Калининский педагогический институт. — А. И. Рубин. — Попытки моего увольнения. — Мое открытие Скандинавии. — М. И. Стеблин — Каменский. — О вреде «моногамии» в науке. — Когда приходит прозрение? — Москва в 30–е годы. Коммуналка. — Рязанская деревня. — Война. Ее последствия. — Историки и марксизм.

В системе Академии наук аспиранты, вовремя и успешно защитившие диссертацию, как правило, оставались в Институте в качестве младших научных сотрудников. Так и произошло с теми, кто был в аспирантуре вместе со мной. Однако я прекрасно понимал, что меня после защиты в Институте не оставят: и те аплодисменты А. И. Неусыхину, о которых я рассказал, и некоторые другие мои деяния свидетельствовали о том, что я политически незрел.

Активным диссидентом я никогда не был, не выступал с какими- либо заявлениями, т. е. в развернувшемся позднее правозащитном движении не участвовал. А в тот сталинский период ничего подобного, конечно, и быть не могло. Но я помню, например, собрание аспирантов Института истории, на котором в присутствии представителя партийного бюро В. Т. Пашуто, тогда молодого человека, успешно делавшего научную и партийную карьеру, затронули такую актуальную в то время тему, как необходимость борьбы с буржуазным влиянием и космополитизмом. Я не удержался и сказал, что цели в такой борьбе могут быть разными, но одна сторона этой кампании, и, может быть, решающая, мне видится как несомненный антисемитизм, и это, по — моему, неопровержимо. Возникло некоторое смущение, Пашуто постарался не придавать делу остроты, я уже больше на рожон не лез. Не знаю, воспоследовало ли сообщение об этом казусе в партбюро, непосредственно#я ничего не ощутил. Но факты накапливались, и когда я закончил аспирантуру, мне было абсолютно ясно, что нужно самому позаботиться о хлебе насущном. Рассчитывать на благосклонность начальства не приходилось. Когда летом 1950 года я защитил диссертацию, я тотчас же начал искать работу. И

уже через неделю после защиты я читал лекции заочникам в Калуге. В аудитории (это были учителя) все как на подбор оказались старше меня, мне было двадцать шесть лет. Могу похвалиться: после лекции подходит ко мне один из слушателей и спрашивает:

— Вы где преподаете?

— Вот я перед вами…

— Нет, вообще-то вы где преподаете?

— Это первая лекция в моей жизни.

— Ну, я вам не поверю.

Тем не менее это соответствовало истине. Но то была сезонная работа, в Москве же никакого места для меня не находилось. Попытки пристроиться в отдел радиопрослушивания ТАСС (прослушивание передач на иностранном языке, чтобы передать свежую информацию в русскую службу), потом в среднюю школу учителем ни к чему не привели. Или же я сразу получал отказ, или же неопределенное обещание, а затем все спускали на тормозах. Единственное, что я смог найти, — университет марксизма — ленинизма для сотрудников аэропорта Быково, где мне предложили раз в неделю читать лекции по истории СССР. Я не был специалистом по истории СССР, но я был молод, энергичен да еще и голоден и согласился. Так тянулось всю осень 1950 года.

В Главном управлении высших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР требовался инспектор, который ездил бы по педагогическим вузам для проверки работы историков. Я подумал: какой же я инспектор, если только вчера окончил аспирантуру, а нужно будет проверять людей, которые много лет работают? Но альтернативы не было. Сотрудник Министерства просвещения, с которым я беседовал, сказал, что через неделю меня известит. И через неделю он мне радостно сообщил, что места нет. Я порадовался вместе с ним. Но, сказал он, есть вакансия преподавателя в педагогическом институте в городе Калинине (Тверь).

В конце концов мне удалось приткнуться в Калининский пединститут, где я и оставался с осени 1950 до лета 1966 года — шестнадцать лет. Сказать, что это было в моей жизни хорошее время, было бы некоторым преувеличением.

Я приехал в Калинин. Первое, что произвело на меня впечатление, помимо города (приволжская его часть, путевой дворец, построенный для Екатерины, — все это мне очень понравилось бы, будь я туристом), — это мой первый визит в пединститут, ознаменовавшийся следующим разговором с заместителем директора, которого один мой коллега

квалифицировал как «медведя средней величины». Это был хамоватый чинуша, склонный оскорблять преподавателей, даже пожилых. Он ведь прекрасно понимал, что податься им, беднягам, некуда: в те годы пединститут был единственным вузом в Калинине. Иные старики плакали, выходя из кабинета этого тов. Турченко.

После беседы со мной Турченко говорит: «Мы вас берем. Вы знаете, тут подавала заявление одна женщина, профессор, мы не взяли ее, потом еще кто-то подавал, мы не взяли». Как я потом узнал, это была профессор кафедры истории Средних веков МГУ Фаина Абрамовна Коган — Бернштейн, которую выгнали из университета в результате антисемитской кампании.

Вскоре я узнал, что за год до меня некто по фамилии Семенов подавал на конкурс по замещению должности преподавателя истории Средних веков. К моменту истечения срока конкурса он телеграммой известил, что высылает все необходимые документы, и директор утвердил его как прошедшего конкурс. Каково же было разочарование директора, когда он увидел перед собой пожилого еврея! Впрочем, он тут же нашелся, заявив, что зачисляет Семенова только на год. «Почему же вы меня взяли?» — спросил я тов. Турченко. «У вас нет биографии».

Я не собираюсь подробно рассказывать о моем житье — бытье в Калинине, но все же не могу пропустить этот шестнадцатилетний период. Я приехал туда необъезженным пареньком двадцати шести лет и ушел оттуда, истратив свои лучшие годы, в возрасте сорока с лишним лет. Эти годы были существенным этапом в моей жизни, и они были очень трудными.

Калининский пединститут — я думаю, он был очень типичен для институтов во многих областных центрах, — имел уровень ниже среднего. У Гоголя в «Мертвых душах» действие разворачивается в губернском городе, расположенном неподалеку от обеих столиц. Я могу со всей ответственностью почти всерьез утверждать, что это Тверь. Я работал у декана, который несомненно был Собакевичем. Там были и Манилов, и очень яркая фигура Ноздрева, и целый ряд других гоголевских персонажей, включая и Хлестакова. За полтораста лет ничего не изменилось. Это удивительно: севернее одна столица — культурный центр, южнее, еще ближе, другая — Москва, а наш педагогический институт отделен от этих столиц целыми веками.

Преподаватели жили в городе, тогда уже насчитывавшем триста тысяч человек. Но недалекое путешествие из Калинина в Москву с тем, чтобы потолкаться в столице, посидеть в библиотеке, посетить театр или выставку, казалось жителям этого областного центра, и даже преподавателям, чем-то

неудобоваримым, невозможным, просто подвигом, совершавшимся в виде редчайшего исключения. Глубокий провинциализм в тени обеих столиц.

Уровень преподавания, по крайней мере на историко — филологическом факультете, был, как правило, очень низким. Даже если преподаватели успешно заканчивали аспирантуру, больше наукой они не занимались. Иные под видом научной работы сидели в архиве, разрабатывая темы типа «М. И. Калинин как деятель революционного движения» с такого-то по такой-то годы, или просто ничего не делали — в научном отношении, конечно. Потому что вообще-то жизнь кипела — подсиживания, склоки, неизбежно вспыхивавшие вследствие периодически возобновлявшегося сокращения штатов. Чтобы охарактеризовать интеллектуальный уровень части преподавателей, я расскажу такой полуанекдотический случай. Кафедрой всеобщей истории, на которой я работал, заведовал некий Василий Тарасенко, относительно молодой, немногим старше меня, очень веселый, очень неглубокий, очень несерьезный человек, специалист, как он себя называл, по истории Древнего мира. Кроме не вполне совершенного русского, он еще помнил, может быть, что-то из украинского, а древних языков не знал, что не мешало ему делать весьма глубокомысленные заявления студентам. «Вы знаете, — говорил он, — в греческом языке всего тридцать знаков, и смотрите, какую великую литературу они тем не менее сумели создать!»

В комнате для приезжающих, где меня поселила администрация, жил преподаватель методики преподавания истории и Конституции Николай Николаевич М., производивший на всех очень сильное впечатление. Он был кандидат наук, но не знал ничего — tabula rasa, причем такая, на которой нельзя ничего написать. И вот с ним произошел такой анекдот в анекдоте. Васька Тарасенко, который очень любил хохмить, на лекции по древней истории рассказал первокурсникам анекдот: один профессор философии читает лекцию о древнегреческих мыслителях и вдруг получает записку от студента: «Товарищ профессор, расскажите, пожалуйста, про древнегреческого философа Нофелета». Профессор начинает говорить, что этот философ был идеологом рабовладения, материалистом, но не без идеалистических выкрутасов, с кем-то полемизировал. Тут он получает вторую записку. «Тов. профессор, Нофелет — это слово “телефон”, прочитанное наоборот». Когда на следующий день я пришел на свою лекцию, вижу, студенты держатся за животики. Спрашиваю, в чем дело, и они рассказывают: после лекции Тарасенко пришел М., и студенты задали ему тот же вопрос о

Нофелете. И он, как в том анекдоте, рассказал про этого философа — и про материализм, и про рабовладение, и про полемику. Вообще то, жаль этого человека, по характеру он был невреден. Ну, он говорил «булгахтер», ну и что такого? Поставьте себя на его место: он не мог ответить ни на один вопрос, но должен был отвечать. Он это и делал.

Декан, получив очередной номер журнала «Вопросы истории» и просмотрев оглавление, отшвыривал его в сторону с раздражением: «Что это московские профессора не могут между собой договориться! Один трактует эту проблему так, другой — по — другому. Куда это годится? Кто же следит за тем, чтобы был порядок в науке!». Был также «замечательный» преподаватель, умный человек, И. П. Паньков. Он считался асом, читал лекции на любую тему, непрерывно выступал в обществе по распространению научных и политических знаний, набирал, например, триста лекций на год; за это платили, а в деньгах он нуждался, тратил немало. Узкой его специальностью была история России XIX века.

Иван Павлович читал лекции без всякой бумажки и очень хорошо. Но одна преподавательница, довольно въедливая, была как-то на его лекции и рассказала следующее. Вот он подходит к доске, без всякой шпаргалки, и говорит: «1800 год. В России было 100 мануфактур. 1801 год — 108 мануфактур». И пишет столбец цифр, даты, названия мануфактур. А эта наша преподавательница была специалистом по данному периоду и утверждала, что таких сведений не существует.

Одна студентка забеременела от Панькова. Директор пединститута сказал ему: «Мы вас оставим (у него в Калинине была семья, корни, домишко, трудно все рвать), если вы нам чистосердечно расскажете обо всех своих прегрешениях». И Паньков тут же вывалил грязную телегу на весьма достойную женщину, имевшую несчастье с ним спутаться, — директора базовой школы пединститута, члена ученого совета института. Ивана Павловича уволили, и он, наконец, уехал в Ашхабад или в Ташкент.

Тут подтвердилось, что Паньков — авантюрист. Проходит несколько лет, и мне рассказывают, что в журнале «Огонек» опубликована статья известного литературоведа, посвященная «творчеству», а вернее жульническим выкрутасам Панькова. Готовилась, как водилось в те годы, какая-то декада узбекского, или таджикского, или туркменского искусства и литературы в Москве. В столицу приезжали артисты, литераторы, художники, устраивался гала — концерт, посвященный нерушимой дружбе народов. Паньков сообразил, что эта великая дружба должна

уходить историческими корнями в глубину столетий. И оказалось, что в XIX веке не кто-нибудь, а М. Е. Салтыков — Щедрин состоял в тесной переписке с каким-то просветителем в Ташкенте, или Ашхабаде, или Хиве. Иван Павлович пришел в местный архив и попросил подшивку каких-то газет (60–70–х годов XIX века), посидел там полчаса — час, потом подошел к даме, которая выдавала ему подшивку, и говорит: «Вы знаете, между газетных листов я нашел рукопись. Даю голову на отсечение, что это подлинные письма Салтыкова — Щедрина». Устроили экспертизу. Экспертом выступил сам Паньков — ведь авторитетный человек, ученый, доцент, кандидат наук. Ему поверили, тем более что всем это было выгодно. Сам Салтыков — Щедрин! А в письмах витиевато говорилось о том, что надо дружить, обмениваться ценностями — все, что нужно было к декаде, великий писатель за сто лет предусмотрел. И эту фальшивку опубликовали как сенсацию. Потом нашелся какой-то дотошный литературовед, который Ивана Павловича разоблачил.

А на физмате была группа физиков, которые задались целью доказать, что Эйнштейн — халтурщик, продумавший гнусную и совершенно не марксистскую, античеловеческую теорию относительности, и правы они, его критики, а не этот прощелыга из Германии. Преподаватель научного атеизма выдавал перлы вроде следующего: «В Библии такие глупости написаны, будто Авраам родил Исаака: получается, мужчина мужчину родил!»

Постоянное сокращение штатов приводило к тому, что одному преподавателю, имевшему и без того полную нагрузку (от 800 до 1000 часов в год), приходилось читать самые разные курсы, в том числе и вовсе не по его специальности. Человек, защитивший диссертацию по поэзии Щипачева, читал историю культуры эпохи Возрождения. Мне, грешному, тоже приходилось читать не только историю Средних веков, но и Новую историю. Конечно, среди преподавателей были и образованные, интеллигентные люди. Но они были разобщены и ни в коей мере не определяли атмосферы учебного заведения.

Я, разумеется, был в институте на птичьих правах да и сам воспринимал пребывание в этом городе, который сам по себе был вовсе не плох, как ссылку. Ведь я был вынужден проводить там большую часть времени, вырываясь домой только на выходные, когда мог поработать в московских библиотеках, пообщаться с женой и друзьями. Мало того, добиться возможности уезжать в Москву еженедельно мне удалось только после «баталий» с деканом — Собакевичем, который умышленно составлял для меня неудобное расписание, говоря при этом (за моей спиной, разумеется): «Ездит в Москву колбасу — масло жрать!»

С продуктами в Калинине и впрямь дело обстояло намного хуже, чем в Москве. Масса жителей близлежащих к Москве городов регулярно ездили в столицу за провизией. В ходу был анекдот — загадка: «Что такое — длинное, зеленое, пахнет колбасой?» Ответ: «Электричка из Москвы». И мой портфель частенько попахивал этим деликатесом: сослуживцы не оставляли меня своими просьбами пособить.

В комнате для приезжающих преподавателей мужского пола, помещавшейся на том же этаже, что и аудитории, было шумно и нечисто, главное же — очень тесно. Нас было пятеро москвичей на четыре койки, и спасение заключалось лишь в том, что у всех было разное расписание: одни уезжали, другие приезжали. Здесь собирались разные люди, со своими привычками, возможности уединиться не было никакой, что очень удручало.

Правда, вскоре для приезжающих выделили еще одну комнату, в которой мы оказались вдвоем с Ароном Ильичом Рубиным — пожилым преподавателем логики, отцом моего приятеля — китаиста. Арон Ильич, человек во многих отношениях замечательный, был близким другом А. И. Неусыхина. Полиглот, он переводил сочинения зарубежных мыслителей, но публиковались эти переводы под фамилией «официального философа» Г. Ф. Александрова (который вообще умел эксплуатировать чужой интеллект). Арон Ильич был жизнерадостным, мудрым, обаятельным и совершенно не приспособленным к практической жизни человеком. Отрешенность от реальности проявилась и в его преподавании. Увлеченный в то время логико — математическими трудами Эйлера, он в своих лекциях пытался внедрить подобные сюжеты в головы слушателей, среди которых преобладали девушки, малорасположенные к восприятию отвлеченных материй, — разумеется, с нулевым результатом.

Рассеянность его была фантастической. Однажды во время ужина в нашей комнате, получившей прозвище «Ароникум», я неосторожно посоветовал ему лишний раз обдать кипятком стакан (обслуживавшая приезжающих тетя Паша была отменной грязнулей). «Вы находите?» — как всегда серьезно переспросил А. И. и добросовестно последовал моему совету. Заглянувший минуту спустя к нам в «Ароникум» коллега начал дико хохотать. Оказалось, что сильно подслеповатый Арон Ильич вылил воду из стакана не в ведро, стоявшее у двери а в мои калоши. Он был вообще большой чудак. Однажды в Москве, стоя в метро на платформе и читая грамматику персидского языка, выронил увесистый том на рельсы, преспокойно отправился в конец перрона и спустился по лесенке на путь, где немедленно был

схвачен как злостный нарушитель.

А вот о его внешнем виде. Однажды в студенческие времена моя будущая жена и ее подруга идут вместе с А. И. Неусыхиным по ул. Грановского; навстречу С. Д. Сказкин. Они останавливаются и разговаривают. И вот подруга моей жены видит: приближается к ним маленький, тщедушный, подслеповатый старичок, пальто сикось — накось застегнуто, брючки коротенькие, робко протягивает руку. Она открывает сумочку и начинает в ней копаться — подать копеечку. А Неусыхин кидается к старичку в объятия. Это был Рубин.

Но вот другая история, в которой комичное переплетено с трагедией. Родной брат Арона Ильича, Исаак Ильич Рубин, известный экономист, в свое время погиб как «враг народа». Вслед за тем на Лубянку вызывают самого А. И. Задавая вопросы, следователь говорит ему: «Трудно допустить, гражданин Рубин, что если ваш родной брат был меныиевиствующим идеалистом, сами вы свободны от идеологических ошибок». А. И., с готовностью: «Да, конечно, и у меня были ошибки: я просмотрел ленинский этап в развитии марксистской философии». Следователь радостно хватается за перо, но оно вываливается у него из рук, ибо А. И. безмятежно продолжает: «Но понадобилась гениальность товарища Сталина, чтобы открыть этот этап!» Вскоре следователь понял, что дальнейшая беседа не принесет желанных плодов, и подписал ему пропуск: «Вы свободны». Но тот уже разговорился и был расположен развивать свои идеи. Чекисту пришлось вызвать охранника, чтобы выдворить Рубина с Лубянки.

Невзирая на многочисленные жизненные невзгоды, А. И. неизменно сохранял бодрость, веру в человеческую доброту и неуместный подчас оптимизм. Когда его в 1951 или 1952 году увольняли из Калининского пединститута (это было последнее в его жизни место работы), он сказал мне, вернувшись от ректора: «Полянский был очень любезен!»

Вопрос об увольнении встал вскоре и передо мной. Однажды П. П. Полянский посетил мою лекцию. Как назло, речь шла о предпосылках Столетней войны, и мне пришлось остановиться на бракоразводном процессе между Генрихом Плантагенетом и Алиенорой Аквитанской. По окончании лекции ректор пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Я, как вы понимаете, не специалист по истории Средних веков. Но нам, руководящим работникам, приходится судить о самых разных предметах. Мне совершенно непонятно, почему в своей лекции вы говорили о разводе и каких-то личных склонностях короля, вместо того чтобы охарактеризовать состояние экономики в Англии и Франции перед началом войны и противоречия политического и

социально — экономического порядка». — «Павел Павлович, — возразил я, — об обществе и событиях XII века нельзя судить, исходя из интересов мирового рынка и противоречий между великими державами. Феодализм — это такая система, в которой межличные отношения, действия феодальных сеньоров, особенно занимавших престолы, играли очень большую, подчас решающую роль, поэтому и приходится говорить о том, что не поладили король Англии и французская принцесса и к чему это привело. И в следующем учебном году я буду читать точно так же».

Конечно, эта заключительная дерзость сослужила дурную службу (со мной бывает иногда: заведешься — я тебе покажу!). Ректор выслушал меня и говорит: «Вы свободны». Вскоре я узнал, что свободен не только от его новых визитов, но и от работы в пединституте. Как только в конце учебного года началось сокращение штатов, меня известили об увольнении. Я говорю заведующему кафедрой Тарасенко: «Василий, как же меня могут уволить?» Я был единственным преподавателем истории Средних веков, кроме одного бедного аспиранта, который занимался историей партии, а его заставляли читать Средние века. Тот протестовал, в результате чего меня и взяли. Василий был покорен начальству, говорил, что такова ситуация.

Я пошел в Министерство просвещения РСФСР. На мою удачу, я попал на прием к заместителю министра (его фамилию я, к сожалению, забыл). Это был приличный человек, он прекрасно все понимал и сказал, что позвонит нашему ректору Полянскому. На другой день в министерстве меня известили, что Полянский «не подтвердил факта моего увольнения». Я не стал выяснять, почему Павел Павлович изобразил меня таким вруном. Но проходит учебный год, снова очередное сокращение штатов, Гуревича снова увольняют. Я опять иду к тому же зам. министра, говорю: «Извините, я становлюсь монотонным, но меня снова увольняют». Он усмехается: «Я позвоню Павлу Павловичу».

Та же история. Она имела совершенно необыкновенный резонанс в институте: у Гуревича «рука» в министерстве, это его близкий родственник там сидит. И когда одному типу с нашей кафедры, весьма неприятному, надо было устраиваться в Москве, а Полянский его не отпускал (вот ты хочешь уйти, так я не дам тебе характеристику, а без характеристики — это как с волчьим билетом), этот господин звонит мне: «А. Я., вы не могли бы через своего родственника мне помочь?» Говорю: «Ну уж и родственник…» Не мог я ему помочь, конечно. Дважды меня так выгоняли, не получилось. Тогда перевели на пол ставки ассистента. Этой пол ставки мне хватало на билеты от Москвы до Калинина и обратно. Но все-таки я работал, не числился

«тунеядцем» и надеялся, что когда-нибудь меня восстановят в полной должности.

Но главно заключалось для меня в другом. Главным был не профессорско — преподавательский состав и не бытовая сторона жизни. Меня интересовали студенты. Однако тут разочарований оказалось больше, чем очарований. Выпускники местных школ, если они были неплохо подготовлены, стремились поступить в вузы Питера или Москвы. В наш пединститут сплошь и рядом поступали те, кто обширными знаниями не обладал. Абитуриенты, являвшиеся на вступительные экзамены, оставляли тяжелое впечатление. Но и выпускники института нередко не блистали. Однажды на выпускном вечере студентка филологического отделения призналась мне, что так и не удосужилась прочесть «Войну и мир», хотя и в школе, и в институте ее четырежды экзаменовали по этому произведению. Что касается студентов — заочников, среди которых преобладали взрослые люди, то один из них, захмелев, на выпускном вечере похвастался: «У меня есть начальное образование, и вот теперь — высшее. А среднего-то нет! Я секретарь райкома партии по пропаганде. Вызываю к себе зав. РОНО и велю ему приготовить мне аттестат об окончании средней школы, с ним и в пединститут поступил!».

Среди студентов преобладали дети небогатых да и просто бедных родителей или сироты. Кое-кто из них из-за плохой успеваемости не получал и той нищенской стипендии, какую можно было рассчитывать. Я неоднократно сталкивался с фактом, что лишенная средств к существованию студентка питалась у своих подруг, делившихся с ней скудной пищей из нашей столовки. Впрочем, никому из неимущих не приходило в голову хоть как-нибудь заработать себе на пропитание — разгружать вагоны на вокзале или хотя бы наняться на уборку институтских помещений. Иждивенческие настроения были настолько распространены, что никто из студентов, занимавших у меня деньги или просивших купить в Москве какую-нибудь книгу, не считал нужным вернуть долг.

Большинство студентов (на историко — филологическом факультете преобладали девочки) относились к учебе очень формально. Им нужно было сдать экзамены так, чтобы получить стипендию, и на этом все заканчивалось. Особой тяги к знаниям у них не наблюдалось. Были, конечно, хорошие, старающиеся, интересующиеся мальчики и девочки, обладавшие пытливой мыслью. Но, как правило, они не знали иностранных языков, поэтому по истории Средних веков могли сделать очень немногое. И попытки некоторых из них поступить в аспирантуру в

конечном итоге приводили меня к разочарованию: они не тянули.

Работа со студентами, подготовка к лекциям и всякого рода дополнительные нагрузки отнимали много времени и сил. Я пытался привлечь наиболее способных в научное студенческое общество. Нам удалось связаться с известным французским историком Альбером Собулем, который был столь любезен, что прислал нам свою книгу «Санкюлоты Парижа». Кое-кто из студентов все же смог прочитать из нее отдельные главы. Я раздобыл сборник протоколов парижских секций периода Великой Французской революции, который издали А. Собуль и В. Марков. Значительную часть этих интереснейших материалов мы со студентами перевели на русский язык для нужд нашего семинара.

Но вообще-то самое начало 50–х годов было для меня очень сложным временем. Общая ситуация в стране была предельно напряженной и безрадостной. К обстановке в Калинине привыкал с трудом, вернее сказать — примучивался. Вспоминаю, как иные из моих сослуживцев воспринимали кампанию против «безродных космополитов»: за спиной моей и тех немногих «неарийцев», которые оставались в пединституте, говорили всякие гадости, хотя при встрече лица сплетников расплывались в широкой улыбке.

В первые годы после смерти Сталина, когда наметились какие- то «телодвижения» Хрущева и его окружения, у студентов, естественно, началась ломка сознания. Те, кто задумывался над историей нашей жизни в новейшее время, не понимали, как быть, терялись. В школе их учили, что все происходящее у нас — истина в последней инстанции; теперь все расшатывалось. Мне приходилось вести с ними откровенные беседы, но я предпочитал делать это все же приватно, разговоры в больших группах могли привести к неприятностям.

Неотъемлемой стороной вузовской жизни было в то время участие студентов в сельскохозяйственных работах. Калининская область постоянно числилась в ряду регионов, терпевших бедствие: спускаемые сверху планы уборки урожая не выполнялись. Учебный год практически начинался не 1 сентября, а в середине или даже во второй половине октября. Студентов посылали в деревню убирать лен и картофель. С производственной точки зрения эти мероприятия оказывались почти совершенно неэффективными: собрать что- либо под непрерывным дождем, сменявшимся снегом, в бедных и почти лишенных населения деревнях было трудно. К тому же колхозники, вернее, старухи — колхозницы (ибо почти все мужчины ушли в город) ворчали: «Прислали вас на наши головы,

еще кормить вас приходится…»

Во главе студенческих «отрядов» были поставлены преподаватели, но послать из города немолодых людей было чрезвычайно трудно. Между тем на меня смотрели как на человека, жившего без особых забот, поскольку семья моя находилась далеко, в Москве.

Эти посещения сельской глубинки производили крайне гнетущее впечатление. Со времени окончания войны миновало не менее десяти лет, а разруха на селе с каждым годом лишь усугублялась. Почти полная бессмысленность этих наших поездок была очевидной. К тому же первый семестр учебного года оказывался скомканным. Зато ректор института мог рапортовать областным властям о выполнении ответственного задания. *Я* отчетливо понимал, какими последствиями был бы чреват длительный отрыв от исследовательской работы. Чтобы оставаться в форме, нужно было сосредоточиться на новой теме, которая постепенно стала кристаллизоваться в моем сознании. Изучение отношений земельной собственности и ее эксплуатации в Англии Раннего Средневековья породило больше вопросов, нежели ясных ответов на них.

«История историка» (1973 год):

«Я вновь и вновь возвращаюсь мысленно к вопросу: с чего и как началась моя “реконструкция” как историка, и испытываю трудность в объяснении. Можно наметить, вероятно, несколько линий развития. Первая, проследить которую легче всего, если изолировать ее — что неизбежно будет искусственным — от остального, — это линия воздействия материала на историка, точнее — взаимодействие историка и материала исследования. Вкратце путь представляется мне таким (я употребляю прошедшее время, ибо ныне сознаю большую иллюзорность столь простого объяснения). Работа над англосаксонскими памятниками оставила меня неудовлетворенным: наиболее ранняя стадия отношений семьи и собственности, шире — социального строя в целом, англосаксонскими правовыми источниками почти вовсе сокрыта (а для ученика школы Неусыхина именно этот вид источников представляет наибольшую ценность, нарративные памятники могли иметь при этом лишь вспомогательное значение).

Поэтому вскоре после защиты кандидатской диссертации (в 1950 году) я задумал на время “переселиться” в Скандинавию. Родство англосаксонских и скандинавских порядков явствовало уже и из литературы. Пример П. Г. Виноградова, который в свое время обращался к норвежским судебникам именно для изучения связей родства, казался мне достойным подражания.

Неизведанность раннесредневековой скандинавской социальной жизни в отечественной литературе, как и в западноевропейской (за исключением Конрада Маурера и немногих других), сулила в будущем находки. Английский же материал я представлял себе в основном исчерпанным (en gros, деталями заниматься казалось не очень-то перспективным). В норвежской архаике мне чудились таящимися многие разгадки в области изучения варварского общества германцев. Известную роль в принятии мною решения "оскандинавиться" сыграло и чувство "тесноты", которое я начинал испытывать на Британских островах: с М. Н. Соколовой, тоже работавшей над сходными вопросами англосаксонской истории, у меня с самого начала сложились плохие отношения, главным образом потому, что наши подходы к изучению одних и тех же источников были радикально различными […]; косился на меня и Я. А. Левицкий, который хотя и специализировался по раннему английскому городу, тем не менее выдавал себя за специалиста по истории англосаксов вообще и, как я уже писал, "капал" Косминскому; наконец, XI век находился во владениях М. А. Барга, с которым конкурировать я не решался. Это обстоятельство ("чувство плеча" коллег) не имело, однако, решающего значения, ибо мой визит в Скандинавию тогда (в начале 50–х годов) представлялся временным: накопив необходимые сведения, я намеревался возвратиться в Альбион, дабы рассеять туман, скрывавший древние его социально — экономические реалии».

Наиболее распространенный способ работы историка — сосредоточение его на истории одной страны, одного периода и даже на излюбленной тематике. Раз заделавшись историком Англии, либо Византии, либо Италии, он остается верным этому выбору до конца. Преимущества и выгоды подобного «единобрачия» очевидны, но далеко не всегда осознается неизбежная при этом ограниченность кругозора. Нельзя все-таки упускать из виду, что средневековая Европа при всей ее внутренней многоликости представляла собой некую общность, каковую следовало бы ясно осознавать. Перемещение центра тяжести моих исследований с социально — экономических сюжетов на историю культуры или, точнее, расширение проблематики за счет обеих этих сфер с особой настойчивостью побуждало меня не ограничиваться пределами одной страны и пытаться мыслить более глобально. Для уяснения специфики истории того или иного региона Европы необходимо было обратиться к сопоставлениям и сравнительным исследованиям. В тот момент моей эволюции как историка, который я сейчас

описываю, вся значимость проблемы компаративистики, разумеется, передо мной еще не вырисовывалась с полной ясностью, и тем не менее двигавшие мною импульсы «работали» именно в этом направлении. Хотя А. И. Неусыхин и упрекал меня в свое время в разбросанности интересов, я постепенно осознавал, что придерживаюсь иной, нежели он сам и его ученики, стратегии научного поиска. И до сегодняшнего дня я не имел оснований отказаться от этой стратегии.

Вхождение в новый для меня древнескандинавский материал оказалось столь же увлекательным, сколь и трудоемким. Начать с того, что приходилось осваивать древнеисландский язык, а также современные скандинавские языки. В 50–е годы у нас практически не существовало ни учебных пособий, ни словарей такого рода. Обратиться за помощью было не к кому, все пришлось делать в одиночку и отнюдь не наилучшим образом. Но зато, как я сразу же убедился, все эти «издержки производства» с лихвой перекрывались ощущением, что я нашел поистине золотую жилу: ничто не могло сравниться с богатствами, которые открывались в записях областных законов, в сагах об исландцах и о норвежских конунгах, в поэзии скальдов, в песнях «Старшей Эдцы». Саги и поэзия были по преимуществу исландского происхождения, и поэтому изучение ранней истории Норвегии теснейшим образом переплеталось с изучением истории Исландии IX-XIII веков.

«История историка» (1973 год):

«Долго я добросовестно ставил этим памятникам — не только записям права, но и сагам, обойти кои оказалось куда трудней, чем нарративные источники континента Европы, — традиционные “неусыхинские” вопросы: структура родственных связей, соотношение большой и малой семьи, община, отношения собственности и т. п. После понятных технических трудностей (древний язык — прежде всего, язык, воспринимаемый на первых порах скорее как препятствие к пониманию действительности, нежели как ключ к ней и интегральная ее часть) материал пошел лавинообразно. Франкские и другие leges barbarorum бледнели перед изобилием и подробностью норвежских правовых памятников. Раскрывались определенные черты скандинавской и общегерманской социальной архаики. Я не ошибся в своих ожиданиях: затраты времени и сил, необходимые для овладения этими труднейшими источниками, с лихвой оправдывались.

В пылу “золотой лихорадки” я поначалу не замечал, что, выбирая нужные для себя данные о социальном строе древних скандинавов, я опускаю, обхожу как не имеющие значения многие другие явления. Ибо их игнорировали и мои предшественники,

как учителя, так и специалисты по истории Раннего Средневековья в других, в том числе скандинавских, странах. В лучшем случае на эти стороны дела обращали внимание историки права, трактуя их как “Rechtsalterthьmer”, KaKpuriosa. Норвежские правовые источники, как и другие памятники, изобилуют указаниями на всевозможные процедуры, пронизывающие все стороны общественной жизни, формулы и присяги, произносившиеся при всех важных событиях, наконец, — терминами, не поддающимися однозначному экономическому или юридическому истолкованию. И хотя интерес к анализу терминологии (правовой) в школе А. И. Неусыхина был очень велик, интерпретация ее была все же по преимуществу юридическая, а не направленная на раскрытие миросозерцательного смысла понятий и представлений, ее породивших.

Среди обширного комплекса древних скандинавских источников нет актов. Между тем саги занимают столь видное место, что отмахнуться от них невозможно. Но как их интерпретировать? Как литературный жанр, моделирующий действительность сообразно своим, только ему присущим канонам, или же как всякий иной “исторический источник”, то есть, ничтоже сумняшеся, брать из саг нужные сведения, сопоставляя их с данными записей обычного права?

Я не сразу нашел к ним правильный ключ и долго подходил к сагам излишне утилитарно, полагая, что они “отражают” действительность, не беря в расчет, что “отражение” это есть прежде всего своеобразное ее преломление и преобразование и что поэтому саги могут служить важным источником для понимания mentalitй людей времени их записи, но лишь в очень ограниченной степени и с очень существенными оговорками — ис точниками для изучения эпохи, в них описываемой.

Эволюцию моего подхода к истолкованию исландских саг (прежде всего “королевских”) отражает сопоставление моей первой статьи об “отнятии одаля” Харальдом Харфагром (в “Скандинавском сборнике”), статье, которая вызвала справедливые замечания исландца Бьёрна Торстейнссона (тоже в “Скандинавском сборнике”), с интерпретацией того же вопроса в главе II книги “Свободное крестьянство феодальной Норвегии” и в особенности с книжкой “История и сага”. Соблазн прямого заимствования указаний на социальный строй из саг был очень велик, и преодоление его заняло немало времени.

Но дело не только в этом. Саги столкнули меня с непредвиденным персонажем истории: с живым человеком, обладающим, помимо социальной функции, еще и

индивидуальными качествами, психологией, мыслями, чувствами, словами и совершающим поступки, диктуемые как его принадлежностью к коллективу, так и его характером, этикой общества, религиозными верованиями и т. п. Бонд исландских саг — не обезличенный “непосредственный производитель”, “традент”, “плательщик ренты”, объект эксплуатации — в таких и, собственно, только в таких ипостасях представлялся простой человек прошлого историкам, в том числе и неусыхинской школы, — в сагах он выступает как субъект. И когда я начал осознавать важность этого обстоятельства, я постепенно пришел к выводу, что усвоенные мною приемы интерпретации источников совершенно недостаточны».

Предшественников из числа русских медиевистов у меня, по существу, не было, и это порождало дополнительные трудности. Иначе обстояло дело в лингвистике и истории литературы — здесь привлекали внимание работы М. И. Стеблин — Каменского, выдающегося ленинградского филолога, проявлявшего живейший интерес к истории культуры.

Знакомство с ним, вскоре переросшее в дружеские отношения (в той мере, в какой можно говорить о дружбе с человеком, намного более старшим), имело для меня исключительное значение. Михаил Иванович был непревзойденным знатоком древнесеверных памятников, прежде всего исландских саг. По его инициативе и под его руководством было опубликовано большое собрание саг, переведенных его учениками и сотрудниками по кафедре скандинавской филологии Ленинградского университета. Вскоре затем появился перевод песней «Старшей Эдцы».

В нашей стране было немало людей, которые, так или иначе, были причастны к скандинавистике, но древнескандинавские культура и литература долгое время оставались предметом занятий нас двоих. И когда стали более или менее регулярно проводиться конференции скандинавистов, мой интерес к участию в них объяснялся прежде всего тем, что там я мог более интенсивно, чем обычно, общаться со Стеблин — Каменским.

М. И. был в высшей степени привлекательным человеком, и я с удовольствием поддавался обаянию моего старшего товарища. Оригинальность мысли, остроумие, душевная деликатность сочетались в нем с несомненной силой характера. Он хотел и умел быть хозяином положения и всегда налагал отпечаток своей индивидуальности на личную беседу или научную дискуссию. По делам редколлегии «Литературных памятников» он довольно часто приезжал в Москву, где его ожидали многие коллеги и ученики, но всегда находил время, чтобы посетить мою семью и

за обедом обменяться новостями и обсудить сближавшие нас проблемы.

Наши отношения с М. И. далеко не всегда были безоблачными, ибо ряд существенных вопросов истории древнескандинавской культуры и словесности мы понимали по — разному. В частности, Стеблин- Каменский считал ненужным комментирование саг, смысл которых представлялся ему совершенно прозрачным, между тем как я, историк — зануда, был убежден в том, что очень многие места этих текстов порождают научные контроверзы и требуют истолкования. М. И. умел настоять на своем, поэтому существующие поныне переводы на русский язык исландских саг и «Круга Земного» — саг о норвежских конунгах — практически лишены комментариев, за исключением разъяснений отдельных терминов или топографических уточнений.

Более серьезными были наши разногласия со Стеблин — Каменским относительно общей интерпретации саг. М. И. считал, что главный сюжет «семейной саги» — распря и кровная месть. Что же касается человеческих страстей, то на них, по его убеждению, анонимные авторы саг не способны были обратить свое внимание. Я, напротив, придерживался мнения, что в фокусе саги находятся люди с их страстями и влечениями, озабоченные защитой личного достоинства и чести, но их эмоциональный мир выражен косвенно, а не в виде прямых высказываний. Авторам саг чужда склонность к оценочным суждениям, но это вовсе не означает, что они подобных суждений не имели. Сага представляет собой уникальный феномен в истории мировой литературы, ее эстетика — принципиально иная, нежели эстетика и поэтика средневековой литературы, развивавшейся за пределами Скандинавии.

Разногласия с М. И., хотя и чреватые порой некоторыми осложнениями в наших отношениях, никогда не приводили к разрыву дружеских связей, и наши встречи всегда были для меня своего рода праздником. М. И. был прекрасным рассказчиком. Сохранились магнитофонные записи его рассказов о посещении скандинавских стран, пронизанные выражением личных склонностей и вкусов повествователя, проникновением в своеобразный стиль жизни Стокгольма или Копенгагена, отражающие живость его ума и неизменное остроумие. Между предметом повествования и самим рассказчиком создавались сложные отношения, объединявшие и удивление, и глубокую симпатию.

В одну из своих книг о культуре древней Исландии М. И. включил удивительную историю о том, как в гостинице «Сага» в

Рейкьявике его посетил однажды ночью призрак древнего исландца, и в этой беседе ленинградского филолога с духом человека, отделенного от него тридцатью поколениями, содержится критика современной цивилизации. Обладавший несомненным литературным талантом, М. И. вообще был склонен к весьма субъективному истолкованию происходящего. Вот, например, рассказ об одном его сновидении. Наяву, как он рассказывал, произошло следующее. В деканате филологического факультета ЛГУ он стал свидетелем беседы декана с некоей дамой из «руководящих органов». Представительница власти говорила о необходимости омоложения кадров факультета и желательности выхода на пенсию пожилых преподавателей. Декан сказал, обращаясь к М. И.: «Надеюсь, вы понимаете, что вас это никак не касается, и вы будете возглавлять кафедру столь долго, сколь найдете для себя возможным». М. И. принял это к сведению, отправился домой и уснул после трудного дня. Во сне происшедшее предстало в ином облике. Некто обращается к М. И. с вопросом: «Скажите, когда вы собираетесь умереть?». Он затрудняется с ответом. «Но ведь мы должны планировать, Михаил Иванович!»

Я не мог не вспомнить здесь Стеблин — Каменского: его работы и, еще более, личное общение с ним были исключительно важны для меня, особенно в начале моей «скандинавской авантюры».

Несмотря на все сложности моей московско — калининской кочевой жизни, к рубежу 50–60–х годов мне удалось написать большое исследование по социальной истории Норвегии IX-XIII веков. Работать приходилось урывками: в дни, когда я приезжал в Москву, шел в библиотеку либо сидел дома за пишущей машинкой. Сплошь и рядом случалось, что в самый разгар работы, когда источники начинали «говорить» и в голове рождались новые мысли, приходилось все бросать и спешить на Ленинградский вокзал. В Калинине же, когда оставалось свободное от преподавания вечернее время, я, самое большее, мог перечитать и выправить захваченные с собой страницы рукописи.

* * *

В последние годы жизни Сталина в стране нагнетался ужас, и благоприятного выхода из него трудно было ожидать. Но все как будто забыли об одном обстоятельстве, о котором однажды напомнил эпизод с маленьким сыном А. П. Каждана. Они с матерью ехали в троллейбусе, и вдруг раздался его звонкий

голосок: «Мамочка, что же с нами будет, когда умрет дедушка Сталин?» Мамочка в панике вытащила ребенка из троллейбуса. Но в этом напоминании таился главный изъян так называемого культа личности: тиран всесилен, но смертен.

Смерть Сталина неожиданно открыла новые возможности. Независимо от того, чем руководствовались Хрущев и его сотоварищи в разоблачении культа личности, в результате их действий сложилась принципиально новая общественная ситуация. Началось то движение, которое называют движением «шестидесятников», хотя первые его симптомы обнаружились уже в конце 50–х годов.

Для меня, как и для некоторых других коллег, происходившие в жизни страны перемены счастливо совпали с временем, когда мы уже перестали быть только учениками и начинали оперяться в научном отношении. Еще до речи Хрущева на XX съезде мы имели некоторые теоретические наработки, противоречившие господствующей доктрине. Естественно, мы не могли выступать с ними в печати, а лишь иногда устно излагали их в семинарах. Теперь в официальной идеологии открылась трещина, и нужно было максимально ее расширять и углублять для того, чтобы выдвинуть свои взгляды, обосновать свои позиции, без чего и само научное продвижение было невозможно. Мне с самого начала «оттепели» было ясно, что для этого необходимо освободиться от идеологических предрассудков, от суеверий, догм, закрывавших все поле гуманитарных исследований. В порядке дня стояла ревизия марксизма. Но к такой сложнейшей операции нужно было быть внутренне готовым, иметь определенный жизненный опыт.

И здесь я хочу поставить вопрос: когда именно у людей моего поколения начали открываться глаза на то, что наше общество, которое официально называлось самым прогрессивным, социалистическим, основанным на подлинно верном учении марксизма, на самом деле представляет собой нечто совершенно иное?

От многих коллег и тогда, и в особенности впоследствии я слышал, что для одних подобным откровением стал доклад Хрущева, другим открыли глаза события 50–60–х годов в Венгрии, а затем в Чехословакии, третьи сохранили свою марксистско — ленинскую девственность вплоть до горбачевской перестройки. Я думаю об этом с «непросыхающим» изумлением. Тот, кто не был слеп, не мог не видеть зияющих противоречий между догмой, вывеской и тем, что происходило в реальности. Во всяком случае, у людей, с которыми я был духовно связан, уже во второй половине 40–х годов не возникало никаких сомнений

относительно советской действительности.

Верил тот, кто хотел верить, кто не хотел раздваивать свою жизнь на официальную и неофициальную, кто старался, сознательно или бессознательно, избежать понимания этих разительных противоречий. Это вовсе не исключало, конечно, порожденного воспитанием и пропагандой добросовестного заблуждения многих: они были уверены в том, что о творившихся в нашей стране произволе и бесчинствах, происходящих вследствие чьих-то злоупотреблений, сам Сталин ничего не знает. К сожалению, царистские иллюзии — неотъемлемая сторона российского менталитета.

Конечно, опыт накапливался постепенно, и разрозненные впечатления не сразу складывались в какую-то систему, но уже по окончании университета мы отчетливо знали, в каком обществе живем. Это не мешало тому, что в дальнейшем нам открылись такие тайны, о которых мы не подозревали, но во всяком случае ни речь Хрущева, ни последующие события откровением, громом среди ясного неба для меня и моих друзей вовсе не стали. Может быть, это определялось некоторыми фактами моей биографии, на которых я теперь и остановлюсь.

* * *

Я никогда не интересовался своей родословной; родственные чувства у меня недоразвиты, и любить кого-то только за то, что он называет себя моим кузеном, мне не хватает душевных сил. В Новосибирске жил мой двоюродный брат, инженер, участвовавший в строительстве Академгородка. В 1968 году, приехав в Москву в командировку, он пришел ко мне. Мы беседуем, он человек ограниченный и самоуверенный, «знает, как надо», и спорить с ним бессмысленно. Я неосторожно заговариваю о вторжении в Чехословакию, о расправе с Дубчеком. Он как отрезал: «Расстрелять!» На этом наши отношения закончились.

Моя мать умерла, когда мне было двадцать лет. С нею ушла память о том, кто были мои дедушки и бабушки, какие еще у меня были родственники, и свою короткую родословную я могу составить лишь из каких-то фрагментов. Мать происходила из богатой торговой семьи, жившей не в черте оседлости, а в Восточной Сибири — в Нерчинске, Сретенске. Ее отец, как и многие, сгинул в Соловках.

Между первым и вторым арестами он оказался у нас в Москве, в Мало — Могильцевском переулке (где я провел первые

четыре года своей жизни). Единственное мое воспоминание о нем — дедушка, человек с грубым голосом, сидит и курит. Я, глупый мальчишка, говорю: «Дедушка, дай покурить». И он сует мне горящую папиросу в рот. Я поднимаю крик и захожусь в кашле.

Отец умер, когда мне было полтора года. У него был туберкулез, его лечили и по небрежности залечили. Он тоже происходил из состоятельной семьи, жившей в Гомеле, в черте оседлости. После революции, разъезжая по России, добрался до Сибири, где нашел свою жену, после чего они осели в Москве. Родственники с отцовской стороны после революции уехали в Австрию, а после «аншлюса» успели бежать в США, где многие из них вполне процветали, некоторые живы до сих пор.

После смерти мужа моя мать, балованая дочь своего отца, которая ничего не умела делать, оказалась на мели, и единственным близким человеком являлась для нее, кроме сына — младенца, моя няня, которую взяли в дом, когда мне был один месяц и восемь дней. Няня прожила со мной тридцать лет, вплоть до своей кончины в 1955 году, и была мне еще ближе, чем мать. К няне я испытывал душевную привязанность, а для нее я составлял смысл жизни. Русская крестьянка из Рязанской губернии, еще до революции служившая в горничных у богатых людей в Питере, оказалась в Москве, ее взял мой отец и, когда умирал, обратился к ней: «Анна Федоровна, оставляю на вас жену и сына». И юная и беспомощная моя мать не покончила с собой в отчаяньи только потому, что няня твердо сказала ей: «Я тебя, Лия Иосифовна, никогда не брошу и твоего мальчика, нашего мальчика, выращу».

Это была редкостная женщина; неграмотная, я учил ее грамоте, когда она была уже совсем старенькая. Она ни разу ни на кого не повысила голоса, никогда не сердилась. Мы жили в коммунальной квартире, где между соседями постоянно вспыхивали склоки, и единственной женщиной, которая никогда в них не ввязывалась, а, напротив, своим авторитетом как-то все улаживала, была она, Анна Федоровна Юдина. Религиозной ее трудно назвать, хотя меня, маленького, она водила в церковь Спаса на Могильцах, и я даже на коленки бухался. Но просто ей, поглощенной нашими жизненными проблемами, борьбой за выживание, было не до Бога, ей нужно было спасать мать и меня.

Мы были настолько бедны, что матери пришлось не только продать все оставшееся после смерти отца, но и обменять большую хорошую комнату в Мало — Могильцевском на маленькую тринадцатиметровую на Воздвиженке, в трехэтажном доме напротив Морозовского особняка. Мать устроилась экономистом в Наркомтяжпром, зарплаты недоставало, и она не вылезала из долгов. Чтобы хоть как- то свести концы с концами,

она сдавала угол нашей маленькой комнаты. «Жиличка», как тогда говорили, Теофилия Александровна Харраш, работала корректором в «Известиях» и весь день проводила на службе. Эта немолодая женщина отличалась исключительной скромностью, тактичностью и интеллигентностью. Хотя мы встречались с ней только мимолетно, рано утром и поздно вечером, ее влияние на меня было несомненным, и даже годы спустя я не раз прибегал к ее советам в минуту жизни трудную. Другим подспорьем в бюджете семьи были обеды, которыми няня кормила жившего неподалеку, на Никитском бульваре, пожилого холостяка. Помню, как няня неизменно предлагала ему добавку и как он столь же неизменно отвечал: «Не откажусь, Анна Федоровна!».

Вспоминается послевоенный венгерский кинофильм. Среди его героев был отставной судья, заявлявший: «Я приговаривал людей к длительному тюремному заключению и даже к смертной казни, но никого не приговорил к проживанию в коммунальной квартире!». Коммунальная квартира с одним водопроводным краном, одним туалетом, без ванны, кухня с несколькими примусами и керосинками, чадившими на столиках, возле которых хлопотали хозяйки, — таков был московский. быт в 30–50–х годах. Наша коммуналка была еще не слишком многолюдной — всего шесть семей. Но зато я жил в самом центре, в районе старой «арбатской цивилизации».

Вспоминая факты жизни 30–х годов, я оказываюсь перед затруднением, связанным с попыткой восстановить общий «аромат» того времени. Это нелегко, в частности, потому, что забытое воспроизводится в моем сознании в ретроспективе более позднего времени. Жизнь складывается из деталей, как правило, малозначительных и разрозненных, но именно эти подробности особенно важны для воссоздания атмосферы утраченного времени.

Вот некоторые из этих деталей. Воздвиженка в 30–е годы в основном была такой же, как и впоследствии. Помнится, правда, чрезвычайно смутно, начавшееся в моем раннем детстве возведение здания Библиотеки им. Ленина. Эта стройка рекламировалась как большое новшество, и будущим читателям были обещаны неслыханные удобства. Особенно запомнилось обещание создать, наряду с большими читальными залами, целую серию индивидуальных кабинетов для ученых — обещание, разумеется, неисполнимое.

Когда я был студентом, мы охотно посещали большой читальный зал, располагавшийся в Пашковом доме. Он был открыт для студентов и прочих читателей, а научные работники сидели выше, на хорах. Среди постоянных посетителей

библиотеки мне запомнился одетый в потрепанную телогрейку весьма немолодой человек, лицо которого неизменно было покрыто щетиной. Кто был этот незнакомец, не ведаю. Как-то так получалось, что сплошь и рядом мы оказывались визави за одним и тем же очень длинным столом. У меня создалось впечатление, что читальный зал был едва ли не единственным местом, где он мог отдохнуть и выспаться, ибо с полок открытого доступа он притаскивал груду томов Брокгауза, раскладывал их на столе вокруг своего места и спал в этом укрытии, положив голову на руки.

Другое изменение на Воздвиженке произошло во время войны. Я жил в доме № 11, а в соседний дом № 13 во время воздушного налета попала бомба. Дом был полностью разрушен, и в бомбоубежище под домом погибло немало народа. Лишь много лет спустя я узнал, что в этом доме проживал А. Ф. Лосев, счастливо избежавший гибели.

Пространство старой «арбатской цивилизации» охватывало, помимо самого Арбата с переулками, с одной стороны, Остоженку и Пречистенку, с другой — Никитскую и Моховую. Наряду с библиотекой, в этот культурный центр входили и университет, и консерватория, и многочисленные букинистические магазины, и, главное, люди, по своему облику и предполагаемому роду занятий весьма отличавшиеся от тех, кто заполнил этот район позднее.

После того как университет был переведен на Воробьевы горы, то есть, по сути дела, вытеснен на периферию города, студенты перестали быть хозяевами и завсегдатаями центра столицы, ибо хотя старые университетские здания по — прежнему ему принадлежали, они пришли в запустение. Фигуры Герцена и Огарева, и теперь высящиеся во дворе одного из этих зданий, остались в одиночестве. Что касается другого здания, где располагалась Коммунистическая аудитория, то перед его фронтоном после войны была воздвигнута внушительная статуя Ломоносова, которая вскоре сделалась посмешищем для студентов. Великий ученый стоял во весь рост, прижимая к боку большой свернутый свиток. Многие студенты, прогуливая своих подруг вокруг монумента, останавливали их за плечом гиганта русской науки, и тогда, если ракурс был выбран удачно, перед ничего не подозревавшими зрителями свиток превращался в колоссальный фаллос. Не помню фамилии скульптора, который умудрился создать статую, не удосужившись рассмотреть ее со всех сторон (иначе остается предположить, что он был большой хулиган). Мне неведомо, где теперь хранится этот скульптурный шедевр, но примерно в 60–е годы его заменил другой Ломоносов,

благоразумно усаженный в кресло и потому уже не способный вызывать взрывы хохота, то и дело оглашавшие университетский двор.

Возвращаясь на Воздвиженку, я могу еще вспомнить, что Морозовский особняк, архитектурное творение не слишком высокого вкуса, принадлежал сначала японскому посольству, затем, во время войны, здесь располагалась редакция «Британского союзника», а еще позже его заняло правление ВОКСа (Всесоюзного общества культурных связей с заграницей). И последнее новшество на Воздвиженке — снос того дома, где я прожил не одно десятилетие, в связи со строительством нового здания Министерства обороны. Впрочем, в те годы я жил уже на Большой Якиманке, опять-таки в коммуналке с соседом — пьяницей, обычно вполне добродушным, но в частые моменты сильного опьянения грозившим всех порубить. Это то, что касается визуальных впечатлений.

Сохранились и воспоминания звуковые. В конце 20–х — начале 30–х годов асфальтировали многие улицы Москвы. На углу Воздвиженки и Арбатской площади, помнится, долго стоял огромный чан, в котором разогревали асфальт, и вокруг него зимними ночами жались беспризорники. Это было одно из наиболее страшных последствий коллективизации. С той стороны улицы то и дело слышались их печальные песни, внезапно прерывавшиеся воплем: «Шухер! Мент! Облава!», после чего несчастные разбегались кто куда, возвращаясь к «очагу» после того, как опасность миновала.

Неотъемлемая «музыка» московских дворов того времени — крики старьевщиков, скупавших всякую рухлядь, залежавшуюся в коммуналках: «Старье берем и покупаем!» Не менее частыми были возгласы стекольщиков и точильщиков. На бульваре, вблизи памятника Гоголю (не того, изваянного Мухиной, бессмысленно приплясывающего весельчака, но тяжело задумавшегося Гоголя, который сидит, возвышаясь над барельефом, изображающим его многочисленных героев, и сосланного в один из дворов, примыкающих к дому на Никитском бульваре, где писатель жил и умер), можно было услышать пение и видеть пляски цыганок, прерываемые возгласами: «Эх, кости болят, они денег хотят!» Нередко по бульвару водили на привязи медведя, и хозяин вручал ему бутылку, приказывая: «А ну, Миша, покажи, как русский мужик водку пьет!», что Миша с готовностью исполнял. Подозреваю, что содержимое бутылки употреблял сам хозяин медведя.

Наконец, на бульварах постоянно слышался стук деревянной обуви китайцев, торговавших маленькими шариками,

прыгавшими на резинке, свистульками и другими подобными игрушками. Но особенно прибыльной была для них, по — видимому, торговля насаженными на палочку цветными леденцами в виде петушков и других зверушек. Эти сласти пользовались успехом у детворы, которую едва ли останавливало то, что время от времени торговец слизывал с петушка осевшую на него пыль, возвращая ему изначальную красоту.

Нельзя также не вспомнить, что в звуковой гамме столицы 30–х годов преобладали не шум и гудки автомобилей, встречавшихся сравнительно редко, а звонки повсеместно сновавших трамваев, резкий визг тормозов, и часто слышался цокот подков извозчичьих лошадей. В трамваях, как правило, переполненных, то и дело возникала перебранка, причем пассажиры чаще всего прибегали к формуле: «Шляпу надел, в такси вам ездить!» Пассажиры располагались не только в вагонах, но висели на подножках и сидели на буферах, и несчастные случаи были частью повседневности.

Да, чуть не забыл: на площадях и улицах были развешены громкоговорители, так что публика могла быть в курсе последних событий. Радиоприемники были большой редкостью, и в комнатах коммунальных квартир на стене висела, как правило, черная картонная тарелка. Эта радиоточка передавала одну — единственную программу радиостанции им. Коминтерна.

Я чувствую потребность остановиться на роли этой черной тарелки в моей жизни того времени. С раннего детства при ее посредстве я приобщился к миру классической музыки и старался прослушать все музыкальные передачи.

Здесь нелишне отметить, что тогдашний музыкальный репертуар в немалой степени отличался от современного. Музыкальная классика пользовалась уважением, в отличие от музыки XX века, которая сплошь и рядом расценивалась как модернистски порочная, а потому и не заслуживающая исполнения. Кроме того, были композиторы, которые по идеологическим и политическим причинам исключались из репертуара. В частности, это касалось церковной музыки, причем не только православной, но и музыки немецкого барокко. Баха почитали как великого композитора и исполняли многие его органные и фортепьянные сочинения, но его «Passiones» игнорировались и прежде всего не потому, что для их исполнения потребны были огромные усилия и соответствующая музыкальная культура, но и вследствие господствовавших идейных установок. Замалчивались русские композиторы — эмигранты. Так, например, Рахманинов совершенно терялся в тени Чайковского, и его фортепьянные концерты и «Колокола», насколько я помню,

зазвучали в Консерватории и в радиопередачах лишь после войны.

Я страстно впитывал в себя классическую музыку, хотя и здесь дело не обошлось без странности. Нашей соседкой по квартире на Воздвиженке была пожилая дама, служившая билетершей в Большом зале Консерватории. Она неоднократно говорила, что может провести меня на концерт, но я был настолько дик и стеснителен, что ни разу не воспользовался ее приглашением.

Я упоминаю о моих музыкальных склонностях потому, что мое развитие как начинающего историка было внутренне неотделимо от влечения к музыке. Я никогда не имел возможности учиться ей, но она всегда во мне звучала. И когда я занимался дома, чтение и писанья, как правило, происходили на фоне музыки Баха, Моцарта, Бетховена, Вагнера. К творчеству последнего я с давних пор испытывал неодолимое влечение и подозревало, что мое обращение к сюжетам скандинавской истории в какой-то мере, скорее всего, бессознательно, было навеяно мелодикой вагнеровского «Кольца».

Вспоминаю постановку «Валькирии» в Большом театре в 1940 году. То было одно из проявлений «великой дружбы» между гитлеровской Германией и Советским Союзом. В Москве поставили «Валькирию», а в Берлине — «Чародейку» Чайковского. Постановщиком в Большом театре выступил С. Эйзенштейн, который проявил немало изобретательности в достижении сценических эффектов: например, во время поединка Зигмунда с Хундингом скалы, на которых они стояли, обмениваясь ударами мечей, поднимались и опускались, пламя, окружившее Брунгильду в последнем акте, производило впечатление подлинности. Но самое сильное впечатление, к сожалению, вовсе не радостное, которое я вынес из этого спектакля, состояло в том, что «вагнеровских» голосов вовсе не было, а роль Брунгильды исполняла некая Капитолина Цин — имя, едва ли знакомое музыковедам, но хорошо запомнившееся мне, поскольку эта певица регулярно выступала на эстраде кинотеатра «Художественный» перед началом сеансов и уж, конечно, не в вагнеровском репертуаре.

Отдельные события музыкальной жизни оказались вместе с тем и немаловажными фактами моей биографии. Когда зимой 1941–1942 годов транслировали из Куйбышева премьеру Седьмой симфонии Шостаковича, я испытал сильнейшее потрясение. И свежесть этого переживания не исчезает во мне до сих пор.

Разумеется, по мере взросления и старения мои музыкальные вкусы изменялись, но самой колоссальной фигурой в музыке

неизменно оставался, остается и поныне Бетховен. То, что он сумел создать в годы своей глухоты, непостижимо моему уму и служит мне примером и утешением в моем нынешнем состоянии. Но теперь Бетховен для меня — это, в первую очередь, не великие его симфонии, а последние струнные квартеты и позднейшие фортепьянные сонаты — в них раскрываются такие глубины человеческой натуры, с какими я ничего не в состоянии сопоставить.

Наши окна выходили во двор, окна же некоторых соседей — на Воздвиженку, а она была правительственной магистралью. Две смежные комнаты занимала семья врача, которой все же позволили иметь окна, выходившие на улицу, а две другие принадлежали сотрудникам НКВД. Один из них — мрачный тип, которого не только на работе все боялись (как нам передавала соседка, имевшая несчастье быть его сослуживицей), но трепетали и собственные жена и сын, по возвращении папочки с работы не смевшие раскрыть рта. Другой энкавэдэшник входил в охрану Сталина.

На процессах 37–го года не то Пятакова, не то Сокольникова Вышинский обвинял, помимо всего прочего, в том, что они якобы посылали своих секретарш записывать номера правительственных машин, для того чтобы потом организовать покушение на членов Политбюро. Это была, конечно, ложь. До убийства Кирова обстановка на улице не была еще столь напряженной. Однажды мой отчим, возвратившись домой, рассказал, что только что встретил прогуливавшегося по Воздвиженке Сталина. В весенние и осенние месяцы мы, выходя из школы (она находилась почти напротив старого здания Реввоенсовета), гуляли по Знаменке (ул. Фрунзе) и часто видели, как из ворот Реввоенсовета выезжал роскошный «линкольн», в котором сидел «первый маршал» Клим Ворошилов. Иногда мы окружали его машину и в восторге махали руками, и он нас не боялся, и мы его не боялись, и никто нас не оттаскивал. Правда, и тогда уже в подъезде нашего дома по ночам топтался охранник.

Сначала я учился в 64–й школе, на Знаменке. В 1939 году наш класс перевели в 71–ю школу на Арбате. Не знаю, насколько типична была эта школа. Порядки были такие. Директор, А. М. Смирнов, мужчина суровый, каждое утро стоял на первой площадке лестницы, по которой ученики шли в классы, и все мы должны были его приветствовать. Затем в коридоре выстраивалась линейка, отдавали рапорт или старшему пионервожатому, или директору. Члены учкома дежурили на переменах, поддерживая порядок. Каждую перемену знамя школы выставлялось в холле, и два пионера по стойке смирно стояли

возле него почетным караулом.

Помнится, летом 1940 года (наверное, не без инициативы директора) был проведен «марш — бросок». Мы, старшеклассники, построились по восемь человек в ряд и стройной колонной, чеканя шаг, под знаменем, прошествовали по Арбату до Смоленской площади, развернулись налево и, продефилировав до Крымского моста, вернулись назад. Не было никакого праздника, прохожие с явным удовлетворением взирали на стройно шагающую молодежь. А мы пережили волнующий момент слияния в некое единство; двусмысленность происшедшего открылась мне лишь годы спустя.

Такой дух военизации, внедрения дисциплины был характерен для того времени. После начала войны распространялась легенда о том, что нападения Германии на СССР никто якобы не ожидал. Но я отчетливо помню: еще до войны к нам в школу, к старшеклассникам, неоднократно приходили с лекциями сотрудники Института истории АН и, предупреждая о конфиденциальности сообщаемого, говорили о том, что пакт Молотова — Риббентропа — это брак не по любви, а по расчету, и, конечно, война предстоит. Об этом твердили везде и всюду. Во время парада на Красной площади в мае 1941 года впервые исполнялась песня «Если завтра война», где все было сказано всеми словами. Мотив подготовки к войне настойчиво звучал во многих песнях и кинофильмах. В фильме «Трактористы» на второй его минуте речь шла уже о танкистах: сегодня трактористы пашут землю, завтра будут бить врага.

Весной 1940 года меня внезапно прямо с урока вызвали в РОНО и предложили перейти учиться в ФЗУ (фабрично — заводское училище). Это была своего рода мобилизация. Врач, однако, признал меня непригодным по зрению. Беседу со мной вела дама из райкома партии, и я запомнил ее вопрос: «Ты хочешь убить врага?» Подобных наклонностей у меня не было, но в целом воспитание я получил ортодоксально — советское.

В те годы наибольшее влияние на меня оказывал мой отчим, о котором, конечно, надо рассказать. Когда мне было лет семь или восемь, моя мать вторично вышла замуж за очень хорошего человека, Игоря Константиновича Рогашевича. Судьба его сложилась непросто. В годы Гражданской войны, совсем еще юношей, он командовал боевым соединением Красной армии. Отец его был полицейским урядником, и хотя Игорь давно порвал с ним по идейным соображениям и даже поменял фамилию, тем не менее его подвергали всякого рода ограничениям и преследованиям и, наконец, исключили из партии. Осенью 1934 года ему предложили отправиться на работу в провинцию, в

Новосибирск. Это не была ссылка, но некоторое, что ли, испытание. Мы выехали из Москвы 1 декабря 1934 года. В Свердловске Игорь вышел на перрон и тут же вернулся в купе бледный, с газетой в руке — Кирова убили!

Мы прожили в Новосибирске полтора года. Здесь нас, пионеров, нередко посылали на разные торжественные мероприятия, где мы хором приветствовали товарища Эйхе и других руководителей Западносибирского края, которые, как это теперь известно, уже были намечены Сталиным на заклание, через несколько месяцев все они «загремели». В 1936 году мы возвратились в Москву, а осенью 1937 года Игоря арестовали. Мне было тогда тринадцать лет, спал я, как сурок, и не слышал суеты, сопровождавшей арест. Проснувшись, вижу, мать сидит на тахте, заплаканная, Игоря нет. Спрашиваю, где он: «Ночью его забрали». Мой отчим был стойкий человек, искренне и глубоко преданный марксизму — ленинизму, не испытывавший никаких идейных колебаний (во всяком случае, я не слышал от него ни слова, ни намека). Он отказался подписывать предъявленные ему обвинения. Когда весной 1938 года сместили Ежова, и его сменил Берия, кое — кого выпустили. Выпустили и Игоря, поскольку он ничего не подписал и еще не был судим.

Он подал апелляцию в Комитет партийного контроля о восстановлении в партии, и одно из сильнейших впечатлений моего отрочества связано с этим. Я вынимаю из почтового ящика официальное письмо и вручаю его Игорю. Игорь читает бумагу, и вдруг этого мужчину — он был двухметрового роста, крепкий, красивый — сотрясают рыдания, напоминающие звериный вой: он получил извещение из КПК о том, что реабилитирован и восстановлен в рядах партии. Затем он поступил в Промакадемию, окончил ее в июне 1941 года, а осенью 1941 года на фронте пропал без вести, погиб.

Другие впечатления связаны с деревней. Моя няня была из Рязанской губернии. Когда я был маленьким, мы неоднократно ездили с ней туда. Там жила ее сестра, тетя Маша с мужем дядей Колей. Мы проводили у них лето, я по мере сил участвовал в работах на огороде и в поле и познакомился немного с крестьянской жизнью.

Дядя Коля не состоял в колхозе, ему как-то удалось остаться в стороне. Он был очень немногословен, всегда занят делом. Хозяйство содержалось в отменном порядке, все трудовые процессы совершались степенно и размеренно. Я его однажды спросил: «Дядя Коля, а почему вот у вас изба стоит, у Степаниды изба стоит, а дальше дома совершенно разоренные — ни стен, ни крыши?». Он в ответ: «Мамай прошел». Это были следы

коллективизации, которая сопровождалась не только ограблением состоятельных крестьян, арестами и ссылками. Зачем-то еще потребовалось уничтожать их дома.

Дядя Коля жил на краю села, через огород спускались прямо к реке. Это был Северный Донец, который почему-то называли здесь Доном. Рыбы в этой реке было великое множество, но ловить ее власти запрещали. Дядя Коля занимался браконьерством. Ночью вместе с соседом он тайком отплывал на лодке и на заре возвращался с полным неводом. Председатель райисполкома и председатель колхоза прекрасно знали, кто чем занимается, поэтому иногда вечером или ночью они приезжали к нашим рыбакам за данью. Если им отдавали ведро хорошей рыбы, то на время дядю Колю оставляли в покое.

Но однажды произошло следующее. В деревню в отпуск приехал мой отчим. Он обнаружил вопиющее противоречие между практикой жизни и идеями коллективизации и строительства социализма, в которые свято верил. И, как борец за справедливость, немедленно по возвращении в Москву написал письмо в «Крестьянскую газету», разоблачая произвол местных властей. Письмо напечатали, естественно, за его подписью. И когда тамошние власти узнали, что автор письма жил у дяди Коли, они явились — это было при мне, — чтобы с этим автором расправиться. Игорь, слава Богу, уже уехал в Москву, и дело обошлось. А так, я думаю, они нашли бы для него несудебные формы расправы.

Что касается отношения крестьян к советской власти, я приведу одну частушку. Они любили частушки всякого рода, шуточные и не вполне, может быть, пристойные, одну я запомнил: «Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал: без порток, в одной рубахе, пятилетку выполнял». Пели, нисколько не боясь, что на них донесут, чувствовали себя независимыми, ненависть к этому строю не скрывали.

Таким образом, накапливались некоторые впечатления, исподволь готовившие меня к тому, чтобы глаза, наконец, раскрылись. И тем не менее законченно критическое, негативное отношение к нашему общественному строю установилось у мея только в 1945 году.

* * *

В моих воспоминаниях я начал с последних военных лет, поскольку, собственно, только с этого времени можно говорить обо мне как начинающем историке. Тем не менее обойти тему

войны невозможно — она наложила сильнейший и даже решающий отпечаток на нашу жизнь. Вместе с тем говорить о войне в общем плане едва ли целесообразно, и здесь я хотел бы остановиться на отдельных, разрозненных аспектах и эпизодах моей жизни в 1941–м и следующих годах.

Как я уже упоминал, война не явилась полной неожиданностью для нас. Об ее угрозе постоянно говорили, и было очень мало надежды на то, что угрозу эту удастся отвести. Но то, что принесет с собой война, представляли весьма смутно, а во многом — в частности, на официальном уровне — даже превратно. Постоянно звучал мотив самоуверенности и шапкозакидательства. Твердили о том, что враг (который ближе никак не идентифицировался) не сумеет захватить ни пяди нашей земли, что мы будем бить его на его собственной территории, и, разумеется, едва ли возникало сомнение в том, что война будет короткой и победоносной. Из неудач и тяжелейших потерь советско — финской войны 1939–1940 годов явно не были извлечены должные уроки; во всяком случае, о них ничего не было сказано открыто.

Но хотя войну ждали, начало ее явилось полной неожиданностью. Я помню то состояние растерянности, какое мы испытали утром 22 июня 1941 года, когда Молотов известил нас по радио о том, что ночью гитлеровские войска вторглись на нашу территорию. Заключительные слова его речи — «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — не могли скрыть от сознания того, что до благополучного исхода войны путь долгий и кровавый. В то утро ко мне пришел мой школьный друг Давид Рудой, или, как мы его называли, Дусик, и молча, растерянные и подавленные, мы отправились бродить по улицам. Наш путь пролегал через Леонтьевский переулок, и когда мы проходили мимо немецкого посольства, расположенного в одном из особняков, мы явились невольными свидетелями следующей странной сцены, которую я не берусь объяснить. Около большой застекленной двери в посольство, как обычно, стоял постовой милиционер, а близ тротуара была припаркована легковая машина. На улице никого народу не было, но перед дверью посольства суетливо бегал туда — сюда некий человек, и вдруг мы увидели, как он, подбежав к двери, ударил по стеклу и разбил его. Тотчас же из автомобиля вышли один или два человека и вместе с милиционером схватили за руки этого странного типа, усадили его в автомобиль и уехали. Не берусь объяснять эту сцену.

К лету 1941 года мы окончили девятый класс средней школы. Я был членом школьного комитета комсомола, а так как другие

члены комитета были на год старше и таким образом покинули школу, то на меня были возложены текущие обязанности. Уже 23 июня Киевский районный комитет комсомола передал мне распоряжение собрать перешедших в десятый класс юношей и известить их, что в ближайшие дни мы должны будем отправиться на строительство оборонительных сооружений в прифронтовую полосу. Далеко не всех удалось оповестить об этом, но тем не менее небольшую группу мы образовали и, если не ошибаюсь, 1 июля собрались во дворе райкома комсомола, куда уже стекались группы молодежи из других школ и учреждений. В целом колонна была весьма внушительная, и мы двинулись к Киевскому вокзалу, погрузились в специальный эшелон и отправились к месту назначения, которое более точно не было нам определено. Нас выгрузили на каком-то полустанке, и далее нам еще предстояло покрыть пешком немалое расстояние, прежде чем мы прибыли в чистое поле, на котором нам было приказано рыть противотанковые рвы. Нас снабдили большими лопатами и указали размеры рвов, которые надлежало выкопать. Рвы эти должны были быть широкими и довольно глубокими, но, забегая вперед, скажу, что, как впоследствии стало известно, когда немецкие танки достигли этой оборонительной полосы, они с ходу проскочили выкопанные рвы, оказавшиеся, таким образом, совершенно неэффективными.

Мы работали с раннего утра до темна, и с непривычки длительное махание тяжелой лопатой — совком для городских мальчиков оказалось делом в высшей степени утомительным. К тому же жить вблизи этих рвов было — во всяком случае, с точки зрения нашего начальства, — небезопасно, ибо бои явно происходили уже неподалеку, и поэтому после завершения дневных трудов нам приходилось плестись довольно далеко в сторону в какие-то ночные укрытия. Зато кормили нас хорошо, на каждую группу — а в нее входило от пяти до десяти человек — в полдень привозили большое ведро, наполненное кашей с мясом, так что мы, опустошив эту внушительную посудину, были в состоянии лишь отползти от нее.

Поначалу настроение у нас было бодрое, погода была прекрасная, но вскоре обстановка усложнилась: над нами стали ежедневно по нескольку раз появляться немецкие самолеты. Они летали очень близко к земле и время от времени обстреливали из пулеметов нашу цепь работяг, растянувшуюся на несколько километров, ибо в этот строительный отряд входили не только прибывшие из Москвы ребята, но и молодежь из ближайших деревень, и однажды мы узнали о том, что невдалеке от нас немецким летчиком была застрелена одна из деревенских

девушек, тоже присланных на эти работы. Вскоре мы стали свидетелями короткого воздушного боя между немецким и советским летчиками, завершившегося падением и взрывом нашего самолета. Все это вело к тому, что поначалу легкомысленное, мальчишеское отношение ко всему происходящему стало изменяться, тем более что никаких вестей о ходе военных действий до нас не доходило, если не считать постепенно усиливавшегося гула артиллерийской канонады.

Когда над нашими головами появлялся немецкий самолет и мы слышали стук его пулемета, большинство землекопов бросались врассыпную прочь из вырытого рва в надежде найти укрытие в близлежащих кустах. Так поначалу поступал и я, но затем мне в голову пришла мысль, что движущаяся цель покажется немцу более привлекательной и яснее различимой, нежели неподвижная. Более того, чувствовать себя зайцем, убегающим от охотника, казалось мне унизительным, и я перестал выпрыгивать изо рва и предпочитал оставаться на месте. В один «прекрасный» день, когда над нашими головами вновь замаячил фашистский самолет, послышалась длинная пулеметная очередь, и я получил сильный удар в голову, на какое-то время лишивший меня чувств. То не было прямое ранение, и никакая пуля меня не задела. По — видимому, камень или кусок накрепко ссохшейся глины под ударом угодившей в него пули отскочил мне в затылок. Я не помню, что произошло вслед за этим и каким образом я оказался в полевом лазарете, но война на этом для меня закончилась: я получил контузию и, пролежав несколько дней в этом импровизированном госпитале, был отправлен домой.

Тут я узнал, что Игорь — мой отчим — уже на фронте, но никаких вестей от него или о нем не было. Насколько мама могла выяснить, он состоял при штабе воинской части, сражавшейся близ Ельни, где развернулись в июле особенно тяжкие и напряженные бои. Впоследствии маме передали из Наркомата обороны, что Игорь вместе со своей воинской частью попал в окружение. У мамы, которая задолго до начала войны страдала от сильнейшей гипертонии, теперь давление резко повысилось, и она надолго вышла из строя. Поэтому я считал невозможным огорчать ее еще рассказом о собственной контузии. Но остаток лета и осень 1941 года я чувствовал себя дурак дураком, меня не оставляли головные боли и головокружения, и я был не в состоянии сосредоточиться на чем бы то ни было.

Поскольку комиссия военкомата меня забраковала, нужно было возвращаться в школу, в десятый класс. Но в начале учебного года я все еще ощущал себя неспособным приступить к

занятиям. Между тем обстановка на фронте делалась все более мрачной, немецкие армии рвались к Москве. В дни октября, когда угроза захвата столицы фашистами сделалась в высшей степени реальной, из Москвы была эвакуирована вглубь страны масса учреждений. Мать работала экономистом в Народном Комиссариате черной металлургии, и было назначено число, когда сотрудники Наркомчермета вместе с членами их семей должны были погрузиться в эшелон, направлявшийся в Свердловск. Так в конце октября 1941 года мы оказались на Урале. Зимой мне стало немножко легче, и я не только смог учиться в десятом классе, но и вызвался работать агитатором в воинском эвакуационном госпитале. Два — три раза в неделю я делал подробные политинформации в палатах перед ранеными. Для меня это был немаловажный опыт, ведь нужно было связно обрисовать и военную, и международную ситуацию перед людьми с разным образованием и кругозором. Слушали меня с интересом, и комиссар госпиталя даже направил меня на городскую конференцию военных политработников, на которой обсуждались вопросы пропаганды в военных госпиталях. На этой конференции произошел такой эпизод. Мой комиссар заставил меня выступить перед присутствующими, и я, не очень ясно представляя себе настроения слушателей, позволил себе упомянуть о тех трудностях, с какими сталкивается политинформатор, когда он обращается к людям с разным уровнем культуры и образования. Тут я заслышал некий ропот в аудитории. В перерыве меня окружили несколько возбужденных, чтобы не сказать разгневанных, политработников, резко упрекавших меня за то, что я поставил под сомнение высокий уровень культуры советских воинов. «Советская армия — самая культурная армия в мире», — внушали они мне.

Весной 1942 года я окончил среднюю школу. Комиссия военкомата признала меня негодным к строевой службе, и я был мобилизован на военный завод в качестве работника отдела технического контроля. Так я очутился в рабочей среде на танковом заводе, где и проработал до лета 1943 года, когда мать вместе с Наркомчерметом возвратилась в Москву. Я получил разрешение покинуть свой завод в Свердловске при условии, что по прибытии в Москву немедленно явлюсь на такой же танковый завод, так что моя работа контролера ОТК продолжилась еще на год. Одновременно я учился на заочном отделении исторического факультета МГУ. Единственная привилегия, которой я мог пользоваться, заключалась в том, что студенту разрешалось работать в течение восьми часов в день, тогда как все остальные рабочие имели 11–часовой рабочий день.

Жить было трудно — и в силу не оставлявшего меня перманентного чувства голода, и вследствие того, что приходилось дорожить каждой минутой для своих учебных занятий. На общение с друзьями времени почти не оставалось. Мое подавленное состояние объяснялось как болезнью матери — болезнью, вскоре сделавшейся неизлечимой и крайне для нее мучительной, — так и сознанием того, что Игорь, судя по его длительному молчанию, погиб. Погиб и мой друг Дусик. Он был мобилизован армию после окончания школы, и мы с ним переписывались, но вскоре я перестал получать от него ответы на мои письма. Я обратился в его воинскую часть и получил извещение, что рядовой Давид Рудой «погиб в результате неосторожного обращения с оружием». Бедный Дусик! Мальчик с удивительно нежной душой, тонкий и талантливый музыкант, добрый и верный друг. Столь родственную душу среди моих друзей я более никогда не встречал.

В другом месте мною уже описаны события, в результате коих мне удалось в конце концов стать полноправным студентом Московского университета.

* * *

Чуть выше я заметил, что общие мои соображения относительно войны едва ли были бы здесь уместны. Но без них, по — видимому, не обойтись. Я начинал свою карьеру историка в завершающий период войны и в годы, следующие за ним. Победы на фронтах в 1944–1945 годах вселяли в нас надежды на то, что после окончания войны жизнь пойдет как-то по — другому, нежели в мрачные годы, предшествовавшие нападению. Но довольно скоро, когда отгремели салюты 9 мая 1945 года, после возвращения домой многих участников войны, эти иллюзии постепенно и, добавлю, с нарастающей быстротой стали развеиваться. Война, казалось, объединила всю массу населения в народ, отстаивавший свою страну; когда же она завершилась, это единение обнаружило свою эфемерность. Советская армия сыграла роль освободительницы многих народов Европы, но почти сразу же после победы наши войска на территории Чехословакии, Венгрии, Польши, не говоря уже о восточной части Германии, оказались не чем иным, как оккупационными войсками. Внутри СССР крымские татары и целый ряд народов Кавказа были репрессированы. Что же касается великого советского народа в целом, то на меня, и не на меня одного, произвели глубокое впечатление слова Сталина, произнесенные

летом 1945 года на торжествах, посвященных победе. Он сказал, что любой другой народ, видя многочисленные неудачи на фронтах затянувшейся войны и нашу изначальную неподготовленность к ней, прогнал бы такое правительство как неспособное справиться с создавшимся положением. Советский народ, продолжал он, не выступил против своего правительства, и он, Сталин, поднимает тост за этот народ. Конечно, можно по — разному расшифровывать эти слова, но я уже и тогда, впервые услышав про этот тост, не мог отделаться от мысли: наш властитель смотрел на своих подданных с глубочайшим пренебрежением, презирая их за неспособность управиться со своими заботами, не полагаясь слепо на царя — батюшку. Ведь эта речь была произнесена почти одновременно с политическими событиями, происшедшими в Великобритании. Уинстон Черчилль был бесспорным руководителем нации, который с успехом довел ее до победы. И что же? Еще не завершилась Потсдамская конференция лидеров антигитлеровской коалиции, как английские граждане проголосовали против Черчилля, избрав лидера лейбористов Эттли. Политическая активность английских избирателей разительно контрастировала с пассивностью нашего народа.

Теперь было совершенно очевидно, что победивший Гитлера советский народ проиграл войну — проиграл в том смысле, что был не в состоянии воспользоваться военной победой для демократического преобразования собственной родины.

На протяжении всей войны и даже до начала ее Сталин манипулировал общественным сознанием таким образом, что идеи марксизма и пролетарского интернационализма, остававшиеся в официальных программах, все в большей мере подменялись идеями националистическими, идеями патриотической мифологии. Уже в самом начале войны Сталин счел нужным ссылаться не на одного лишь Ленина, но на Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, заигрывать с церковью. Он понимал, что для достижения победы нужно было мобилизовать историю, приноровить ее к насущным потребностям момента. Не в последнюю очередь он спекулировал на чувствах шовинизма и ксенофобии и уже в конце войны все более активно на них играл. Было бы ошибочно, на мой взгляд, все списывать на Сталина. Приходится признать, что его национальная политика находила отклик и поддержку не только в государственном и партийном аппарате, но и у определенной части общества.

Вообще, было бы поверхностным упрощением приписывать одному Сталину создание основ тоталитарного режима, вольно

или невольно возводя эту «самую выдающуюся посредственность» (по определению Троцкого) в ранг великого вождя, который на свой манер месит безропотно подчиняющуюся ему массу подданных. Этот человек, не обладавший ни интеллигентностью, ни выдающимися познаниями и оригинальностью философского ума, выделялся из числа других руководителей созданной Лениным партии, собственно, лишь «стальным» характером и беспримерной беспринципностью. Он сумел переиграть всех своих соперников в руководстве партией и государством, одолеть их и в конце концов уничтожить. Возглавляемая им клика, имевшая глубокие корни в разных слоях населения, сумела превратить крупнейшую страну мира в «зону» и найти столько охранников и палачей, сколько считала необходимым для управления этим грандиознейшим в истории концлагерем. Но сталинцы смогли добиться столь беспримерных «успехов» только потому, что после революции, в условиях коренного разрушения традиционной российской социальной структуры — разрушения, которое само по себе уже не могло не привести к политическому бессилию и беспомощности населения страны, — они оказались во главе все расширявшейся и укреплявшей свои позиции группы люмпенов деревни и города. По законам уголовного мира банда безусловно повинуется своему пахану, но повинуется лишь постольку и до тех пор, пока этот пахан выражает потребности и интересы окружающей и подпирающей его клики. Криминализация нашей страны началась отнюдь не в течение последнего десятилетия, она была подготовлена разрухой после Февральской революции, беспрецедентно усилена Октябрьской революцией 1917 года и победила при Сталине, когда все эти преступники прикрылись мундирами, воинскими и партийными званиями и выстроились в возглавляемую паханом иерархию.

Таким образом, Сталин одновременно был и вождем, культ которого доходил до обожествления, и пленником той криминальной банды, которая создавалась при активном его содействии, но вместе с тем имела глубокие корни и собственные правила «игры», посягнуть на кои не решился бы и сам «великий вождь и учитель».

Наверное, мне нужно принести извинения за эти «философские» ламентации, но дело в том, что подобные мысли зарождались в моем незрелом уме и в умах кое — кого из моих друзей уже вскоре после завершения войны, и поэтому здесь нельзя их не отметить. То были немаловажные точки роста нашей дальнейшей духовной жизни.

Нас не мог не поразить парадокс: страны побежденные — Германия, Япония и Италия — после насильственного

искоренения фашистских, нацистских и милитаристских режимов были поставлены перед необходимостью пойти по пути демократизации. Радикальное обновление экономики, разрушенной в годы войны, материальная помощь и политическое вмешательство США и других стран Запада создали условия, в которых в той или иной мере возобладали демократические тенденции. Страна же, которая принесла наибольшие жертвы в годы Второй мировой войны и заплатила за победу беспримерную цену, оказалась побежденной собственным режимом.

Таков был общий контекст, в котором мы воспринимали действительность, начиная со второй половины 40–х годов. Естественно, многое оставалось неясным и непонятным, отечественной пропаганде мы уже не доверяли и с трудом компенсировали отсутствие информации прослушиванием западных радиостанций. Но, во — первых, самый факт глушения ВВС и других «голосов» заставлял подозревать существование такой информации о внешнем мире, от которой нас заботливо охраняли власти, а во — вторых, эти свободные «голоса» можно было слушать на иностранных языках. Глаза на происходившее открывались медленно, и от груза той идеологии, которой нас «окормляли» с младых ногтей, мы избавлялись не вдруг и не сразу.

Едва ли не решающую роль в этом прозрении сыграл мой брак.

Как уже было упомянуто, мы поженились летом 1945 года, еще будучи студентами. Моя жена давно уже общалась с людьми, принадлежавшими к потомственной интеллигенции, у которых не было никаких иллюзий относительно происходящего в стране. Кое-кто из них в свое время принимал активное участие в социал — демократическом движении, а отец ближайшей ее школьной подруги был видным меньшевиком, единственным оставшимся в живых из тех, кто проходил по процессу меньшевиков. От него многое можно было узнать (он рассказывал, например, что в свое время сидел в одной камере с И. В. Джугашвили и испытал на себе особенности его характера).

Одним из наиболее сильных впечатлений юности моей будущей жены была судьба брата ее отца. Вступив в партию еще до революции, он сделал партийную и дипломатическую карьеру, был послом, торгпредом в ряде стран Запада, в Латинской Америке, в Турции. Когда его отозвали в Москву, якобы для нового назначения, в их доме собирались родственники и друзья и советовали ему уехать. Иначе, говорили ему, тебя постигнет судьба тех, кто был арестован и приговорен. Лучше всего поезжай

в Испанию, где идет гражданская война. Он колебался, не уехал и был-таки арестован, погиб, репрессии распространились и на его семью.

Рассказы жены привели к тому, что пелена окончательно спала с моих глаз. Проблемы гражданского самосознания стали все больше волновать меня как историка. Невозможно становилось уклоняться от поисков ответа на вопрос, каким образом Октябрьская революция, вдохновляемая передовыми идеями марксизма, привела к термидору, к расправе над деятелями партии, к тому, что вместо социализма был построен огромный концентрационный лагерь, в котором погибали миллионы людей. В 1944 году, когда передо мной впервые встал вопрос о специализации, я склонялся к мысли заняться историей ВКП(б) в период революции и последующих лет. Я старался раздобыть протоколы Коминтерна, стенографические отчеты съездов партии и т. д., намеревался серьезно изучать их. Но меня вовремя осенила мысль, что вести двойную жизнь, плести на кафедре истории партии ту ерунду, которая там требуется, вместе с тем пытаясь подпольно докопаться до истины, было бы выше моих сил.

В конце 40–х и в 50–е годы у нас был довольно широкий круг друзей, мы регулярно собирались, обсуждали самые разные события, слушали, несмотря на заглушки, западные «голоса». Помню, однажды утром, выйдя на улицу, увидел, что около газетного стенда стоит кучка людей. Читают сообщение: арестован враг народа Берия. Одна женщина говорит: «Да, с нашим правительством не соскучишься». Действительно, постоянно случалось что-то чрезвычайное: то гибель Михоэлса и арест членов Антифашистского еврейского комитета, то «дело врачей», то речь Жданова против Зощенко и Ахматовой, то «ленинградское дело»… Для того чтобы оценить происходившее, материала было более чем достаточно.

Должен, однако, сказать, что размежевание по этим вопросам в среде интеллигенции было довольно значительным. Одни понимали что к чему и не очень скрывали свои взгляды, другие, движимые страхом и стремлением сделать карьеру, наоборот, подпевали начальству, повторяли все что нужно.

Но как в те времена мы относились к официальной идеологии? Когда мы были студентами и аспирантами, марксизм сохранял для нас свою значимость. Я и сейчас придерживаюсь мнения, что марксизм — это очень серьезная вещь, если говорить о целостном подходе Маркса к пониманию общества как системы, к указанию им на целый ряд движущих сил исторического развития, но никак не о его философии истории, которая

потерпела полное фиаско.

Неотъемлемой стороной научного труда историка являлось тогда обильное цитирование «классиков», высказывания которых воспринимались как истина в последней инстанции. Но в нашей стране не марксизм исповедовался. Значительная часть гуманитариев и не читали никогда Маркса. Читали пособия, выдирки из Маркса, не знали подлинного Маркса, сводили все к базису и надстройке, представлению о колесе истории, которое победоносно и неуклонно движется в определенном направлении и т. п. Но сложности, хитросплетения Марксовой мысли — это же был выдающийся ум — были им недоступны. У нас знали прежде всего те интерпретации Маркса, упрощенные, искаженные, которые восходили к Ленину, а он весьма «творчески» отнесся к марксизму. Взять хотя бы его учение о том, что пролетарская революция победит не в наиболее развитых странах мира (США, Англии, Германии, Франции), а разорвет цепь капитализма в том ее звене, которое окажется наименее прочным, — в такой стране, как Россия, или, может быть, Китай (в Монголии хорошо, наверное, рвать цепь капитализма за отсутствием такового). Конечно, эта идея ничего общего с марксизмом не имела, это было перевертывание марксизма с ног на голову. «Государство и революция» Ленина, в которой содержится крайняя вульгаризация толкования исторического процесса, выдавалась за перл марксистской мысли. «Учение» Сталина о революции привело к тому, что историки с упорством, достойным лучшего применения, искали мифическую революцию рабов.

А каково было отношение к марксизму моих учителей? Косминский, занимаясь аграрными сюжетами, для того, чтобы расставить необходимые «громоотводы», во вступительной части своей книги сделал неизбежные реверансы Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину, а дальше к этому не возвращался. Вся марксистская терминология, когда это было нужно, им приводилась в действие, но вряд ли он был марксистом в полном смысле слова. Он был скорее допшианцем и еще больше — последователем великого английского историка Мэтланда. Мэтланд, скептик, противившийся поспешным глобальным обобщениям, утверждавший, что мэнор был многоликим, текучим образованием и поэтому нужно говорить не о мэноре как таковом, а о бесчисленном многообразии мэноров, которые могли быть огромными, а могли быть мельчайшими, был Косминскому ближе всего по строю мысли, по духу.

Что же касается Неусыхина, то он вначале был последователем Маркса, испытавшим влияние взглядов Макса Вебера, Риккерта и Допша, и свою первую диссертацию писал в

20–х годах под руководством Петрушевского. В своей книге «Общественный строй древних германцев» он показывает, что движущей силой в древнегерманском обществе были дружины, окружавшие королей, что у германцев не было никаких следов общинной собственности, и теория Markgenossenschaften, выдвинутая немецкой историографией еще в первой половине XIX века и поддержанная Марксом и Энгельсом, ни на чем не основана. Но то, что произошло с Неусыхиным дальше, остается для меня психологической загадкой.

«История историка» (1973 год):

«Но по причинам, над поиском которых я долго бился и которые так и остались мне неясными, ему силою вещей […] пришлось усвоить идеи, первоначально (в пору ученья у Д. М. Петрушевского и писания лучшей, по моему мнению, своей книги, первой — “Общественный строй древних германцев”, т. е. во второй половине 20–х годов) чуждые его социологически и философски ориентированному уму. Двадцатые годы прошли, условно говоря, “под знаком Макса Вебера”. После длительного молчания, в 40–е и последующие годы он писал “под знаком Энгельса” — Энгельса “франкского периода”. Подходы к проблематике — несопоставимые! Как произошла эта эволюция? Каким образом вообще А. И. порвал с тем, что было им сделано на раннем этапе? Ученому свойственно развитие, но где же преемственность в нем да еще у столь цельной личности, какой был Неусыхин? Трудно понять».

Постоянно ссылаясь на свои прежние работы, он тем не менее ни разу не упомянул «Общественный строй древних германцев». Я был свидетелем того, как пришедший к нему на консультацию заочник, совершенно не знавший Неусыхина, спросил профессора, почему он никогда не упоминает эту свою книгу. Неусыхин ушел от ответа. Он никогда от нее не отмежевывался, но игнорировал эту книгу, возможно, хотел, чтобы она изгладилась из памяти. Концепция его докторской диссертации, защищенной в 1946 году, и монографии, вышедшей в 1956 году, коренным образом отличается от того, что он утверждал в 20–е годы. В книге 1956 года он развивает совершенно противоположные прежним взгляды — общинную теорию, подновленную положениями, основанными на идеях немецкой исторической школы права.

Различия между Е. А. Косминским и А. И. Неусыхиным как историками с большой отчетливостью выявились на защите докторской диссертации Александра Иосифовича.

«История историка» (1973 год):

«Эпизод, о котором пойдет речь, известен мне из рассказов

Александра Иосифовича. Когда в 1946 (если не ошибаюсь) году он закончил докторскую диссертацию, одним из оппонентов (наряду с А. Д. Удальцовым и С. Д. Сказкиным) у него был Е. А. Косминский. Он очень хвалил работу ("Свобода и собственность у варваров по leges barbarorum"). Но лично Александру Иосифовичу он, как тот с большим негодованием (это самое важное!) передавал, сказал: "Вот вы, А. И., прослеживаете эволюцию свободы и собственности у варваров в такой последовательности: сперва у франков, затем саксов, затем у лангобардов, за ними — у алеманнов, баваров (сейчас, без книг, я не поручусь за точность последовательности, да и не в этом суть). А можно было бы и иначе: сперва у саксов, потом у франков или лангобардов и т. п." АЊеКсатіра Иосифовича возмущала такая трактовка его схемы: все, выходит у Косминского, релятивно, можно строить концепцию произвольно! При мне А. И. повторял этот рассказ неоднократно. Меня он поразил. То, что казалось в диссертации (а потом и в книге 1956 года) столь стройным, красивым, убедительным, обладающим принудительной силой доказанности (автор уверенно вел читателя от наиболее архаической стадии — коллективной собственности большой семьи и рода — к "полному аллоду" — форме, более близкой к частной земельной собственности, и выстраивал единый эволюционный ряд, каждое звено которого было представлено той или иной варварской правдой), — под влиянием осторожного скепсиса Косминского в моих глазах стало рушиться. Подтекстом этого замечания Е. А. Косминского (как я его понял) было отрицание объективности строго эволюционистского построения, подчиняющего себе разнородный материал и даже исключающего те данные, которые этой схеме противоречили».

Когда в 1970 году, выступая на вечере, посвященном памяти только что скончавшегося А. И. Неусыхина, я сослался на этот его рассказ, то достиг неожиданного для себя результата: на меня разгневались как сторонники Неусыхина, так и эпигоны Косминского.

«История историка» (1973 год):

«В докладе были бегло сопоставлены подходы А. И. Неусыхина и Е. А. Косминского — тот не находил нужным создать столь же строгую конструкцию и подчинять ей материал, он предпочитал, чтобы источник, умело им препарированный, как бы "сам за себя говорил" (см. текст доклада, в котором, однако, моя большая склонность к манере Е. А. была по необходимости скрыта). Кончилось заседание, в коридоре ко мне подходит чуть ли не плачущая А. А. Сванидзе — ученица и подруга Е. В. Гутновой и с рыданьем в голосе (эта дама вообще имеет

слабость к декламации) произносит: “Всегда вы что-нибудь брякнете, А. Я.! Как вы обидели Евгения Алексеевича!” Я: “Да что ж я такого сказал, Ада Анатольевна?” Она: “Да то, что А. И. Неусыхин думал, а Е. А. Косминский не думал…”».

По сути же дела в разногласиях двух ученых вскрылись немаловажные различия в методологии наших учителей. То, что Неусыхин в зрелые и поздние годы своей жизни безоговорочно следовал тезисам Энгельса, по моему убеждению, к добру не вело. Но, разумеется, подобные расхождения в условиях господства официального марксизма — ленинизма оставались как бы в скрытом виде и обсуждать их с должной глубиной и откровенностью было совершенно невозможно.

Проблема, которую я сейчас затронул, была не только общеметодологической, но и конкретно — исторической. В последние годы жизни Неусыхин неоднократно возвращался к обоснованию идеи о постепенном переходе германцев от родовой общины к соседской и, соответственно, от коллективной собственности на землю к собственности частной. В законченном виде эта точка зрения нашла свое выражение в главе, написанной А. И. Неусыхиным для первого тома «Истории крестьянства в Европе». Будучи членом редколлегии этого издания, я оказался перед трудной дилеммой. Автора главы уже не было среди нас, и потому отвергнуть ее было невозможно. С другой стороны, к 70–м годам наукой был накоплен огромный материал, доказывающий безосновательность общинной теории и представления о древних германцах как о номадах. Огромные успехи археологии и истории древних поселений не оставляют никакого сомнения в том, что на протяжении всего периода от середины I тысячелетия до н. э. и вплоть до великих переселений народов (сер. I тысячелетия н. э.) германцы были оседлыми земледельцами и скотоводами, жили по отдельным, обособленным хуторам, из поколения в поколение возделывая все те же пахотные участки. Следы «древних полей» обнаружены на огромной территории, включающей значительные области Германии, Ютландию, Скандинавский полуостров и Британские острова. Странным образом ни А. И. Неусыхин, ни его ученики не обращали никакого внимания на эти новые открытия.

Я счел необходимым написать альтернативную главу для «Истории крестьянства», в которой нашли отражение новые данные о германцах. Главы А. И. Неусыхина и моя соседствуют в первом томе этого коллективного труда, и читателю остается установить, какая из точек зрения, изложенных в этих главах, более убедительна.

Затронутый сейчас вопрос о социальном и аграрном строе германцев принадлежит отнюдь не к частным проблемам

медиевистики. Ибо хорошо известно, что, обсуждая проблему общественно — экономических формаций, Маркс и Энгельс использовали, в частности, Markgenossenschaftstheorie для обоснований идеи общинно — родового строя. Эта теория давно уже себя изжила, вступив в противоречие с новыми открытиями. Однако откройте учебник по истории Средних веков для исторических факультетов университетов, и вы найдете эту теорию в первозданном виде…

IV. Новые искания

Начало «оттепели». — Изоляция советских историков. — Стукачи. — Цензура и самоцензура. — Разрисовка «контурных карт». — «Новое прочтение Маркса» или разработка новых принципов исторического исследования? — Методологические опыты: статьи по теоретическим вопросам истории. — Знакомство с трудами Макса Вебера. — «Коперниканский переворот» в историческом познании. — Что такое интуиция историка?

— 60–е годы, о которых пойдет сегодня речь, — это время которое Эренбург довольно метко назвал «оттепелью». Действительно, говоря образно, после смерти Сталина лед подтаял и солнышко засветило, что, впрочем, не значило, что грачи прилетели навсегда. И в моей жизни это был период важный, хотя бы потому, что тридцать- тридцать пять лет — это возраст, располагающий к тому, чтобы по- новому и всерьез взяться за ум, определить свои позиции, наверстать упущенное. А наверстывать предстояло очень многое.

По причинам, вам очевидным, контакты отечественной науки, в том числе исторической, в частности медиевистики, с мировой наукой были прерваны на многие десятилетия, что привело у нас к отсутствию и интереса к новейшей западной исторической литературе, и возможности ориентироваться в ней и читать ее. Если же она и имелась в наших библиотеках, то даже труды по истории Средних веков, казалось бы, бесконечно далекие от политических, актуальных проблем современности и не содержащие в себе ничего опасного для господствующей идеологии, тем не менее могли оказаться «арестованными» в «спецхране» — так назывались отделы специального хранения больших библиотек. Конечно, туда можно было получить доступ, предъявив отношение с места работы, но ограничения имели место.

Почти отсутствовали и личные контакты с зарубежными коллегами. Иностранные ученые появлялись у нас очень редко, а если и появлялись, то свободное общение с ними было затруднено: над нами высилась тень представителя компетентных

органов, без которого это общение было невозможно.

Мы находились под неким увеличительным стеклом, но как-то приспосабливались, и когда хотелось встретиться с иностранными коллегами, отыскивали свои способы. Если я приглашал зарубежного историка к себе в гости, — а делал я это довольно часто — то, чтобы не загружать лишней информацией людей, которым надлежало подслушивать, уносил телефон в другую комнату, или же в вертушку, где набираются цифры, вставлял карандаш, так, чтобы аппарат отключился. Приходилось осторожничать и хитрить, что, естественно, несколько отравляло существование, но все же контакты, носившие неподведомственный, неподнадзорный характер, происходили. Они были не очень интенсивными, и в целом, если не говорить об отдельных историках, научного общения в нормальном понимании этого слова не происходило.

На международные научные конференции выезжали только немногие представители нашего гуманитарного знания, отобранные по особым критериям, которые, как можно легко догадаться, не всегда совпадали с критериями научной значимости. Да и сами посланцы советской исторической науки чувствовали себя на Западе далеко не всегда уютно. Существовал постоянный надзор, и не вызывает никакого сомнения, что в каждой делегации советских ученых любой специальности, которая куда-то выезжала, конечно, присутствовали не только «старший», который нес личную ответственность за идеологически выдержанное и бдительное поведение каждого члена делегации, но также и «глаза и уши государя», приводившиеся в действие, как только наш ученый вступал в приватные разговоры с иностранцами.

М. А. Барг рассказывал, как он впервые в жизни получил разрешение поехать на международную конференцию по экономической истории (или даже его обязали принять в ней участие), кажется, в Женеве. Он приехал, к нему подошел один из членов советской делегации, совершенно незнакомый ему молодой человек, и откровенно сказал: «Михаил Абрамович, я ваш куратор. Скажите, пожалуйста, когда будет ваш доклад?» И этот куратор побывал на заседании, а потом в перерыве спросил: «М. А., а, собственно, о чем вы рассказывали?» Он только надзирал и, по — видимому, убедился в том, что излишних рукопожатий или объятий у Барга с иностранными коллегами не наблюдается. Ну, а о существе дела позаботиться он не мог по вполне понятным «техническим» причинам. Несколько анекдотический случай, конечно, но наша жизнь была соткана из анекдотов, далеко не всегда более приличных, нежели этот.

В каждой комнате, где работали несколько сотрудников, в каждой микрогруппе кто-то имел тайную обязанность докладывать в «первый отдел» о настроениях и разговорах членов коллектива. Мы знали, что в каждом подразделении есть стукач, но кто именно — это не всегда было ясно, и часто мы не сдерживались и говорили вещи крамольные или псевдокрамольные.

Полагаю, что было бы упрощением воображать, будто решения о заграничных научных командировках во всех случаях принимались органами госбезопасности и ведущими Parteigenossen. Однажды пришло приглашение на международную конференцию по исландским сагам, которая должна была состояться в Эдинбурге. Приглашали М. И. Стеблин — Каменского и меня, но хотя Михаил Иванович, в отличие от меня, был «выездным», мы оба не поехали. Вместо нас в Эдинбург отправились директор Института языкознания Ярцева, другая дама — секретарь партбюро института — и Десницкая, директор ленинградского отделения института. По возвращении одна из этих «трех граций» пожаловалась М. И.: «Устроители конференции были на редкость нелюбезны». Объяснение: «Незваный гость хуже татарина…»

Запрет и надзор были рутиной нашей жизни, в том числе и академической.

Вот воспоминание, относящееся, правда, к более позднему времени — 70–м или даже началу 80–х годов. Ученый секретарь по международным делам Института всеобщей истории, Елена Ильинична Агаянц, весьма колоритная дама почтенного возраста, любила вести со мной приватные разговоры. Например, она возмущалась: «Арон Яковлевич, что же это такое? В паспорте пишется национальность. Мы же интернационалисты! Вы — такой ученый, и вас не пускают за границу!» Я помалкивал, пребывая в затруднении. Что это, крик души, или, может быть, предполагалось, что мои ответы будут записаны где-то там, в ящике стола? Нельзя сказать, что я боялся, но больше слушал и отмалчивался. Как-то раз она говорит: «Вы знаете, я старая разведчица. Я вам сейчас покажу кое-что». Вынимает фотографию военного времени. Стоит группа офицеров — югославских и советских. В центре круга отплясывает парочка — маршал Тито и эта самая Елена Ильинична, тоже в военной форме. Она продолжает: «И знаете, что *они*, — это она о начальстве, — что *они* делают? Они хотят, чтобы я установила наблюдение за нашими сотрудниками! Но это же не по моему ведомству! У меня здесь международные отношения, а есть ведь отдел кадров, который должен следить за всем внутренним распорядком».

Но это все — поверхностный слой нашей академической повседневности. Главное же то, что мысль историков находилась в состоянии застоя. Когда современный читатель, не только молодого, но и старшего поколения, обращается (если обращается) к изучению работ советских историков, опубликованных в 30–50–е и последующие годы, нередко его берет оторопь: насколько далеко мы ушли от того уровня, склада мысли, который был воплощен в этих работах, насколько они пронизаны догматизмом и как узок был кругозор историков, даже весьма квалифицированных специалистов, знатоков своего дела!

Здесь я хочу обратить внимание на два весьма разных, но связанных между собой обстоятельства, в значительной степени определявших состояние советской исторической науки.

Первое. В условиях идеологического контроля наиболее образованные и талантливые историки предпочитали уйти, так сказать, во внутреннюю эмиграцию. Характерна была узкая специализация, привязанность к привычной теме, может быть, и существенной, занятия источниковедением, разработка сугубо конкретных сюжетов без каких-либо широких обобщений, потому что там, где начинаются обобщения, вы попадаете в сферу господства идеологии.

Второе. Все это было теснейшим образом связано с тем, что в нашей стране существовала цензура. Эта цензура проверяла всю печатную продукцию — от газет и научных изданий до художественной литературы и этикеток на бутылках и коробках. Но среди парадоксов советской действительности имел место и такой: цензура была повсеместной, но ее как бы не было. Автор, как правило, не мог (может быть, и были редкие исключения) встретиться с цензором. Все делали вид, будто никакой цензуры не существует. А цензурное учреждение существовало, и называлось оно Главлит — Главное управление литературы, абсолютно стерильное название. Цензор сидит в любом издательстве в закрытой комнате и внимательно штудирует все, что должно выйти в свет.

Что же он делает, если находит что-либо припахивающее, хотя бы весьма отдаленно, несоответствием официальной идеологии, что нельзя «пропустить» (я не говорю уже о военных и государственных секретах), просто какие-то выражения, формулировки, мысли, которые, с точки зрения цензора, не являются «нашими», ортодоксальными? Он вызывает к себе издательского редактора, показывает ему, что тот пропустил то-то и то-то. Редактор вызывает автора и от своего имени деликатно поучает его, что нужно сделать, чтобы все было как надо. Сплошь и рядом эта цензурная правка являлась мелкой, и

можно было пойти на компромисс, сказать что-то не так прямо, намеком, но так, что все будет понятно.

Мысль о том, что намеки поймут, была очень распространена. Вот, например, совершенно анекдотический случай. Известный логик Ю. Гастев (он потом эмигрировал и скончался за границей) в период брежневской реакции издал монографию, в предисловии к которой среди благодарностей тем коллегам, кто помог ему в работе над книгой, выразил особую признательность Чейну и Стоку. Книга вышла, и кто-то задал вопрос: а, собственно, кто такие эти господа Чейн и Стокс и какую помощь они Гастеву оказали? А эти имена были взяты из медицинского термина «дыхание Чейн — Стокса», означавшего, что идет агония, умирание; его употребили в бюллетене о состоянии здоровья Сталина, который публиковался в последние дни его жизни. Так что Гастев поблагодарил судьбу в лице Чейна и Стокса за то, что дыхание отлетело от уст тирана. К таким эвфемизмам мы прибегали неоднократно.

Как-то в 70–х годах проходила конференция, посвященная семиотическим проблемам поэтики. М. Ю. Лотман, сын Ю. М. Лотмана, выступал с докладом на тему «Поэзия Годунова — Чердынцева». Никто из участников конференции не задал вопроса об этом Годунове- Чердынцеве: когда он жил, где публиковался и т. д.? Публика была интеллигентная, и все знали, что это не кто иной, как один из героев «Дара» Набокова. Если бы было объявлено, что речь идет об отрывках из сочинения Набокова, в те годы еще остававшегося под запретом, доклад не состоялся бы. Такого рода «игры», направленные на то, чтобы как-то обойти цензуру и сказать то, что хочешь, были у нас в ходу.

Но помимо официальной (или полуофициальной, поскольку она находилась за таинственной дверью) цензуры существовала такая гораздо более зловредная, «канцерогенная» вещь, как самоцензура, и я должен сказать, что больше всех цензуре помогали сами авторы. Они знали, что можно сказать и чего говорить нельзя, о чем лучше не упоминать прямо, чтобы избежать всякого рода невзгод. Даже за своим письменным столом историк не позволял себе высказать вещи, относительно справедливости которых у него не было особых или вообще никаких сомнений. Когда он читал то, что написал, или обдумывал то, что собирался писать, он исходил не только из собственных критериев истины или ее искажения, он предусматривал реакцию и заведующего отделом, и директора института, и тех сил, которые стоят за ним, т. е. идеологического отдела ЦК, и всяких других организаций. Для того чтобы не попасться, не иметь неприятностей, он занимался — простите

меня — кастрацией собственной мысли. Автор сам проделывал ту работу, которая по законам общественного разделения труда должна была производиться цензором. Поэтому научные труды уже на стадии подготовки к изданию получались куцыми, их «зарезали» сами авторы. Я не хочу сказать, что так поступали все советские историки — они были разные, и судьбы их трудов складывались тоже по — разному, но, так или иначе, все это имело место.

Наряду с цензурой и самоцензурой имела место и такая практика: ответственный редактор или издательский редактор своею рукою вписывал в авторский текст нечто новое; при этом он обычно руководствовался все теми же общими принципами цензуры. Я столкнулся с этим произволом, бессовестно попирающим авторское право, по меньшей мере дважды. Об одном из этих эпизодов я поведаю в свое время, когда пойдет речь о переводах моих книг на иностранные языки, а о другом расскажу сейчас. Когда готовилась «Книга для чтения по истории Средних веков» под эгидой С. Д. Сказкина, мне была заказана статья о Томасе Мюнцере. Тема не моя, но то был доволь — История историка но легкий способ заработать немного денег. Статья была написана, и вскорости книга вышла. Долгое время спустя кто-то попрекнул меня тем, что в заключительных строках моего очерка напечатано примерно следующее (книги нет под рукой, и я цитирую по памяти): «Восстание крестьян было жестоко подавлено, и возобновилась самая беспощадная их эксплуатация господами. Только в условиях победы социализма и торжества колхозного строя крестьяне освободились от всяческого гнета». Бог свидетель, подобной околесицы я не сочинял. Этот текст был вписан в мою статью либо редактором книги А. Д. Эпштейном, либо самим С. Д. Сказкиным, и окончательная корректура не была мне показана. Самое интересное состоит в том, что лицо, вписавшее эти слова в чужой текст, скорее всего, не усмотрело в подобном деянии ничего аморального или противоправного.

* * *

В период «оттепели» положение стало меняться, и хотя цензура не была отменена, идеологический аппарат был как бы полупарализован. Не стало ясных установок относительно того, за что следует «тащить и не пущать», а что пропускать. Поэтому в печать просочилось гораздо больше того, что с точки зрения

отдела науки ЦК воспринималось как допустимое. Возможно, что в кабинетах, на каких-то узких совещаниях начальники и их подчиненные обсуждали эти проблемы и ворчали на тех сотрудников, по большей части отсутствовавших, которые позволяли себе такое легкомыслие. Тем не менее появилась возможность работать несколько свободнее.

Но мы уже привыкли к определенным, раз и навсегда усвоенным идеологическим и историко — философским схемам. Общие теории, общее понимание исторического процесса не нами вырабатывались, они нам были спущены с небес, сверху, идеологами и присяжными философами, а мы разрабатывали конкретные темы, которые предназначались для иллюстрации конкретных проявлений общих исторических закономерностей, продиктованных марксизмом — ленинизмом.

Историку — марксисту надлежало конкретизировать, уточнять учение о той или иной формации и, главное, иллюстрировать его конкретным материалом, который втискивался в образуемые теорией соты. При этом могли иметь место оригинальные наблюдения, мелкие открытия в области источниковедения, в интерпретации источников, но понятийная схема была историку уже предложена или, лучше сказать, навязана, и он должен был строить свои наблюдения и формировать свои выводы, руководствуясь этой схемой. Его мысль была направлена не столько на открытие нового знания, сколько на получение новых подтверждений правильности «всесильного, победоносного учения».

Иногда на этом пути возникали, однако, трудности. Приведу только один пример. В тот период возобновились продолжавшиеся и позже дискуссии о так называемом азиатском способе производства. Историки, менее всего вооруженные здесь марксистскими критериями и предоставленные самим себе, продемонстрировали свою теоретическую беспомощность. Маркс, в свою очередь, допустил большую вольность: рабовладельческая формация, феодальная, капиталистическая — уже сами названия говорят о характере собственности, о характере зависимости людей от обладателей средств производства. А термин «азиатский способ производства» ни о чем подобном не говорит и указывает только на местонахождение в Азии. Но обнаружилось, что азиатский способ производства имел место не только в Азии, но и в Латинской Америке, Африке и еще Бог знает где. Что это такое — Маркс никогда не объяснял и, по- видимому, и не собирался этим заниматься. Что делать с материалом, который не укладывается в прокрустово ложе «пятичленки», как мы говорили, — первобытно — общинный строй, рабовладельческий,

феодальный, капиталистический, социалистический, — было совершенно непонятно. Так что дискуссии об «азиатском способе производства» оказались очень малопродуктивными. Схоластичность в подходе к материалу выявилась в них с наибольшей ясностью.

Конечно, в моих словах содержится упрощение: когда историк, проанализировав материал, разворачивал его с должной полнотой, сплошь и рядом возникали некоторые отклонения от общей трактовки формации, которые всегда очень легко и добросовестно можно было списать на то, что история многообразна и общие законы пробивают себе путь сквозь толщу всякого рода отклонений. Согласно Энгельсу, все отклонения от вектора действия общего исторического закона уравновешивают друг друга, и глобальная закономерность продолжает двигаться по заранее заданному пути. Мысль, может быть, соответствующая каким-то абстрактным постулатам философии, но совершенно не вытекающая из природы самого исторического знания и из исторической действительности. Кто гарантирует, что конкретные деформации, которые вы наблюдаете, представляют собою взаимопогашаемые отклонения? А может быть, наоборот, эти отклонения приводят к тому, что вся формация оказывается перекошенной и вообще совсем не такой, какой она должна быть согласно теории?

Было привычным и достойным поощрения изучение разных форм классовой борьбы: восстаний, забастовок или — у крестьян — намеков на нее, побегов, глухого ворчания. Естественно, все формы недовольства выдавались за «классовую борьбу» (хотя понятие «социальная борьба» не исчерпывается борьбой классов), порождаемую экономическими противоречиями, угнетением крестьян, рабочих и других социальных групп.

В средней школе у нас был преподаватель истории, который объяснял это так. На одном уроке: к 1789 году положение трудящихся масс во Франции ухудшилось, что привело к Великой французской революции. Проходит несколько уроков. К 1848 году положение трудящихся масс во Франции (или в Германии, Австрии, Италии) — мы уже дружно кричали: «Ухудшилось!». Мы шалили, мы шутили, но мы усвоили определенный урок. Что вызывает движение в истории? Ухудшение положения трудящихся масс вызывает классовую борьбу и ее высшую форму — революцию.

Замечу попутно, что еще Токвиль — один из гениальных умов XIX столетия, в своей работе «Старый порядок во Франции» утверждал, что положение трудящихся масс и, в частности, крестьянства во Франции к концу XVIII века было лучше, чем в

России, Германии и некоторых других странах. Но революция произошла во Франции, и это объяснялось вовсе не тем, что здесь якобы больше шкур содрали с трудящихся, чем где бы то ни было. Огромную роль здесь сыграли идеи просветителей, широко распространявшиеся в искаженной форме в обществе. Я не собираюсь обсуждать эту идею Токвиля, но хочу указать на методологическое предположение о том, что не обострение материальных противоречий само по себе вызывает сдвиги, приводящие к классовой борьбе и революции, как это принято считать в марксистской историографии, а состояние сознания, идеология, менталитет людей, которые в одном случае вовлекаются, а в другом — не вовлекаются в классовую борьбу.

Когда в 1950 году я закончил кандидатскую диссертацию, посвященную истории английского крестьянства в Раннее Средневековье, то, следуя установленному порядку защиты диссертаций, сочинил автореферат. В нем, перечисляя изученные источники, я, в частности, упомянул ранние англосаксонские законы, устанавливавшие суровые кары за воровство. Ученый секретарь Института истории исправил мою формулировку, указав, что воровство есть одна из форм классовой борьбы. Несколькими годами позже защищал диссертацию М. М. Фрейденберг. В его работе шла речь о классовой борьбе византийских крестьян против крупных собственников. Одним из доказательств наличия такой борьбы послужило сообщение жития святого епископа, погибшего от рук разбойников. Для наглядности диссертант воспроизвел книжную миниатюру, на которой изображен церковный иерарх, побиваемый двумя оборванцами. Вспомним, наконец, и упомянутую выше монографию Б. Ф. Поршнева «Феодализм и народные массы», в коей все фсфмы крестьянского сопротивления выступают в роли решающего двигателя исторического прогресса.

Как работали историки аграрной школы, о которой мне уже приходилось говорить? Скажем, в семинаре профессора Неусыхина брали одни и те же правовые источники, записи обычного права преимущественно германских народов Раннего Средневековья, и по схеме, предложенной нашим учителем, один аспирант изучал лангобардские законы, другой — англосаксонскиё, третий — саксонские, четвертый — венгерские, пятый — испанские и т. д. Схема не навязывалась, наш учитель был человек деликатный, понимающий, что в науке диктат невозможен, но придерживался определенных, уже сложившихся выводов, и его авторитет в значительной мере определял для нас и отбор материала, и выбор темы, и интерпретацию источников.

В этой связи я вспоминаю, как в школе на уроках географии

мы работали с контурными картами. Нужно было закрасить разными цветами низменности и лесные массивы, надписать, где нужно, названия городов, то есть сделать из немой карты говорящую. Но сама карта с очертаниями материков, континентов и стран была дана заранее, и достоверность ее обсуждению не подлежала. А вот ее раскраска зависела от уровня знания ученика.

Изучая варварские правды разных народов, применяя одну и ту же исследовательскую методику, мы, грубо говоря, раскрашивали заранее выданные нам контурные карты. Конечно, неожиданно для себя мы иногда приходили к более или менее нестандартным выводам, но речь шла все-таки о движении от родовой коллективной собственности к средневековой общине, где уже существуют элементы частного хозяйства, индивидуальной собственности, а поэтому происходит отчуждение земель, втягивание бедных в зависимость от богатых и, в конечном итоге, то, что мы называли процессом феодализации. И как бы мы ни уточняли термины, механизмы, время и темпы этих процессов, у нас не возникало сомнения в том, что движение происходило именно так. Сплошь и рядом источники молчали по существенным пунктам этой контурной карты, но мы изо всех сил старались проиллюстрировать указанный процесс.

Но те, кто пытался осмыслить происходящее, не могли не почувствовать, что мы топчемся на месте. Я помню, как в семинаре Е. А. Косминского одна студентка сказала: «Евгений Алексеевич, то, чем мы занимаемся, очень скучно». Конечно, это было бестактно, и академик Косминский сказал: «Может быть, вы пойдете в другой семинар?» Но ведь она была глубоко права. Можно было, конечно, что-то сосчитать, сделать конкретные наблюдения, но было совершенно непонятно, как соотнести те знания, которые мы получаем, с жизненными реалиями, с интересом к живому человеку.

Ведь помимо участков земли, способов эксплуатации и т. д., того, что мы потом довольно грубо называли «историей навоза в Средние века», были же и люди, которые унавоживали почву, пахали землю, собирали урожай, а может быть, занимались и еще чем- то, помимо производственных процессов. Наш вопросник был стандартен и беден.

Остатки уже обветшавшего марксизма, вступившего в резкий конфликт с реалиями XX века, внедрялись в наши головы, и хотя все было вроде бы уложено по полочкам: первый признак, второй признак, три источника, три составные части марксизма… в умах все- таки царил сумбур. Все было очень стройно, но только

абсолютно не соответствовало действительности.

* * *

Смерть Сталина, XX съезд партии явились весьма существенной вехой не только в общественной жизни, но и в истории нашей науки. В конце 50–х годов приоткрылись некоторые возможности для выступлений тех, кому было что сказать. Очень многие интеллектуалы, и среди них немало историков среднего поколения — нам было тридцать — сорок лет, а иным и того меньше, — попытались использовать эти возможности, пересмотреть старые положения, застолбить новые идеи и тем самым открыть более широкий оперативный простор для нашей мысли. Мы пытались нащупать более независимые и продуктивные подходы к историческому исследованию, выводящие за пределы всеохватной догматической формационной теории.

Тогда выявились два далеко не совпадающих пути отказа от традиционных воззрений или их пересмотра. Первый из них может быть определен лозунгом, который иногда высказывался эксплицитно и вообще витал в воздухе: обратиться к подлинным Марксу, Энгельсу и Ленину, очистить их наследие от сталинских наслоений и выявить истинное богатство его содержания. «Новое прочтение Маркса» — такая формула была в ходу. Это было наиболее распространенное, как мне кажется, направление методологической мысли в период «оттепели». Заработали конференции, семинары, стали появляться соответствующие статьи. Между прочим, по — настоящему новое прочтение Маркса в некоторых случаях могло бы дать интересные результаты. Скажем, философско — экономические рукописи Маркса 1858–1859 годов, давно переведенные на русский язык, тем не менее оставались абсолютно неизвестны нашим историкам, недостаточно квалифицированным для того, чтобы понять весьма сложную логику рассуждений Маркса о формах, предшествующих капиталистическому производству.

Но и подлинный марксизм, такой, каким он был в трудах Маркса и Энгельса, вряд ли может быть безоговорочно принят сейчас. Ни учение об общественно — экономических формациях, ни вообще вся философия истории, ни теория базиса и надстройки, ни идея, согласно которой переход к новому способу производства может совершиться только в ходе победоносной пролетарской революции, ни теория постоянного обнищания пролетариата, звучавшая, может быть, правдоподобно в

середине XIX века, — все эти концепции сейчас уже не могут рассматриваться всерьез; их абсолютная несостоятельность выяснена не только теоретической мыслью, сама жизнь ее обнаружила.

Другое направление было представлено гораздо меньшим числом исследователей, которые полагали, что не следует ориентироваться на «новое прочтение» Маркса. Нужно попытаться, считали они, сформулировать свободные от давления марксистско — ленинского наследия теоретические положения, имеющие отношение и к философии, и к психологии, и прежде всего, поскольку мы говорим об истории, к исторической мысли. Следует непредвзято и более свободно, по — новому подойти к исследованию исторического процесса и выбрать иные точки отсчета. Это будет прочтение не Маркса, а Макса Вебера, Трёльча, Риккерта и многих других мыслителей, преимущественно неокантианского толка, которые произвели огромную теоретическую работу.

Вот это второе направление, предполагавшее не реабилитацию марксизма и возвращение подлинного Маркса в его первозданной чистоте и богатстве, но новое понимание исторического процесса и прежде всего способов исторического познания, разработку методологии, гносеологии, эпистемологии — представлялось наиболее перспективным и существенным. К этому направлению принадлежал и я. Следовало спешить, хотя поспешность и могла привести к не очень обоснованным высказываниям. Но у нас не было уверенности в том, что «оттепель» — всерьез и надолго, что возврат к прошлому в какой-либо форме невозможен. Не приходилось рассуждать так: еще десяток лет поучимся, а потом попытаемся сказать что-то новое. Мы подозревали, что, может быть, и даже скорее всего, такого времени нам не дано, и спешили высказаться, полагая, что если снова нахлынет волна реакции, то, что мы успеем сделать, останется: что написано пером, уже не вырубишь никаким топором.

Я не теоретик, не философ, и меня интересовали не историко- философские проблемы сами по себе, а то, что может дать развитая методологическая мысль для более углубленного понимания исторического процесса. Какие новые вопросы можно поставить перед источниками, какие новые категории источников стоит привлечь для исследований, чтобы получить иную, более объективную картину прошлого, нежели та, что была продиктована учением об общественно — экономических формациях и способах производства?

Проблемы методологии, взятые в отрыве от изучения

исторического процесса, общее, а не особенное, составляли «хлеб» философов. Их очень мало интересовала — да и сейчас за редким исключением едва ли интересует — живая, конкретная ткань исторического процесса. Они рисуют общие схемы, формулируют общие постулаты и развивают их независимо от того, чем занимаются кропатели — историки, которым почему-то нужны исторические факты, «фактография», особенное, а не общее. А меня как историка занимало прежде всего именно это особенное, поскольку ясно, что в истории, строго говоря, ничего не повторяется. Для того чтобы понять это особенное и организовать его в какие-то синтетические схемы, следовало задуматься над отправными моментами самого исследования. Это был один из импульсов, которые я получил из дискуссий, развернувшихся в конце 50–х — начале 60–х годов.

Стремясь застолбить новое пространство, я, несомненно, с излишней поспешностью опубликовал целую серию статей, в которых решился обсудить ряд кардинальных проблем. Они были нужны мне главным образом для того, чтобы расчистить плацдарм и развернуть по — новому историческое исследование. Высветились какие-то новые мысли. Естественно, это была так или иначе критика официальной идеологии, конечно, по необходимости отчасти замаскированная, выраженная в приемлемых для печати формах.

Вот я рассматриваю вопрос о соотношении понятий «общественно — экономический уклад» и «способ производства», что дает возможность поставить под сомнение самую смену способов производства. Я старался показать, что при любой докапиталистической формации мы имеем дело с принципиальной многоукладностью, и выделение какого-то одного уклада в качестве ведущего, формационного, основополагающего есть недопустимое для историка упрощение. Эта статья появилась в «Вопросах философии», и самое любопытное состояло не в том, что я позволил себе высказать такую мысль, а в том, что редакция журнала позволила мне высказаться. Вероятно, действительно произошло какое-то «завихрение в мозгах», как выразился один мой коллега, возникло некоторое идеологическое замешательство, и стало возможным напечатать многое из того, что при более строгом внимании ригористов — марксистов было бы сочтено абсолютной крамолой. В этой статье я высказал также мысль, что общественно — экономическая формация вообще не существует на грешной земле, она есть конструкт сознания историков. Я и сейчас держусь такой точки зрения. Можно с нею не соглашаться, но теперь уже никому в голову не придет увидеть в ней что-то

такое, за что «тащат в участок». Но тогда… Однако статья благополучно прошла, лишь потом спохватились и стали меня критиковать. Но уже слово было произнесено.

В другой статье я обратился к вопросу об историческом законе. Марксистская идея о том, что историей движут непреложные законы, имеющие такой же объективный характер, как и законы природы, — мысль в принципе ложная. Законы природы имеют совершенно иной гносеологический и онтологический статус, нежели законы истории, поскольку историю творят люди, даже если они, по выражению Маркса, не знают, что они творят историю. Мне кажется, что достаточно вспомнить о так называемых общих законах истории, чтобы убедиться в их банальности на уровне расхожего здравого смысла: изменение производительных сил ведет к изменению производственных отношений; люди, прежде чем сформировать какие-нибудь идеи, нуждаются в том, чтобы добыть себе хлеб насущный… Но кто доказал, что сначала надо произвести хлеб, а потом иметь идеи, и можно ли вообще посеять этот хлеб, не имея идей?

Историк изучает не действие общих исторических законов, до которых, в сущности, ему и дела нет. Историки изучают конкретные исторические закономерности, а именно реальное стечение конкретных обстоятельств, которое приводит к выработке какого- то вектора, действующего на протяжении ограниченного периода времени. Короче говоря, пафос этой статьи был направлен против учения об общих исторических законах.

«История историка» (1973 год):

«Мысли о природе закономерности, регулярности в жизни общества, о “незапрограммированности” исторического процесса; о существенности каждого исторического события, участвующего в определении линии развития, а не только детерминированного этим развитием; о “многофакторности” истории, которая выражается не в простом “суммировании” причин и линий развития, а в их структурировании, в координации разных планов истории, — все эти мысли концентрировались вокруг главной идеи — роли человека в социальном процессе. Весьма приблизительной и, как теперь особенно мне ясно, несовершенной и поверхностной попыткой поставить эти вопросы явилась моя статья об исторической закономерности, напечатанная в 1965 году в “Вопросах истории”, а затем, в несколько измененном виде, перепечатанная в сборнике “Философские проблемы исторической науки”.

Эта статья […] была переведена в странах народной

демократии и, что более неожиданно, в США. Студентка Колумбийского университета рассказывала мне, что эту статью студенты исторического факультета собирались обсуждать на одном из семинаров, и эта дискуссия не состоялась вследствие начавшихся студенческих выступлений, которые привели к временному закрытию университета. Любопытна также реакция американского публициста G. Mendel, разбирающего мои работы (как и статьи Гулыги и других советских авторов) в трех больших обзорах, вышедших в США. Оставляя в стороне его оценки тенденциозного порядка, нельзя не заметить, что для постороннего наблюдателя то, что мы тогда писали, явилось полной неожиданностью: к такому в советской науке он не привык…».

Мне представлялось также, что одним из важнейших моментов обновления должно стать преодоление господствовавшего в нашем сознании и являвшегося одним из препятствий на пути более или менее непредвзятого изучения исторического материала эволюционизма, предполагающего, что исторический процесс выражается в непрерывном поступательном прогрессе.

Я опубликовал также статью, посвященную проблемам социально — исторической психологии, подчеркивая значение в истории человеческого, субъективного фактора, который марксистской историографией во внимание почти не принимался. Анализируя работы некоторых отечественных историков и ряда зарубежных исследователей, стремился показать, что в изучении того, что мы тогда называли исторической психологией, заложены богатые возможности для понимания важных сторон исторического процесса, которые доселе игнорировались.

Мною была написана статья об особенностях истории как науки. В ней подчеркивалось, что научная деятельность в области гуманитарного, в частности, исторического знания невозможна без применения оценочных суждений, ценностных критериев, определяющихся сознанием историка, его философией, его миропониманием, не только его личным, но и миропониманием, свойственным той цивилизации, тому обществу, той группе, к которой он принадлежит и умонастроение которой не может не выражать, и что в историописании существенную роль играют те же факторы, что и в художественной литературе.

С этой статьей, написанной для сборника трудов Историко — архивного института, произошел такой казус. Редколлегия, в которой преобладали свободно мыслившие люди, открытые к тому, чтобы если не создавать, то хотя бы принимать статьи

такого рода, одобрила эту работу. Но во главе редколлегии стоял некто Надточеев, идеологически вполне ориентированный на прошлое. Он долгое время работал в цензуре, в Историко — архивном институте заведовал кафедрой истории КПСС. Читая корректуру, Надточеев натолкнулся на непонятное ему слово — «аксиология». Он не знал, что это такое, обратился к Большой Советской Энциклопедии, нашел, что аксиология — это какое-то зловредное буржуазное учение, противоречащее марксизму — ленинизму, и понял, что эту аксиологию нужно гнать, гнать, гнать. На редколлегии он заявил, что аксиологию в статье Гуревича надо искоренить. Гуревич возразил, что он ее искоренить не может, в таком случае надо всю статью искоренять. Тогда товарищ Надточеев поставил вопрос ребром: либо вы снимаете статью с этой его аксиологией, либо я снимаю свою фамилию в качестве главы редколлегии. Пока шли споры, сборник уже вышел в свет, и на титульном листе было обозначено, что он — глава редколлегии. И он заставил выдрать из уже напечатанных экземпляров титульный лист и вклеить новый, где его имя уже не фигурировало. Это было весьма пикантно: «идеологически заряженный» товарищ капитулировал и предпочел, как тогда было принято говорить, уйти в кусты. Вот такие мелкие победы иногда удавалось одержать.

«История историка» (1973 год):

«…Сходный эпизод разыгрался в связи с другой моей рукописью — об историческом факте. Эта статья тесно связана с предыдущей, как и со статьей об исторической закономерности. Здесь в мои цели не может входить разбор ее содержания — она в конце концов была опубликована, и смысл, и направленность ее легко уяснить, прочитав ее в сборнике “Источниковедение. Теоретические и методические проблемы” (Наука, 1969, вып. 1 и пока единственный). Рукопись довольно долго у меня лежала, я не раз выступал с докладом на эту тему, пока не передал ее в “Вопросы истории”. Редколлегия ее одобрила, но запротестовал, неожиданно для меня, С. Д. Сказкин, с приговором которого главный редактор журнала В. Г. Трухановский в высшей степени считался […] Обычно Сказкин начертывал на первой странице рукописи несколько слов: “Статья хорошая, нужно печатать” или столь же кратко ее браковал. В моем же случае произошло нечто непредвиденное. Старик написал развернутый отзыв на статью, размерами… с целую статью! Из его отзыва должно было явствовать, что автор статьи “пошел на поводу” американских презентистов (с коими на самом деле я подробно полемизирую), без нужды усложнил вопрос о факте, который в действительности очень прост. Что такое исторический факт? Это “данность”, писал

Сказкин. Пример: “Капитулярий о поместьях” и т. п. Прочитав этот отзыв, я в первый раз близко столкнулся с воинствующим, враждебным мне непониманием — с неспособностью понять и нежеланием разобраться. Старик явно держался за раз усвоенные азбучные “истины” и боялся с ними расстаться».

Это было очень странно, поскольку С. Д. был человеком умным и широко образованным. Скорее можно было предположить его толерантность по отношению к точке зрения другого, нежели подобную нетерпимость. Трухановский предложил мне «соломоново решение»: опубликовать рядом в одном номере журнала и мою статью, и отклик на нее Сказкина. Я ответил ему, что с охотой пошел бы на это, если б не одно обстоятельство: неясно, кто из нас, Сказкин или я, окажется в роли позорного столба, к которому будет привязан другой. На этом дело и кончилось, моя статья была опубликована в сборнике «Источниковедение» — опять-таки в паре с другой статьей, но на сей раз то была статья В. С. Библера, и это соседство никого из нас не поставило в ложное положение (см. об этом ниже).

Я напечатал тогда довольно много статей теоретического характера и даже намеревался собрать их, переработать и опубликовать в виде книги — и не потому, что я принадлежу к числу людей, которые любят печатать книги (в то время опыта публикации книг у меня еще не было). Мне казалось, что если даже в моих статьях есть незрелые мысли, то сама новизна постановки вопросов относительно важнейших аспектов исторического познания небесполезна для нашего читателя.

«История историка» (1973 год):

«Замысел упомянутых выше статей — в опровержении идеи божественного “колеса истории” или ее “колеи”, от которой возможны, самое большее, лишь несущественные и не меняющие общего направления отклонения; в опровержении телеологии (и, следовательно, теологии) истории, унаследованной нами от гегельянства; в демонстрации противоречивости отношения между мыслью и объектом познания, то есть в подчеркивании важности и исключительной сложности эпистемологии исторического знания; в высвобождении реальной истории из плена огрубляющей схемы. Огрубляющей в той мере, в какой из средства первоначальной ориентации в богатстве материала она превращается в шоры, препятствующие его осмыслению, и выдается за самую картину исторического движения.

Для меня как медиевиста особенно существенным было подчеркивание самобытности докапиталистического развитая, которое невозможно адекватно понять в категориях буржуазного общества, настаивание на необходимости разработки нового

понятийного аппарата, более применимого к этим обществам, без опасности их модернизации и, следовательно, грубого антиисторизма.

Но такая постановка вопроса, которая отказывается видеть в докапиталистических обществах лишь “недоразвитые” организмы, своего рода “обезьян” по сравнению с “человеком”, некие “подготовительные” ступени к зрелой современности, — эта постановка вопроса порывает с плоской идеей прогресса, всегда свысока и пренебрежительно взирающего на прошлые состояния. Эта постановка вопроса враждебна догме об однолинейности развития человечества, при которой все общества и цивилизации “выстраиваются в затылок”, и допускает плюрализм, многообразие параллельных состояний, многоукладность отдельных обществ».

В ответ на предложение Соцэкгиза — было такое издательство, занимавшееся публикацией социально — экономической литературы, — я подал проспект книги «Человек в истории». Через некоторое время мне сообщают, что мою заявку давали на отзыв эксперту, и он ее отверг. С большим удивлением я узнал, что экспертом, который забраковал мою заявку, был не кто иной, как заведующий сектором методологии Института истории Михаил Яковлевич Гефтер. Мне казалось, что наши охтношения таковы, что он мог бы прежде всего сообщить свое мнение мне. Но он поступил иначе, и я не стал обсуждать с ним этот вопрос. Впоследствии я, кажется, понял, почему так произошло.

Михаил Яковлевич был человек, несомненно, одаренный. Прирожденный лидер, хороший организатор, великолепный оратор, умевший увлечь и подчинить мысль слушателей — во всем этом ему отказать нельзя, — он оказывал большое влияние на свое окружение. В качестве руководителя сектора методологии истории (пока этот сектор не прикрыли на рубеже 60–70–х годов) он сыграл, несомненно, положительную роль. Но он был из тех, кто выступал за «новое прочтение» Маркса и, в особенности, Ленина и полагал, что марксизм возможно понять только при условии учета ленинских идей и того опыта, который дал ленинизм. М. Я. до конца своих дней оставался убежденным ленинцем и отказаться от Владимира Ильича никак не мог. Психологически это понятно, и я не судья ему. Таких людей было много. Но нам с ним было не по пути.

* * *

В первой половине XX века большую часть своих позиций все еще сохранял позитивизм (да и ныне было бы опрометчиво полагать, что это пройденный, преодоленный этап развития исторической мысли), предполагающий, что в источниках содержатся фрагменты исторической истины. Чем больше освоит историк разнообразных источников, тем больше фрагментов исторической истины окажется в его поле зрения и тем скорее он может отважиться на то, чтобы соединить их, организовать в причинно — следственные ряды, понятийные цепи и в конечном итоге приблизиться к пониманию законов исторического развития. Историк — позитивист следует за источниками, собирает, анализирует их, от частного постепенно переходит к более общему, восходит к выводам, в конечном итоге — к законам. Эти законы могут быть вовсе не теми, о которых говорит марксизм, но они полагаются столь же непреложными, как и законы природы, изучаемые естествознанием и точными науками.

Между тем уже в первой трети XX столетия в западной исторической мысли были выдвинуты совершенно другие методологические принципы исторического исследования. Происходило формирование и утверждение идей неокантианской эпистемологии. Центр тяжести был перенесен с онтологии на гносеологию. Перед историками возникал новый по сравнению с XIX веком — веком господства позитивизма — вопрос о том, каковы возможности познания истории, каков тот понятийный эпистемологический инструментарий, который находится в головах людей, и как его надлежит использовать.

В трудах Виндельбанда, Риккерта и в особенности М. Вебера было показано, что постигнуть непосредственно так называемую объективную реальность нам не дано, не только потому, что она уже прошла и ее нет, но и потому, что ее следы в источниках закамуфлированы; источники эти непрозрачны, нуждаются в расшифровке, а расшифровка их, проникновение через источники в то, что происходило в прошлом, возможны только в том случае, если мы займемся анализом понятийного аппарата, познавательных средств, которыми обладают историки.

Макс Вебер выдвигает учение об «идеальном типе» как важнейшем средстве познания. Сопоставим его с марксистским учением об общественно — экономических формациях. Историку — марксисту понятийная схема дана априорно, раньше, чем он исследовал материал; он может лишь ее модифицировать, уточнять, обогащать, но главное ее содержание, повторяю, ему предзадано. А что делает историк согласно Максу Веберу? Его путь совершенно иной. Историк начинает с общей концепции, строит предварительное представление о том фрагменте

исторической действительности, который он собирается исследовать; это своего рода идеализация, отлет от конкретной действительности. Это и есть идеальный тип, на основе которого он проникает в недра источников и извлекает из них конкретный материал.

Но что делать, когда обнаруживаются противоречия между предварительной гипотезой и данными источников и факты не укладываются в ту понятийную систему, которая составляет идеальный тип? Это ключевой момент исследования. Вебер отвечает: они и не могут вкладываться в этот идеальный тип, именно поэтому он его и называет Idealtypus. В отдельных случаях обнаруживается соответствие идеального типа собранному конкретному материалу. Но, как правило, этого не происходит и даже в принципе не может произойти. Всегда обнаруживается больший или меньший зазор между идеальным типом и конкретным его наполнением. Как должен поступить исследователь, Когда это противоречие налицо и вопиет к его сознанию? Согласно марксистской схеме, надо элиминировать те факты, которые ей мешают, отвлечься от них, просто считать, что это нетипично, не так важно, это лишь околоформационные явления, некоторые помехи прибора. Так дает себя знать прокрустово ложе.

Согласно Максу Веберу, происходит как раз противоположное. Если собранный конкретный материал, проанализированный и систематизированный, противоречит идеальному типу, следует модифицировать этот идеальный тип. Значит, я начал с неверной предпосылки и должен в ходе исследования ее более или менее или даже коренным образом переработать. А если этот идеальный тип вообще не подходит, нужно набраться мужества, отбросить его и начать исследование, исходя из других предпосылок. Идеальный тип есть, следовательно, не схема, которой надлежит подчинить конкретный материал, а инструмент, при помощи которого я его собираю, изучаю, систематизирую и обобщаю. Но этот инструмент должен знать свое место, и в случае обнаружения непригодности его следует отбросить.

Мое знакомство с работами М. Вебера началось на рубеже 50–60–х годов. Сложность состояла не в том, чтобы прочитать их, — в библиотеках эти работы имелись. Но надо было догадаться, что вот здесь, по этому следу надо идти. Впрочем, это проблема не только тех, кто жил в изолированной от мира России. В 1991 году я впервые приехал в Париж, Ле Гофф предложил мне выступить с докладом. На заседании присутствовала почти вся редколлегия журнала «Анналы», с которой я к тому времени давно

сотрудничал. Я не нашел ничего лучшего, как прочитать им лекцию на тему о сходстве и различии между учением М. Вебера и других немецких неокантианцев, с одной стороны, и взглядами Февра и Блока — с другой. По моему убеждению, с разных сторон они подходили к одному и тому же — одни на уровне эпистемологии, другие на уровне конкретных исследований.

Я кончил свой доклад, молчание, затем одна дама говорит: «Вы не учли, что у нас были и другие учителя — Дюркгейм, например». Дискуссии не возникает, красноречиво молчит Ле Гофф, и его молчание — не знак согласия. Да, Дюркгейм. Но мне было неловко говорить о нем в этой аудитории. Рядом с Францией находилась Германия, где работал Вебер как раз в те годы, когда туда в научные командировки приезжал Блок. Он, конечно, читал Вебера, но свидетельств того, что это произвело на него необходимое впечатление, по — видимому, не осталось. В «Апологии истории» не чувствуется, что он близко знаком с эпистемологией Вебера. Не чувствуется перекличка с двух берегов Рейна между французскими «анналистами» и немецкими неокантианцами.

Сейчас мне читают книгу, посвященную М. Блоку, написанную французским историком по имени Демулен. Он использовал материалы, которые были опубликованы совсем недавно. Архив М. Блока, во время оккупации Франции конфискованный фашистами, после войны оказался в Москве, не знаю, частично или полностью; там обнаружилось много интересного. Из книги Демулена мне прочитали весьма важные в методологическом отношении высказывания Блока по некоторым коренным вопросам истории, которые не нашли отражения в его незавершенной «Апологии истории». Демулен высказывает некоторые соображения относительно сближения линии неокантианства в Германии и линии Блока во Франции, о которой я тогда говорил в Париже.

Инструментальная роль исторических понятий с необычайной настойчивостью была подчеркнута неокантианской методологией. Это была подлинная революция в историческом познании; рождение современного исторического знания можно датировать временем появления работ неокантианцев. История как наука обрела статус самостоятельной отрасли знания — по отношению к наукам о природе — только после того, как неокантианцы покончили с принципами позитивизма и с теми всеохватывающими схемами, которые мешали осмыслять конкретный материал.

Но что любопытно? Как раз в то время, когда неокантианцы развивали эти свои идеи, во французской исторической науке под

влиянием, прямым или косвенным, Эмиля Дюркгейма, Анри Берра и некоторых социологов, философов, теоретиков появились первые работы историков — медиевистов, а также специалистов по Ренессансу и по раннему Новому времени, в которых, независимо от неокантианцев и вряд ли при наличии должных знаний об идеальных типах и т. п., возникает новое направление исторических исследований. Оно получило известность как «история ментальностей», а десятилетие спустя приобрело статус «исторической антропологии». Историки этого направления, как и неокантианские теоретики, исходили из мысли, что историческое исследование не опирается просто на собирание фактов. Основатели нового течения Марк Блок и Люсьен Февр самым решительным образом воевали против «собирательской» историографии, как и вообще против позитивистской событийной истории, подчеркивая, что история изучает прежде всего проблемы.

Таким образом, оказалось, что в европейской гуманитарной и вообще научной мысли развивается некоторое общее движение; символом нового сознания, нового научного мышления стали работы Эйнштейна и других представителей неклассической физики, математики и т. д. Новые общие установки сознания привели к тому, что закладывались и новые основы исторического познания.

Для советских историков этот «коперниканский переворот», как он был впоследствии квалифицирован в западной историографии, оставался книгой за семью печатями. Сочинения Блока и Февра публиковались с начала 20–х годов, наиболее капитальные их работы появились в конце 30–х, в 40–е годы, у Февра есть работы 50–х годов. Но в нашей стране они были доступны весьма ограниченному числу историков, которые в лекциях об этом не говорили, в своих работах эти имена чаще всего не упоминали, а если и упоминали, то в критическом ключе. Какими бы выдающимися историками ни являлись эти французские ученые, все-таки это были, с тогдашней точки зрения, «буржуазные» ученые, и относиться к ним надлежало очень настороженно. Характерен такой пример. Когда А. И. Неусыхину было двадцать пять — двадцать семь лет, на него огромное впечатление произвели работы М. Вебера, и он решил в своих статьях рассказать о нем советскому читателю. Вебер должен быть освоен, как и другие достижения передовой мысли, полагал он. Но знакомясь с этими статьями Неусыхина, я обнаружил отчетливую тенденцию подтянуть, приблизить Вебера к Марксу, сгладить очевидные противоречия между ними, сделать его приемлемым. И все же ортодоксы тотчас же подвергли

Неусыхина резкой критике..

Как развивается научное знание? Существовало, наверное, и до сих пор существует представление, что в недрах научных школ ученые постепенно приходят к исчерпанию традиционной проблематики, исчерпанию материала исследования. Сознание этого тупика заставляет их сформулировать новые проблемы, открыть новые горизонты, и тогда мы переходим на другой, более высокий этап анализа. Со всей определенностью должен сказать, что мой личный опыт и наблюдения над опытом моих коллег противоречат этому. Мы топтались на месте в пределах этого кабинета с контурными картами и сами выйти к новой проблематике были не в состоянии. И если в конечном итоге некоторые из нас, как, например, я, вырвались из плена, то не потому, что в недрах нашего старого ремесла сами сумели сформулировать новые проблемы.

Новые проблемы в историческую науку первой половины — середины XX столетия пришли из другой отрасли гуманитарного знания. Сама историческая наука зашла в тупик. Но наиболее мудрые историки разглядели, наконец, что существуют не только историческое познание в собственном смысле, но и археология, и этнология (или, как ее стали называть на Западе, антропология), и ряд других научных дисциплин. Они прибегли к междисциплинарному подходу, что впоследствии стало неким общим заклинанием, и тогда появилась возможность вырваться из того заколдованного круга, в котором мы топтались.

В XIX веке и в особенности в XX — с того времени, когда началось падение колониальных империй, — получила развитие этнография. Первоначально ее предметом было простое наблюдение быта и нравов «отсталых», как их называли, народов. Но затем она приобрела более высокий статус, превратилась в антропологию, науку, которая пытается раскрыть внутренние структуры архаических обществ, обнаружить психологические и социальные механизмы, обеспечивающие их функционирование, и выяснить особенности этого функционирования по сравнению с обществами европейскими.

Согласно учению Леви — Стросса и других этнологов, одно из главных различий между этими архаическими обществами и обществами Европы и Северной Америки заключается в том, что последние — это общества «горячие», в то время как архаические общества — общества «холодные». В какой мере эта дихотомия обоснованна — это другой вопрос, оставим его в стороне. Люди в «горячих» обществах осознают, что они пребывают в истории, что они не всегда были такими, какими являются в настоящее время, и в дальнейшем станут иными; эти общества изменяются,

исторический процесс идет такими темпами, что люди могут ощутить движение истории, есть векторное направленное движение. «Холодные» общества, предмет изучения этнологов, развиваются столь медленно, проявляют такую цепкость по отношению к старому, их социальные, психологические, культурные основы настолько консервативны, что в сознании членов этих обществ господствует представление о вечном возвращении к одному и тому же началу, о неподвижности, о том, что настоящее состояние племени или союза племен примерно такое же, каким оно было во времена сотворения людей. Эти общества переживают историю объективно, но не субъективно.

Естественно, что в антропологии или этнологии, с одной стороны, и в историческом исследовании, основанном на изучении европейского материала, — с другой, методы работы, способы анализа источников совершенно различны. Антрополог, как правило, имеет дело с живыми людьми, он работает среди них, изучает их язык, ведет полевые исследования, пытается вжиться в эту социальную и человеческую структуру, чтобы изнутри расшифровать систему представлений, систему ценностей, навыки жизни этих людей, восстановить их картину мира. В распоряжении историка только тексты, археологические и другие вещественные остатки. При помощи их анализа он может попытаться в какой-то мере понять, как жили эти люди, каковы были их миропонимание, их обращение с природой, друг с другом, с потусторонними силами и т. д.

Но Блок и Февр на рубеже 20–х и 30–х годов предположили, что те вопросники, которыми давно уже пользуются антропологи, оказываются далеко не безразличными, не чуждыми, не иррелевантными для медиевиста, изучающего европейскую историю «горячих» народов. Этот вопросник, будучи, разумеется, модифицирован, в соответствии с особенностями жизни людей на территории Европы в Раннее и Классическое Средневековье, может быть применен и историком.

Вот пример. Народы «холодных» обществ не знают линейного течения времени — из прошедшего в настоящее и в будущее; для них оно идет по кругу, возникает, по выражению М. Элиаде, «миф о вечном возвращении». Интерпретация категории времени оказывается одним из структурообразующих компонентов этого общества. А в европейской истории? Раньше изучалась техническая сторона того, что связано со временем: как изобрели часы, как они устанавливались на башнях соборов и городских ратуш в конце XIII — начале XIV столетия, как измеряли время и т. д. Но разве не имеет права на существование постановка вопроса о концепции времени, господствующей в Средние века в

«горячих» обществах Европы? Как осознается время индивидом, или социальной группой, или всем большим социумом? Этот вопрос был поставлен, и обнаружилось, что представления о времени у европейцев в период Раннего и Классического Средневековья отличались от тех, что складываются в Новое и развиваются в Новейшее время. По — видимому, это было связано со специфической структурой общего мировосприятия.

И за категорией времени тянутся другие проблемы — история и ее осмысление, историческая и родовая память, соотношение мира живых и мира мертвых (это имеет прямое отношение к вопросу о движении времени) и целый комплекс других сюжетов, вплоть до коренного вопроса всякого гуманитарного знания — что есть человек в той или иной системе социальных и культурных институтов, как мыслятся человек и его природа и как он сам себя мыслит. Оказалось, что многие из тех вопросов, которые давно рассматривались антропологами, имеют прямое отношение к проблематике медиевистов.

Историческая наука обратилась к изучению систем мировосприятия. В сознании человека наряду с прорефлектированными, сформулированными, философски осмысленными или поддающимися осмыслению категориями существует потаенный уровень, которым обладают все люди, независимо от уровня их знаний. Это некоторый, как кажется, хаос представлений, чувственных впечатлений, мировосприятий. Без изучения этого виденья мира, обозначаемого понятием *mentalitй*, поведение людей в любом обществе, в том числе средневековом, непонятно. Mentalitй не осознается самим человеком, подобно тому, как мольеровский господин Журден всю жизнь говорил прозой, не зная, что такое проза. Но внимательный исследователь может обнаружить этот потаенный уровень сознания, вчитываясь в источники.

Это понятие впервые встречается в романе Пруста, где один из персонажей говорит: «Недавно пустили новое слово — mentalitй. Это интересное слово, но вряд ли оно привьется». Его прогноз не оправдался. В 20–е годы появляется труд Леви — Брюля «La mentalitй primitive».

Блок и Февр, знакомые с этим трудом, были бесконечно далеки от того, чтобы выводы Леви — Брюля о природе «пралогического мышления» папуасов или эскимосов механически распространить на сознание людей, живших в гораздо более сложноструктурированных обществах Европы Раннего и Классического Средневековья. Но они предположили, что, по — видимому, на любой стадии развития человеческого общества в сознании людей существует эта магма представлений,

ощущений, психологических установок — mentalitй. Она всякий раз может быть иной в зависимости от стадии развития, от характера общества и многих других факторов, она может различаться и в недрах одного социума, в зависимости от того, говорим ли мы об образованных людях или о невежественных простецах. Но она существует всегда, и определить ее очень трудно.

Не раз в своих лекциях я прибегал к такому сравнению. Если вы зададите человеку вопрос: «Каковы твои политические взгляды?», он может что-то о них сообщить. «Каковы твои философские взгляды?» Не всякий ответит, но все-таки один скажет: материя первична, сознание вторично, другой — нельзя войти в одну и ту же канаву дважды и т. п. «Каковы твои религиозные взгляды?» На этот вопрос можно ответить: агностик, атеист, протестант, католик, православный, буддист, мусульманин. Но попробуйте спросить: «А скажите, каков ваш менталитет?» Это может поставить человека в тупик.

В 60–х годах я и другие пустили в оборот это слово в русском языке — ментальность, менталитет. Теперь слово это так опошлили, что я, как историк, боюсь лишний раз его произносить, потому что могут неправильно понять — имею ли я в виду категорию исторического знания или же то, о чем уже с думской трибуны говорят: «Нам менталитет русского народа не позволяет…».

Менталитет — это тот бесконечно богатый уровень нашего сознания, та дифференцированная и вместе с тем запутанная категория, которая, как правило, не является предметом самоанализа. Но именно потому, что менталитет не осознан или осознается лишь частично, он владеет мною гораздо сильнее, чем идеология. Ментальность меняется, но медленно, исподволь, и так как она не контролируется сознанием хотя бы в той мере, в какой могут контролироваться, например, религиозность или другие формы идеологии, она не столько служит нам, сколько нас порабощает. Я могу сменить идеологию или политические взгляды, а разлюбить свой вчерашний менталитет и полюбить завтрашний? Может быть, он изменился с возрастом, но осознать это изменение очень трудно. И когда я сегодня вспоминаю 50–60–е годы, то не гарантирую, что вполне адекватно воспроизвожу структуру своего сознания тех лет.

Для того чтобы понять экономическое, политическое, обыденное, сексуальное, любое поведение человека, надо представлять себе, какой тип ментальности господствует на данном этапе исторического развития в этой группе, в этом классе, в этом обществе. Это — коллективное содержание

индивидуального сознания. Оно надличностно. Оно принадлежит не только мне, а целой страте или даже целому обществу. При этом оно таится в сознании каждого отдельного человека и может проявляться в преломленном виде по — разному. Тем не менее общую «грамматику» поведения, общие правила мышления людей в данную эпоху при очень внимательном и принципиально новом изучении источников мы можем в какой-то мере выявить.

Я опираюсь на знание огромного числа работ не только французских, но и американских, итальянских, немецких исследователей, на некоторые работы своих соотечественников и на свои собственные, и сейчас все это представляется мне относительно ясным. Я допускаю, что части моих слушателей или будущих читателей сказанное тоже более или менее известно. Тем не менее я был вынужден хотя бы вкратце остановиться на этом относительно ясном вопросе, поскольку речь идет о глубокой реконструкции внутреннего мира и взглядов историка в ситуации конца 50–х — начала 60–х годов. В то время, когда эти мысли впервые начинали роиться в моей голове, еще засоренной очень многими артефактами и клише предшествующей стадии нашего общественного и моего индивидуального развития, все это вырисовывалось сначала в высшей степени запутанно, неполно, и давались ти новые мысли с немалыми усилиями.

Я обнаружил, что в этом же направлении, хотя, может быть, с другой стороны, штольню пробивают специалисты других гуманитарных дисциплин. Как раз в конце 50–х — начале 60–х годов ищет свой путь семиотика — учение о вторичных моделирующих знаковых системах. Движение мысли и у семиотиков, и у историков ментальности в области медиевистики и раннего Нового времени развивалось синхронно. Семиотика выдвигает постулат о противоречии и различии планов выражения и планов содержания. Вы анализируете текст. Для того чтобы понять его истинность или неистинность, его внутренний смысл, надо от внешнего выражения перейти к тому, что скрывается внутри этого текста, обнаружить его потаенные пласты, потаенные, может быть, даже от самого автора. По сути дела, здесь совершается переход от исследования литературных и иных текстов к изучению структур сознания, на которые опирается культура.

С самого начала я встретился с глухим или ясно выраженным противодействием многих коллег. Как правило, они не отрицали начисто допустимости изучения менталитета, но были склонны сводить его к некоторым внешним инкрустациям или архитектурным излишествам на широком фронтоне социально — экономического здания. Понятие идеологии в привычном

марксистском толковании, к тому же предельно упрощенном, вполне их удовлетворяло. На самом же деле речь шла о коренной перемене в отношении к предмету исторического знания и, соответственно, о новой его методологии.

Постепенно выяснялось, что самое важное — обращение новых вопросов к источникам. Это самое трудное для историка. Здесь проливается много крови, много пота, ломаются копья и перья, возникают очень серьезные противоречия, выдвигаются серьезные идеологические обвинения. Все это случалось и со мной, и не со мной одним. Но я был с самого начала убежден, что это та тропа, которая может привести к чему-то, может быть, неожиданному, но, несомненно, плодотворному. Опираясь на свои работы, посвященные анализу общих концепций истории, методологических и эпистемологических постулатов, с одной стороны, и с другой — на знание трудов Блока, Февра и их последователей — Дюби, Мандру, которые все-таки появились в наших библиотеках, я постепенно стал осваивать новые подходы к изучению исторического материала. Я счастливчик, потому что, когда мы здесь, как слепые котята, искали свои пути, своевременно прислушался к тому новому, что рождалось в трудах ведущих историков на Западе.

«История историка» (1973 год):

«Не знаю, как у других, у меня лично сторона иррационального, интуитивного, полусознательного занимает в работе большое, я бы сказал, выдающееся, место в искании, нащупывании проблемы, приемов ее разработки — в особенности. Мой ум, увы, не философский, я не имею способности и склонности к систематической разработке категорий и не чувствую себя “как рыба в воде” в мире отвлеченных понятий. Мне постоянно нужно опираться на некую совокупность фактов, представить себе нечто исторически конкретное. Я не логик и не социолог, который способен “выключить” историческое время и “пренебречь” материей истории. (В этих словах нет или, вернее, не так много скрытой иронии, я просто констатирую, что я не таков, как они.) Мало того — мне трудно писать по плану, заранее разработанному в голове или на бумаге. Для того чтобы начать писать, мне необходимы общая идея, проблема, догадка и ка- кие-то конкретные данные, с нею увязанные. Тогда можно попробовать поразмыслить над ними, сидя за машинкой.

Никогда заранее не известно, пойдет работа или нет. Представить себе статью, тем более книгу, в голове, чтобы затем сесть и записать ее, — невозможность полнейшая. Додумываю только в процессе писания, который и есть процесс творчества (или важнейшая его составная часть). Куда меня в процессе

писания “вывезет кривая” — никогда не знаю. Хорошо это или плохо — неважно. Так и только так я могу работать. Все это, несомненно, связано у меня с важной ролью интуитивного начала. Я осмелился бы назвать это начало чуткостью к актуальной проблеме и к тому, где именно и как к ней ведут нити из моего материала источников. После того, как эти свои качества я проверил в работе, получив несколько раз неплохой результат, моя интуиция окрепла. Как ее определить?

Оставляя в стороне “талант” — вещь неясную и в применении к себе и неудобную, я бы назвал ум, интерес к работе, трудолюбие, а главное — *открытость* для новых идей и фактов — вот компоненты научной интуиции, ее грани (но ядро ее, возможно, в другом, не поддающемся определению). При этой открытости — не в смысле неразборчивой всеядности, разумеется, а в смысле внимания к иной точке зрения, в добросовестной готовности в ней разобраться и извлечь рациональное для себя, в уважении к мысли другого, в искании того, что тебе близко или может пригодиться в твоем интеллектуальном “хозяйстве”; в готовности пересмотреть собственные выводы в свете науки, возражений коллег или при столкновении с противоречащими показаниями источников; в понимании того, наконец, что твоя истина — не абсолют, а потому подвижна и изменчива — при открытости ума историка рушится всякий догматизм».

Так я мыслил себе необходимые условия для того, чтобы сквозь толщу обветшавшей традиции и цепких предрассудков пробиться к новому виденью. Этого мнения я придерживаюсь и сейчас, более четверти века спустя. Но хотелось бы дополнительно подчеркнуть следующее. Логического анализа и рационального осмысления собственной работы еще недостаточно; решающее условие, обеспечивающее перелом в работе историка, — это его характер. Не могу сказать, что я очень упрям и не склонен воспринимать критические возражения, если они проистекают из существа дела, а не продиктованы конъюнктурой. Скажу больше: мое чувство юмора прежде всего распространяется на меня самого. Идти на гнилые компромиссы и поступаться тем, что выстрадано, я не готов: Пример немалого числа окружающих, которые склонны были проявлять гибкость, простирающуюся вплоть до беспринципности, постоянно был перед моими глазами и служил предостережением.

Не следует упускать из виду, что мне приходилось подвергать свое сознание коренной перестройке почти в полном одиночестве и в обстановке все нарастающей настороженности части коллег. Поэтому столь важным было не поддаться господствующим

умонастроениям и не побояться поступать наперекор общепринятым установкам, научным и идеологическим.

Впрочем, я не вполне прав, говоря об отсутствии единомышленников. На протяжении всей моей работы, начиная со студенческих и аспирантских лет, я всегда отчетливо ощущал критического собеседника, с неизменным интересом следившего за моими изысканиями. В одних случаях этот мой alter ego мог представить свои вопросы, недоумения и возражения, в других — ничего не сказать, но тем не менее дать мне понять свою неудовлетворенность. Собеседник этот, а подчас и оппонент, критичный и порою даже ехидный, — моя жена Эсфирь. Как я уже упоминал, она была чрезвычайно честолюбива — не ради себя, а на мой счет, и моей первейшей заботой было заслужить ее одобрение. Ее уже нет, но равнение на ее нравственные суждения и научные оценки остается тем же, каким оно было на протяжении более полустолетия нашей совместной жизни.

Вот что обнаружилось на полях моей рукописи «История историка», которую она переписала за несколько лет до своей кончины. Эта запись сделана ее рукой 2 марта 1997 года, а в августе ее не стало:

«В этом огромном мире он был одинок. Читаешь мемуары Ле Гоффа — какое огромное культурное общение, со всего мира, большие ученые в разных областях, совместные статьи, обсуждение проблем. Здесь — никого. А. Я. мне сказал вчера (1 марта 1997 года), что я была единственным его собеседником и критиком!»

***

Так происходило раскрепощение нашей мысли, сделавшееся возможным после падения культа Сталина. Мы стремились раздвинуть пределы допускаемого, возможного, легализовать то, что раньше было подпольным, с одной стороны, а с другой — искали новые пути в эпистемологии, новые подходы к материалу исторических исследований. Все это в моем сознании, как и в сознании некоторых моих коллег, сближалось, сливалось и открывало новые просторы для исторических исследований.

В какой мере преуспели мы в освоении этого нового поля возможностей? Можно ли утверждать, что историческое знание в нашей стране за последние тридцать — сорок лет пережило радикальное обновление? Сдвиги, и немаловажные, несомненны. Историки получили гораздо более широкий доступ к архивам, в большей мере, нежели прежде, знакомы с достижениями

исторической и теоретической мысли как на Западе, так и в нашей стране. Резко расширились международные научные связи, и молодежь получила в этом отношении довольно широкие возможности, ее положение не сопоставимо с тем, в каком находились мы вплоть до самого недавнего времени. Разрабатываются такие проблемы, о каких сравнительно недавно мы и не помышляли. Короче говоря, историк обрел несравненно большую степень свободы творчества. Остается, однако, открытым вопрос о том, в какой мере способен он плодотворно воспользоваться этой свободой.

Я бесконечно далек от поползновения навязывать кому бы то ни было из коллег принципы историко — антропологического исследования, но убежден в том, что их надо знать, ибо рутина позитивистской историографии, боюсь, все еще исключительно сильна. Впрочем, традиции исторической науки XIX века сильны не только у нас. Несколько лет назад, беседуя в Париже с Ле Гоффом, я выразил надежду, что представляемое им и его единомышленниками научное направление восторжествовало на левом берегу Сены. Он отвечал мне, что я заблуждаюсь и в действительности все обстоит далеко не так.

Совсем недавно Ю. Л. Бессмертный поведал нам, что принципов и методов исторической антропологии во Франции придерживаются ныне, собственно, лишь два чудака — Жак Ле Гофф и Жан — Клод Шмитт, тогда как многие другие французские историки поглощены поисками совершенно иных подходов к истории. Оставлю это утверждение всецело на совести Бессмертного. Я убежден, что он не прав. Историческая антропология — это не какой-то частный методический прием, которым историк может пользоваться от случая к случаю. Историческая антропология воплощает в себе новое виденье нашего предмета. В центре исторического исследования оказываются человек, изменяющийся с ходом времени, и человеческие группы, всякий раз на свой лад организованные присущей им культурой. Культура в ее социально — антропологическом понимании на протяжении нескольких десятилетий XX века выдвинулась — хотим мы этого или не хотим — в центр исторического сознания, и в этом коренном сдвиге заключается, на мой взгляд, смысл «коперниканского переворота», переживаемого нашей научной дисциплиной.

V. Переломное время

Погружение в историю средневековой Скандинавии. — Историк в Институте философии. — Защита докторской диссертации. — Разногласия с учителем.

— Знакомство с французской историографией: влияние Школы «Анналов» и различие в подходах. — Завершение работы над «Проблемами генезиса феодализма в Западной Европе» и подготовка «Категорий средневековой культуры». — Поход министра А. И. Данилова против структуралистов. —

Мое письмо в журнал «Коммунист» и неожиданная реакция на него.

Пытаясь подготовиться к своим выступлениям, я все больше сталкиваюсь с трудностью, которую не осознавал, начиная эти устные воспоминания: неизбежно происходит напластование времен. К тому же, разумеется, мои воспоминания субъективны: фактическая канва событий, история, с одной стороны, и память — с другой, вступают в известное противоречие. В конечном счете все, что я могу изложить, — это симбиоз фактической истории и памяти, в котором я стараюсь придерживаться правды, и до сих пор, кажется, мне это удавалось, во всяком случае, настолько, насколько позволяет искренность. Я пропускал какие-то имена и события, потому что это горячо — и не только для меня, но и для некоторых других живущих на этой земле людей. До сих пор речь шла о событиях плюсквамперфекта, сегодня я буду вспоминать о событиях перфекта, и вспоминать придется о вещах неаппетитных.

* * *

В 1950 году я защитил в Институте истории АН СССР кандидатскую диссертацию по социально — экономической истории Англии Раннего Средневековья, по истории английского крестьянства в VII — начале XI века (т. е. до норманского

завоевания 1066 года). Как я уже говорил, передо мною встали острые жизненные бытовые проблемы.

Устроившись после долгих мытарств на работу в Калининский пединститут, где прошли шестнадцать лет моей жизни, я не мог, конечно, оставить научную работу и совмещал еженедельные поездки в Калинин и обратно и преподавание там со вторника до пятницы с занятиями в Ленинской и других московских библиотеках. Я уже облюбовал тему новой исследовательской работы и трудился над скандинавскими сюжетами в первоначальном варианте. Конечно, приходилось трудно, времени было очень мало. Когда я приезжал в Москву и посещал какие-нибудь научные собрания в Институте истории на Волхонке, 14, я каждый раз ловил себя на мысли: как живут эти люди! Они — сотрудники Института и занимаются любимым делом не контрабандой, как я. Мне приходилось отрывать время от сна, от досуга — досуга, впрочем, никакого не получалось, — чтобы заниматься научной работой.

В 50–х годах я написал серию исследований, посвященных социально — экономической истории Норвегии и отчасти Исландии в Раннее Средневековье. Эти статьи я подавал преимущественно в сборник «Средние века», их печатали довольно регулярно, и я принадлежал к активу сектора, переживавшего тогда не лучшие времена. Некоторые сотрудники после «космополитической» кампании были если не уволены, то сведены на третьестепенные роли в жизни этого коллектива, а на первый план уже выдвинулась новая когорта, возглавляемая Ниной Александровной Сидоровой, опубликовавшей к тому времени свою монографию об Абеляре и ранней городской культуре в средневековой Франции. Там же числилась Зинаида Владимировна Удальцова, начинавшая свои византиноведческие изыскания, уже не раз упоминавшийся Александр Иванович Данилов, Александр Николаевич Чистозвонов, специалист по истории Нидерландской революции; он носил на себе неизгладимую печать той специальности, которую приобрел на войне, — он был работником СМЕРШа, и это очень чувствовалось и в послевоенный период, и в дальнейшем.

В этом секторе было не очень уютно, но мне требовалось научное подразделение, где я мог бы выступать с докладами. Там появлялся Косминский, приходил Неусыхин и некоторые другие, с кем можно было обсудить научные проблемы. Время от времени, уж не знаю, чем руководствуясь, Нина Александровна посылала ко мне свое доверенное лицо — некую даму, которая, может быть, проявляя и собственную инициативу, уводила меня в укромный уголок и сообщала об очень благожелательном

отношении ко мне Нины Александровны и о том, что я в списке людей, которых она хотела бы заполучить в свой сектор. Этот список закрывается, однако, медленно, говорила она, все очень сложно, но я не должен терять надежды. Таким образом, я ходил как бы в женихах, но сам руки не предлагал, понимая бессмысленность этого дела.

Другие мои коллеги — я имею в виду медиевистов моего поколения, — может быть, более динамичные, одновременно со мной тоже оказавшиеся где-то в Иванове, Великих Луках и других городах Российской Федерации, уже перебрались в Москву, закрепились в Институте истории и других местах. Я же упорно продолжал держаться Калинина. Я уже упоминал, что один год я там работал на полставки ассистента, и денег, которые мне платили, с трудом хватало на переезды из Москвы в Калинин и обратно. Как в анекдоте: один джентльмен торгует вареными яйцами; продает за ту же цену, что и купил. Его спрашивают:

— Что ж ты от этого имеешь?

— Имею навар.

Вот навар у меня был, а больше ничего.

После смерти «великого вождя» положение изменилось. Меня перестали увольнять, и со временем я стал даже уже не ассистентом, а (с 1956 года) доцентом. Но по — прежнему в Калинине ко мне относились как к приезжему и, следовательно, недолговечному сотруднику — в любой момент может уйти. Были, впрочем, и благожелатели, например, секретарь партийной организации историко- филологического факультета. Эта дама не раз говорила мне:

— Арон Яковлевич, вы такой замечательный преподаватель и вообще человек, у вас только один недостаток — вы не член КПСС. Скажите только слово, я вам первая дам рекомендацию, мы немедленно все устроим, примем вас.

— Если в том качестве, в котором я пребываю, я вас не устраиваю, скажите прямо, и я вынужден буду уйти.

— Но почему?

— Потому что я считаю себя недостойным. Надо вести активную общественную работу, выполнять партийные поручения. Я живу на два дома. В Калинине — в общежитии, в Москве у меня семья.

Так я валял дурака, не высказывая подлинных причин моего отказа. Но беседа не закончилась. Она говорит:

— Вот, например, закрытые письма, а вы их содержания и не знаете. А это может быть важно для правильного преподавания.

Это была эпоха Хрущева, когда из недр ЦК извергались потоки так называемых «закрытых писем» членам КПСС. Не очень

они были закрытые. Ясно, что если миллионы членов партии принимали участие в коллективном заслушивании этих писем, то на другой день десятки миллионов беспартийных граждан об их содержании знали.

Я отвечаю:

— Лидия Ивановна, я все понимаю, но должен вас разочаровать. Как правило, если я склонен слушать, мне, даже без моей просьбы, рассказывают их содержание.

Она была очень огорчена, ведь все-таки секретные письма. А оказывается, что все это не ценится как привилегия.

В 60–х годах сменился ректор. С новым, В. В. Коминым, у меня сложились нормальные отношения. Однажды я прихожу к Виктору Васильевичу, а у него в кабинете сидит бывший мой студент, который «вырос» до секретаря партийной организации пединститута. В ходе разговора этот бывший студент говорит:

— Арон Яковлевич, ну почему вы не член КПСС?

Я такой, сякой, замечательный, и вот единственное темное пятно на этом солнце — Гуревиче — это то, что он не член партии. Тут я разозлился и говорю ректору (он был, конечно, умнее и опытнее этого молодого человека):

— Виктор Васильевич, у вас найдется лист бумаги, я прямо сейчас напишу заявление об уходе.

Виктор Васильевич скомкал этот разговор, и я остался вне рядов коммунистической партии. В 70–х годах, когда я жил уже в Москве и работал в Институте философии, а потом в Институте истории, я как-то пошутил: «А что, если сейчас пойти к секретарю парторганизации и сказать, что я хочу вступить в ряды КПСС? Что будет?» Но я так и не сделал этого, так не шутят.

В Калинине у меня завязались косвенные отношения с местным Управлением госбезопасности. Конечно, люди «из органов» должны были следить за тем, что делается в вузе, и некоторый интерес ко мне проявляли. Одна моя ученица, которая давно кончила институт и пыталась что-то сделать в аспирантуре, говорит мне:

— Какой-то человек ловит меня на улице, расспрашивает про вас, про мои разговоры с вами.

— Ну что вы, Люся, — успокаивал я ее, — мы с вами говорим в основном о Салической правде, о вполне академических сюжетах, ничего одиозного в наших беседах нет.

Я не придал этому значения и решил, что это у нее какие-то сдвиги, все это ей кажется. Но прошло некоторое время, и этот или уже другой джентльмен довел ее до того, что она оказалась в психоневрологической клинике.

А затем в 1957 году произошла такая история. Летом во

время сессии заочников я на два дня приехал в Москву. Жил я в коммунальной квартире на улице Димитрова (Большая Якиманка), моей соседкой была женщина пожилая и небольшого ума. Я собирался встретиться со шведским журналистом Нильсом Хольмбергом, который приезжал в Москву на один день, отправляясь в Китай. Он должен был привезти мне большой исландско — английский словарь, без которого я не мог работать, а я этого шведа уже годами снабжал археологической литературой по отечественной истории, которой он почему-то интересовался. Моя сеэйья отдыхала на даче, а мне нужно было отлучиться. Я говорю соседке:

— Если появится немолодой человек с усиками (вот его фотография), скажите ему, пожалуйста, что я приду через полчаса, пусть подождет.

Возвращаюсь.

— Ну что, был?

— Был.

— Он?

— Вроде он. Просил вас подождать его.

Звонок в дверь, открываю, стоит молодой человек, без усов, на Нильса Хольмберга похож, как я на папу римского. Очень вежлив. Представляется:

— Я из Калининского управления госбезопасности. Мне передали, что вы хорошо знаете английский язык.

Я отвечаю:

— Это преувеличение. Я читаю свободно, но у меня нет разговорной практики.

— Понимаете, — возражает он, — группа английских учителей приезжает в Калинин, будет встреча с ними в ректорате пединститута. Очень важно, чтобы вы с ними познакомились и кое с кем даже подружились.

Не будь я дурак, мне надо было бы спросить: «А дальше что? Каково задание?». А я сразу ему:

— Нет!

— Как нет?

— Мне противно.

Он несколько оторопел, спрашивает:

— Почему же?

— Потому что я должен быть какой-то подсадной уткой, выдавать себя за кого-то другого.

— Но вы же патриот?

— Патриот. Но я патриотизм понимаю так: если придется стать свидетелем какого-то антигосударственного преступления, буду реагировать активно, но выполнять ту роль, какую вы

предлагаете, не стану.

Он не пытался ни переубеждать меня, ни грозить мне, и я его выпроводил. Наверное, это как-то зафиксировали, как не забыли и те разговоры с моей студенткой. Но, я думаю, это было чисто калининское городское или областное дело, которое разрабатывалось не в Москве. Такова была моя первая встреча с Госбезопасностью. Я знал, что ни в коем случае нельзя поступать так, как мне советовали, рассказывая о своем опыте: сначала соглашаться, а потом их обмануть. Они вас двадцать раз обманут, возражал я, прежде чем вы только соберетесь их обмануть. У них есть опыт, которого у вас, наивного интеллигента, нет.

Труден именно первый этап. Но если вы оступитесь на первом шагу, то дальше уже вас заглатывают с потрохами, и будете, как миленький, делать то, что вам продиктуют. Поэтому я считал, что нужно сразу поставить все точки над і и больше к этому не прикасаться. Вторая моя встреча с Госбезопасностью произошла уже в конце 80–х годов, но о ней я расскажу позже. Это была уже совсем другая встреча и другая Госбезопасность, и мне казалось, что теперь все по — другому.

Чтобы закончить сюжет о шведе: он приехал, мы с ним гуляли по городу, я получил от него словарь и щедро с ним расплатился. Потом я узнал, что Нильс был ярый шведский коммунист маоистского толка, поэтому и ехал в Китай. Но это уже меня не касалось, мы говорили совсем о других вещах.

Уже в конце 50–х годов в Калинине вдруг вызывает меня проректор по научной работе и говорит: «Арон Яковлевич, у нас нет ни одного доктора наук и ни одного докторанта (для института было важно показать, что у него есть кадры высшей квалификации). Я не сомневаюсь, что у вас уже много сделано для написания докторской диссертации. Предлагаю вам годичный научный отпуск (мечтать о докторантуре мне и в голову не приходило, я этого не просил!). Нет, впрочем, года мы вам, конечно, не можем дать, а полгода дадим». Уже и это хорошо, полгода сидения в московской библиотеке без поездок сюда! Это дало бы мне возможность сделать серьезный рывок, у меня накопился уже большой материал, и я мог уже совладать с источниками. Я получил этот отпуск. Правда, тогда же ректор меня не пустил в туристическую поездку в Финляндию:

— Вы хлопочете о научном отпуске и в то же время хотите ехать прохлаждаться в Финляндии!

— По — моему, — говорю я, — эти вещи связаны, а, кроме того, у меня есть очередной отпуск.

— Нет, это не годится.

Я понял, что он говорит не от себя, но ни на кого ссылаться в

те годы он не мог.

— Хорошо, — говорю, — не поеду.

После вышеуказанной беседы я возвращаюсь от проректора в нашу комнату для приезжающих. Там среди нас жил один джентльмен, преподаватель Новейшей истории, тоже из Москвы, отвратительный тип, но очень высокого мнения о себе. Ленясь переписывать из учебника лекции в свою тетрадь, но не жалея учебника, он вырывал из него нужные страницы, отмечал красным и синим карандашом то, что предстояло произнести, и таким образом читал студентам. Был такой анекдотический случай. Я иду по коридору на лекцию и вижу, студенты тащат портативную кафедру.

— Ребята, что происходит?

— С. у нас лекцию читает.

Я не мог понять, для чего перед лекцией требуется вынести вон кафедру. Оказывается, они знали, что он читает прямо из учебника, и забрали этот пюпитр, скрывавший его действия, и он вынужден был положить исчерканные страницы учебника прямо на парту. Тут студенты все и увидели.

Так вот, когда С. узнал, что мне предлагают научный отпуск, он через неделю явился к проректору. «Я заканчиваю докторскую, и мне нужен отпуск», — заявил он. Докторскую же он изготовил так: оторвал корешок у своей кандидатской и заменил первую страницу, где было сказано, что это диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. Однако проректор был не такой дурак, чтобы этому поверить, и разоблачил его.

* * *

Пребывание в Калинине все больше тяготило меня, однако уйти было некуда, и я провел там целую вечность — шестнадцать лет. Но в 1966 году академик П. Ф. Юдин, закончивший все возможные виды своей карьеры — партийной, идеологической, дипломатической (он был советником при Мао Цзэдуне), окопался в секторе истории мировой культуры в Институте философии и задумал четырехтомное издание «История мировой культуры». Ему понадобился человек, который руководил бы подготовкой материалов 2–го тома, посвященного Средневековью. И А. И. Клибанов, который знал меня не очень хорошо, сказал тогда: «Вот есть такой Гуревич, вы бы его пригласили. Он к вам, конечно, вряд ли пойдет, но попробуйте». Так он набивал мне цену. Ко мне обратились из Института философии, и я, недолго ломаясь (поломаешься, они скажут: ну и не надо), согласился.

Покойный А. И. Клибанов мог бы с полным правом процитировать Фамусова: «Когда б не я, коптел бы ты в Твери». У Юдина были сложные отношения с академиком Константиновым — директором института, но из-за такой мелочи, как Гуревич, два академика ссориться не станут, и меня взяли на работу.

Так в 1966 году я впервые попал в академический институт в качестве старшего научного сотрудника, но не в Институт всеобщей истории, а к философам.

Это было интересное время в Институте философии. Здесь тогда царила теоретическая «всеядность». Рассказывали о каком-то французском философе (впрочем, наверное, это легенда), который приехал тогда в Москву, общался с разными философами от Константинова, Юдина, Митина до Межуева, Келле, Левады и сказал, что он нашел тут и неокантианцев, и позитивистов, и логических позитивистов, и гегельянцев, и младогегельянцев и проч. Единственное направление, которого он не обнаружил, — это марксизм. Ну, это клевета: сказать, что академик Константинов, директор Института философии, не был стопроцентным марксистом на советский лад — значит, оскорбить его. Старики — Константинов, Юдин, Митин и другие мастодонты — уже не пользовались не только научным авторитетом, но и просто уважением. Когда Юдин обсуждал с нами какую-либо главу из «Истории культуры», он обычно произносил сакраментальную фразу: «Очень хороший текст, ну очень хороший, но почему автор не учитывает мысли В. И. Ленина в работе “Шаг вперед, два шага назад?”». И тут все молодые ребята с хохотом поворачивались к нему спиной: «к мандатам почтения нету».

Но эти закоренелые марксисты уже не решались нарушить то движение умов, которое чувствовалось в Институте философии. В целом атмосфера все же располагала к вольномыслию. Я общался с молодыми и средних лет философами. Они были вольнолюбивы, искали что-то новое и старались начитывать то, что не успели прочитать раньше. Там работал Эвальд Ильенков, считавшийся корифеем, молодежь ловила каждое его слово. Но я с ним не общался, и то, что я читал у него, меня, как историка, разочаровало. Молодым многообещающим философом социологического толка был Ю. А. Левада. Не могу сказать, что на меня эта прогрессивная философская мысль второй половины 60–х годов оказала большое влияние.

Со мной в одном секторе работал очень интересный философ старшего поколения, друг Г. Лукача М. А. Лифшиц, Он знал все: эстетическую, философскую мысль, историю, но как сложился в 20–30–е годы законченным марксистом полуревизионистского

толка, так им и остался. Помню, он опубликовал в журнале «Коммунист» статью под заголовком «Чего не надо бояться»: защищал марксизм, заявляя, что не надо бояться быть марксистом. Когда я делал свой первый доклад по исторической психологии, он, великолепный и жестокий полемист, прослушав меня, не стал спорить, а сказал лишь, что не нужна никакая психология, и он берется на основе одного только марксизма показать, почему Людовик XIV так долго правил и т. п.

Работа над «Историей мировой культуры» шла ни шатко, ни валко, но мне удалось привлечь нескольких авторов, и когда после смерти Юдина в 1969 году наш отдел разогнали, многое уже было написано для этого несостоявшегося труда (Институту философии этот труд был не нужен, он был нужен Юдину, желавшему увековечить себя как культуролога, впрочем, тогда этого неприличного слова еще не употребляли). Значительную часть уже подготовленных материалов авторы переработали в самостоятельные монографии, и их удалось издать. А. П. Каждан написал свою «Византийскую культуру», В. А. Рубин (сын Арона Ильича) написал монографию «Мыслители Древнего Китая», Б. Я. Шидфар — «Культуру арабов», С. С. Аверинцев писал раздел, который потом *стрл* частью его докторской диссертации по ранневизантийской литературе, ваш покорный слуга уже вовсю работал над тем, что позднее стало «Категориями средневековой культуры».

Я видел, что трудившиеся в этом институте профессиональные философы, даже наиболее продвинутые среди них, умные, талантливых



Калининский пединститут. Начало 50-х годов



Е. А. Косминский



Калининскии пединститут. Начало 50–х годов



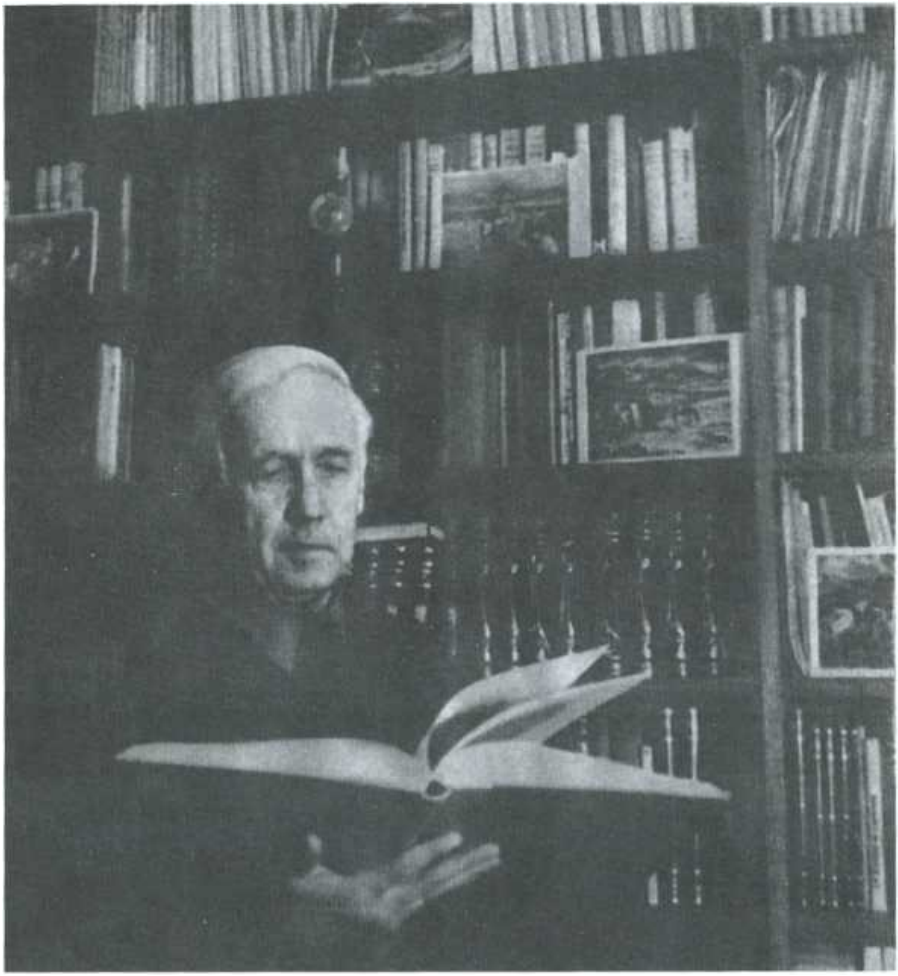
А. И. Рубин



С женой Эсфирью. Рижское взморье. Начало 50–х годов



Начало 50-х годов



М. И. Стеблин — Каменский



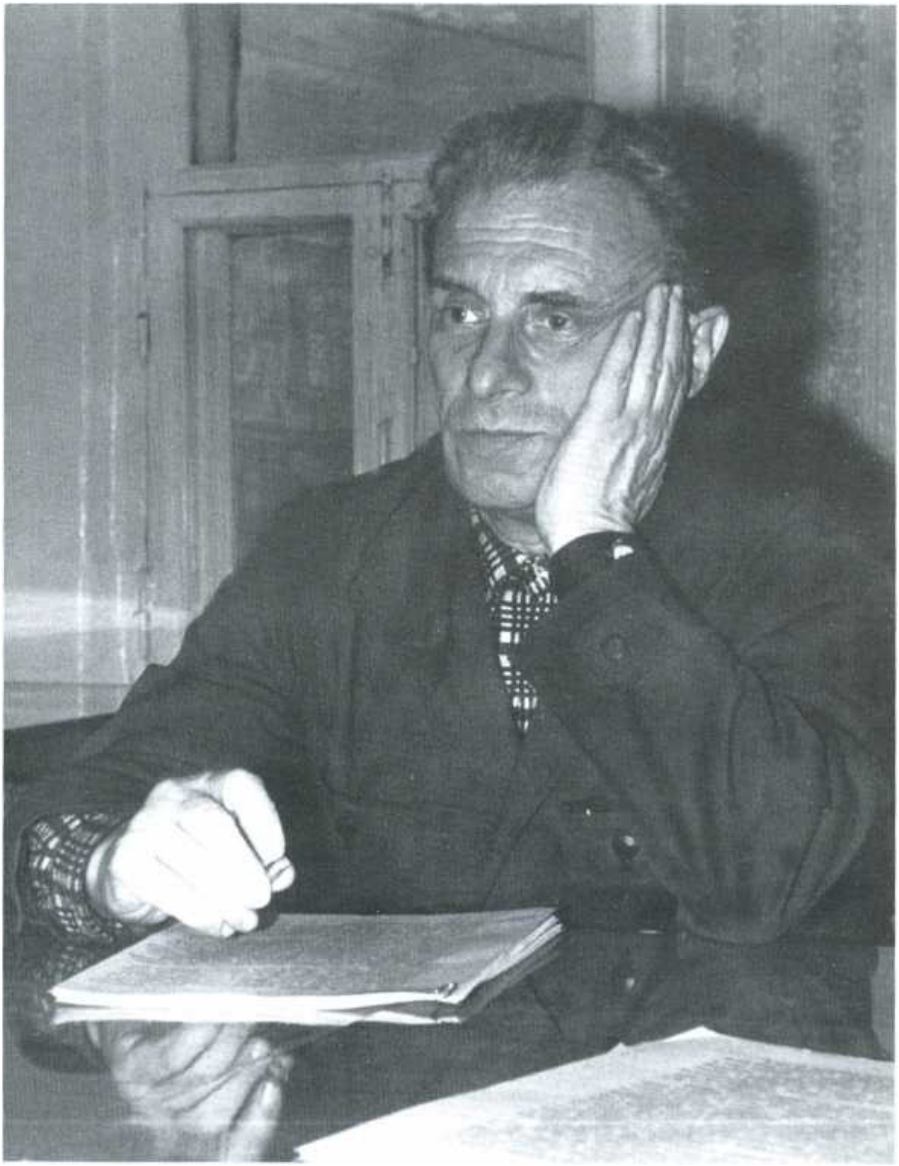
Н. И. Конрад



Москва. Конец 80–х годов



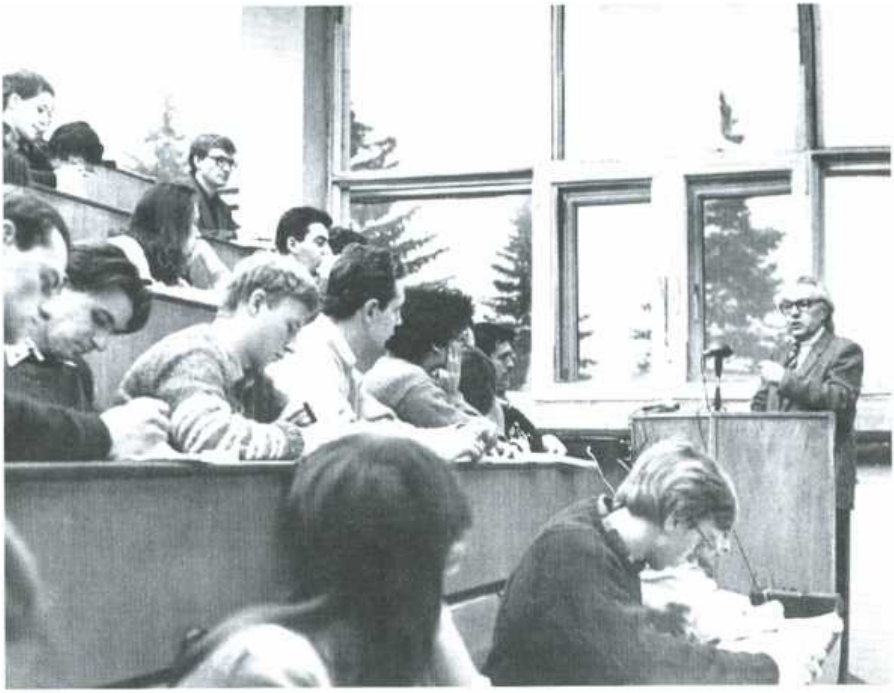
Москва. Конец 80–х годов

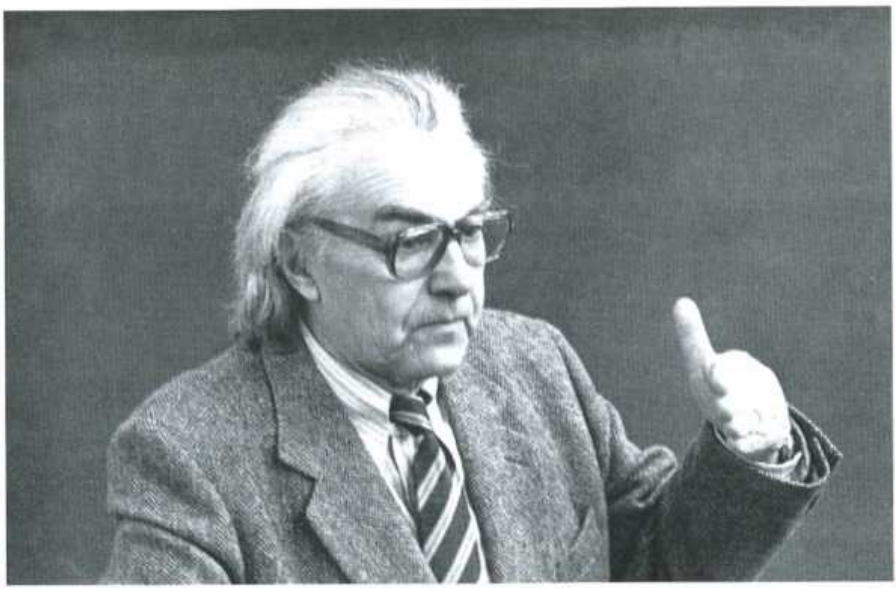


В. С. Библер

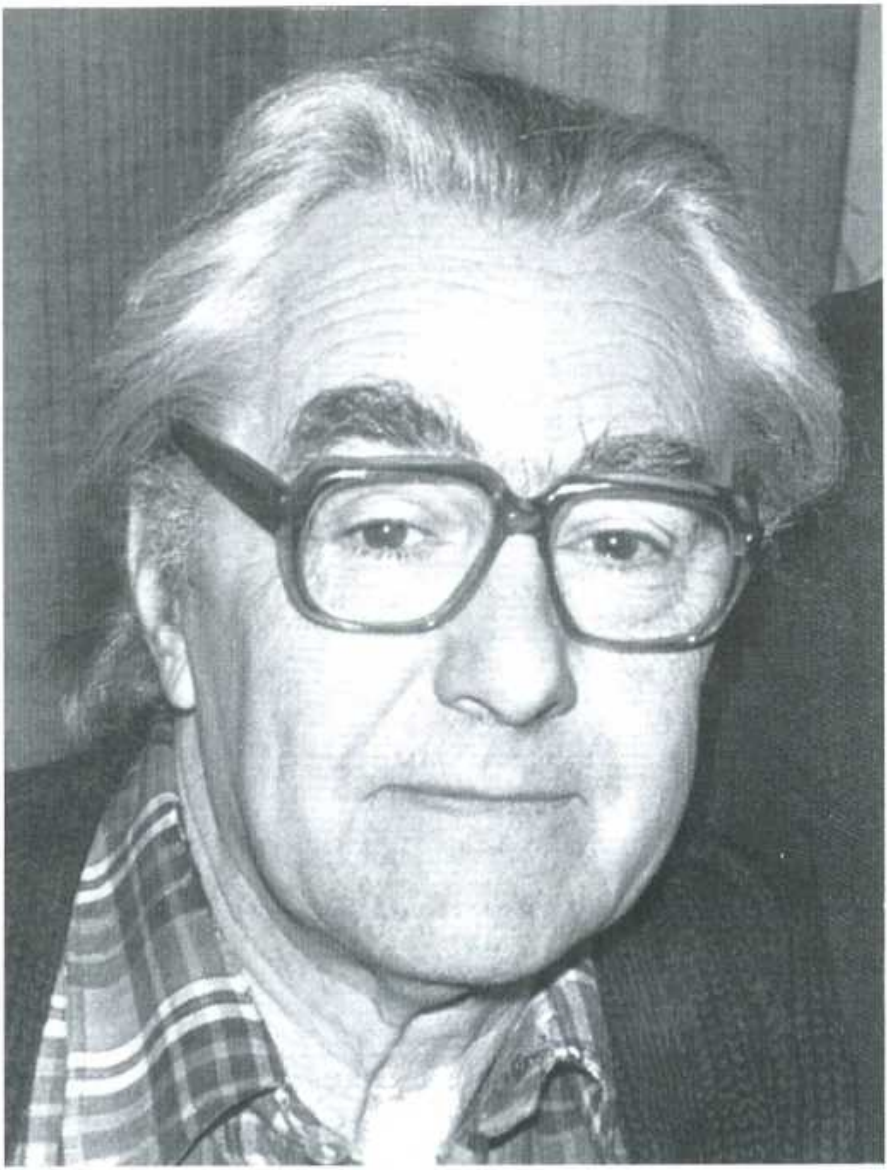


Москва. Конец 80–х годов





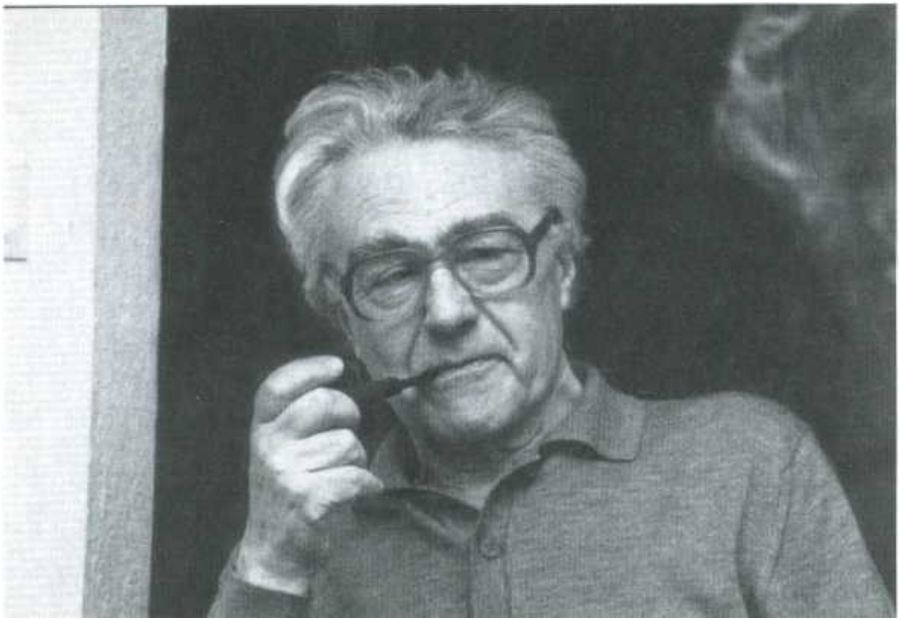
Лекция в Московском университете. Конец 80–х годов



Москва. Конец 80–х годов



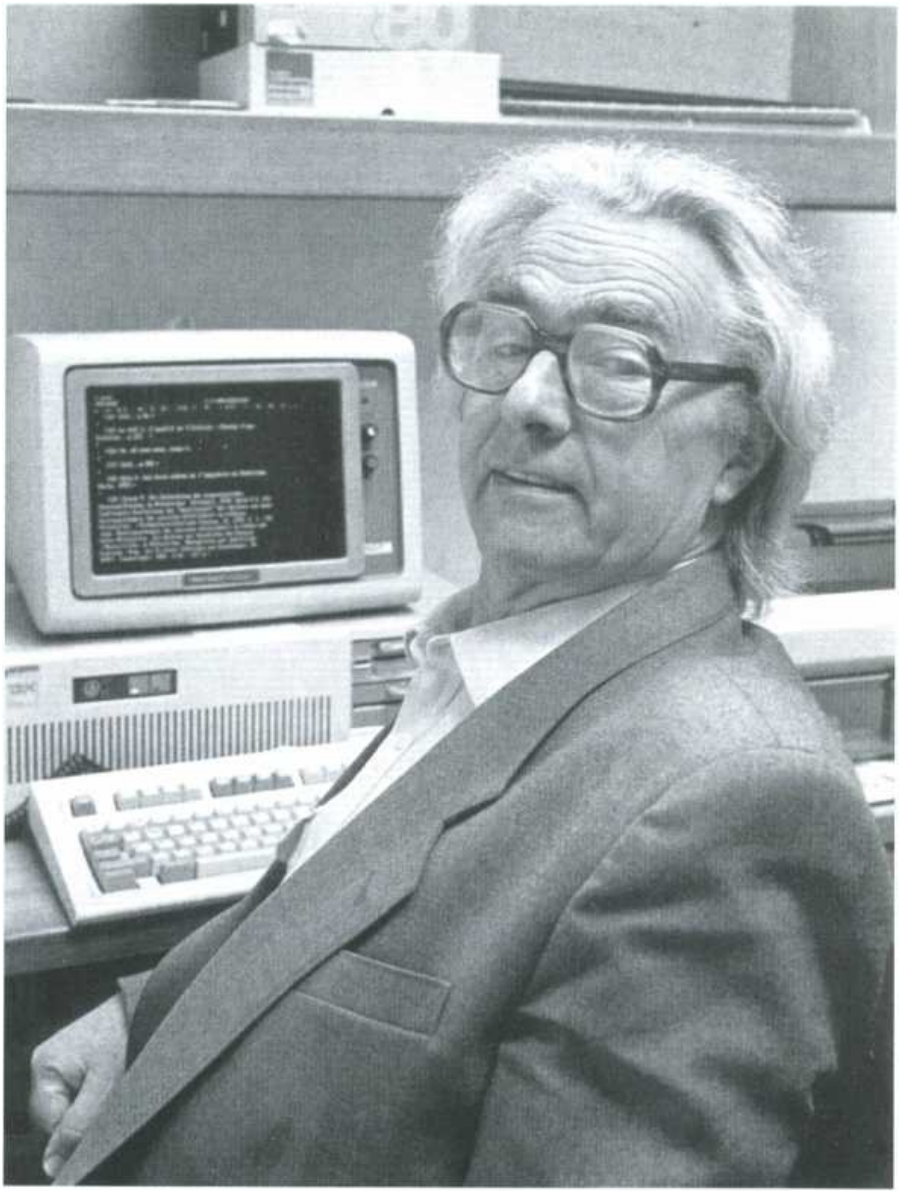
Москва. Начало 90–х годов



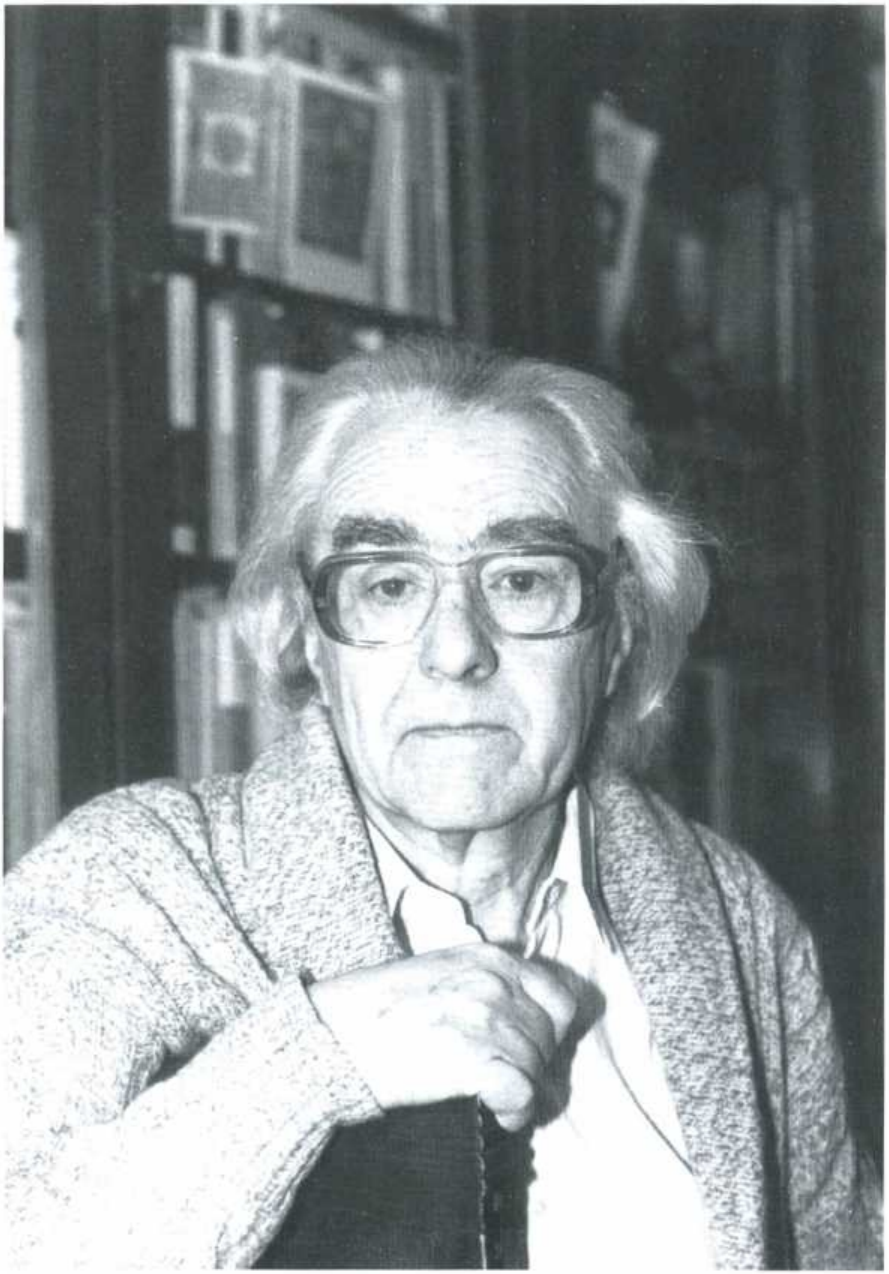
Германия. Начало 90–х годов



После церемонии присуждения звания почетного доктора Лундского университета. 1992 г.



В Центре Гетти. 1989 г.



Москва. Начало 90–х годов

Имеют один коренной недостаток — они верхогляды. Им нетрудно было разговаривать о Канте, Гегеле (о Марксе уже стало труднее). Но, рассуждая о проблемах того, что называлось историческим материализмом, они не прибегали ни к какой истории. О ней 99,99 % из них знали только то, что выучили по букварям в начальной школе. И при этом они рассуждали об историческом процессе! Здесь царило пренебрежение к

историкам, которые занимаются фактами, «фактографией», как они выражались. Историк своим конкретным материалом сыпал песочек в их замечательные буксы. На все их построения можно было дунуть — и все рассыпалось. Это меня очень смущало. С одной стороны, с ними можно было что-то обсуждать, но, с другой — быстро становилось ясно, что продуктивно обсудить ничего нельзя. И все же — после Калинина — пребывание в Институте философии АН СССР с 1966 до осени 1969 года для меня было временем очень важным, переломным, плодотворным. Не только многое было уже посеяно, но целый ряд плодов я успел пожать.

* * *

Я пропустил такой факт своей биографии, как защита докторской диссертации. В секторе истории Средних веков Института всеобщей истории я ежегодно выступал с докладами, излагая свои последние изыскания, почти в каждом сборнике «Средние века» на протяжении ряда лет появлялась моя статья или историографический обзор. И вот однажды во время очередной беседы с Сидоровой относительно темы следующего моего доклада она мне говорит: «Хватит докладов. В следующий раз сообщите нам, что вы заканчиваете докторскую диссертацию и в будущем году будете ее защищать». Тональность была директивная. Я удивился благожелательному отношению со стороны этой женщины — суровой, решительной, по — большевистски прямолинейной и подчас беспощадной. Но ее предложение отвечало моим интенциям. Работа приближалась к логическому завершению; источники были исчерпаны по первому разу, хотя в принципе они неисчерпаемы и по многообразию, и по обилию. Я говорю:

— Может, не надо торопиться?

— Нет, вы сделайте так, как я говорю. Я хочу взять вас в сектор, но могу вас взять только в качестве доктора. Кандидатом вас дирекция не пропустит. Не в ваших интересах затягивать дело.

Я поблагодарил Нину Александровну и объявил перед своим следующим докладом, что приближаюсь к завершению докторской диссертации. Н. А. спешила, она позвонила В. И. Рутенбургу, который руководил в Ленинградском отделении Института истории сектором Средних веков, и договорилась о внеочередной защите моей диссертации в Ленинграде. И он, специалист по итальянскому городу, согласился быть оппонентом

по моей скандинавской проблематике. Но когда Нина Александровна мне это сообщила, я со свойственной мне бестактностью и нерасчетливостью сказал, что в Ленинграде защищаться не буду.

— Как? Но там же вне очереди!

— Я лучше немного подожду. Моим главным оппонентом должен быть А. И. Неусыхин, а состояние его здоровья не таково, чтобы поехать в Ленинград. Прошу меня извинить, Н. А., но иначе я не могу.

— Тогда организуйте свою защиту как хотите.

Но это не значило, что мы с нею побили горшки. Назавтра она вызывает меня и говорит: «Через две недели в секторе будем обсуждать вашу диссертацию. Рецензентами я назначаю А. И. Неусыхина и Я. А. Левицкого». И смотрит на меня испытующе, подозревая мою нервную реакцию на вторую кандидатуру. «Как вы сочтете нужным, Н. А.».

Должно быть, многие даже и не слыхали о Левицком. Яков Александрович Левицкий, который числился специалистом по раннесредневековому английскому городу, был весьма малотворческой фигурой. Его привлек в Институт истории Е. А. Косминский, который с конца 40–х и в 50–е годы возглавлял большой авторский коллектив по подготовке обширного двухтомного труда «История английской революции XVII века». То было время, когда писали коллективные труды, посвященные истории той или иной страны, или, например, большой том по истории Французской революции. Правой рукой Косминского, не занимавшегося организационной стороной дела, и стал Левицкий. Со своими педантизмом и дотошностью он оказался вполне на месте. В «народе» — среди аспирантов, Я. А. называли Крошка Цахес. Были ли у него на макушке три золотых волоска, как у персонажа одноименной новеллы Гофмана? Я их не увидел. Но такая уж у него была невзрачная внешность. Он пользовался доверием Косминского и очень ревниво следил за тем, чтобы кроме него, Евгении Владимировны Гутновой, любимой ученицы Евгения Алексеевича, Зинаиды Владимировны Удальцовой и, может быть, еще кого-то, никто к персоне «академика», как он выражался, не был бы приближен. При этом, видимо, была достигнута полная гармония интересов этих приближенных, с одной стороны, и семьи Косминского — с другой.

Евгений Алексеевич относился ко мне хорошо, проявлял интерес и внимание. Когда его книга по аграрной истории Англии была издана на английском языке, он в разделе о трудах своей школы довольно подробно изложил содержание моей кандидатской диссертации, посвященной английскому

крестьянству. Это не могло не встревожить Якова Александровича: «молодой проныра» Гуревич претендует на внимание Е. А., а монополия на академика уже установлена и закрыта. И я понимал, что за моей спиной может быть кое-что сказано.

Вернусь к несколько более отдаленному прошлому. Зимой 1949–1950 годов, когда я закончил свою кандидатскую диссертацию, ее обсуждали в секторе истории Средних веков. Я решительно выступил против той схемы, которую применительно к франкскому государству на очень жестком уровне аргументации развивал в своей работе Неусыхин.

«История историка» (1973 год):

«Пытаясь припомнить, с чего начался мой конфликт с официальной медиевистикой (и со всем, что и кто за ней кроется), я чувствую себя неуверенным. С одной стороны, примерно до второй половины 60–х годов все шло, как кажется, спокойно […]. С другой стороны, истоки моих разногласий с А. И. Неусыхиным и др. восходят к более раннему времени. Они обнаруживаются уже в кандидатской диссертации. Изучение англосаксонских источников не подтвердило центральной идеи А. И. Неусыхина: о превращении надела свободного германца (в моем случае — кэрла) в свободно отчуждаемую частную собственность и о тесной связи этого процесса с упадком народной свободы, с “закабалением” и “закрепощением” “разорявшихся свободных” соплеменников. Я убедился в правоте Мэтланда, согласно которому мэноры “спускались сверху”, возникали в результате королевских пожалований власти над свободными людьми, безотносительно к тому, на какой стадии социально — правовой и имущественной дифференциации находились последние. Эта дифференциация, естественно, шла и в англосаксонском обществе, но не она определила процесс феодализации — активными носителями ее явились королевская власть и церковь».

И я в своем докладе об этом сказал. Старики — профессора Неусыхин, Смирин выразили сомнение: а так ли это было? А не перегибаете ли вы, Арон Яковлевич, палку? А как же внутреннее расслоение общины? (У А. И. Неусыхина ученики делились на «ближнюю дружину», которые говорили «община», и несколько маргинализованных — к ним относился и я, — которые говорили «общйна». Это обозначало известную стратификацию в окружении А. И.) Но если читать не Моргана и Энгельса, а источники, то убеждаешься, что эта пресловутая община в Салической правде и в других источниках едва ли прослеживается. Что же касается Англии, то здесь она появляется гораздо позднее, ближе ко

времени норманнского завоевания, а в Раннее Средневековье, когда растут мэноры, никаких следов общинной организации выявить не удается.

Старики, желая вправить мозги мальчику, который увлекся и все перекосил, осторожно, поскольку ко мне относились благожелательно и не собирались на меня давить, задавали вопросы, просили смягчить выводы. Но мне было двадцать пять лет, и дух противоречия во мне, по — видимому, уже развивался. Я кончил свое ответное слово заявлением, что не уступлю, и добавил: «На том стою и не могу иначе». Так я продемонстрировал свою непримиримость. Когда кончилось заседание, на меня наскочила разгневанная Фаина Абрамовна Коган — Бернштейн и начала кричать, что я эпатирую публику, что я все-таки не Мартин Лютер, и нечего мне представлять сектор Средних веков в виде Вормсского собора.

А Евгений Алексеевич не приехал. Он тогда был уже академиком, получил дачу в Мозжинке, персональную машину с шофером, ему было там хорошо и уютно, неважное самочувствие нередко препятствовало его поездкам в Москву. Но на другой день после обсуждения моей диссертации, предварительно созвонившись, я приехал к нему разъяснить несколько напряженную ситуацию, создавшуюся в секторе, и понял, что Е. А. был уже проинформирован о происшедшем и подвергся некоторому воздействию и, вероятно, дело не обошлось без Левицкого. Косминский говорил туманно, высказывал некоторые сомнения: ну, может быть, действительно не надо так резко, может быть, следует упомянуть о разложении общинных порядков.

Но я был распален вчерашним заседанием, не сдавался и прибегнул к единственно, наверное, правильному ходу. Я сказал: «Евгений Алексеевич! По отношению к источникам, которые мы рассматриваем, необходима сугубая осторожность, о чем вы всегда мне и другим своим ученикам говорили. И трактовка этого предмета Мэтландом, великим скептиком и вместе с тем созидателем концепции, мне кажется настолько убедительной, что не подлежит сомнению». А Мэтланд был одним из тех немногих историков, которых Косминский ценил больше всех. Конечно, он об этом не говорил: Мэтланд все же оставался «буржуазным ученым», поэтому не следовало его особенно хвалить. Но когда я произнес это, после некоторого разговора он согласился: быть по сему. Это означало, что моя диссертация может быть представлена к защите в нынешнем виде.

И вот теперь, в 1960 году, Сидорова назначила рецензентами моей докторской диссертации А. И. Неусыхина и Я. А. Левицкого.

Накануне обсуждения та дама, которая время от времени передавала мне (и другим) неформальные послания Нины Александровны, опять заводит со мной приватную беседу. «А. Я., я сегодня была свидетельницей такой сцены. Нина Александровна спрашивает Якова Александровича:

— Вы ознакомились с диссертацией Гуревича?

Он отвечает:

— Да.

— Ваше мнение?

Он преданно смотрит ей в глаза и говорит:

— Интересная работа, но очень мало Источников». И ждет ответной реакции. А Н. А., по словам этой моей знакомой, говорит: «Так вот вы и похвалите Гуревича за то, что при малом количестве источников он написал такую замечательную диссертацию».

На другой день обсуждение. Выступает Неусыхин, вдумчиво, подробно и, как всегда, очень дотошно рассматривает все проблемы.

Норвежских и исландских источников он сам не знал, но он читал Конрада Маурера, известного скандинависта, кстати, сына Георга Людвига фон Маурера, которого в свое время громил А. И. Данилов. Затем предоставляется слово Якову Александровичу, и тот среди прочего действительно говорит: «Я должен отметить выдающиеся качества этой работы; при небольшом количестве источников А. Я. справился с проблемой». Я не реагировал, хотя, конечно, был готов ответить Левицкому. Можно было утверждать, что работа неинтересная, выводы банальные (хотя, надо сказать, никто об этом сюжете у нас не писал), но что касается источников, я привлек их больше, нежели можно переварить с одного раза, и использовал их интенсивно. Здесь и областные судебники, т. е. записи древненорвежского права, гораздо более поздние и несравненно более пространные и подробные, чем Салическая правда или лангобардские законы, здесь и исландские саги о королях, и саги об исландцах, поэзия скальдов, данные топонимики и археологии, эдические песни и прочие источники разного рода, из которых трудно собрать связный букет, но можно двигаться вокруг предмета и рассматривать его с разных точек зрения.

Я защищал диссертацию уже после кончины Н. А. Сидоровой. Тут тоже произошел казус. Мне назначили оппонентами А. И. Неусыхина, А. И. Данилова, тогда — ректора Томского университета, и М. А. Барга. Ученый секретарь Института, созерцая список моих оппонентов, сказал: «У вас такие оппоненты дохлые (так он изящно выразился), назначим-ка мы вам

четвертого, “запасного игрока”». И назначили «запасным игроком» не кого-нибудь, а академика Сказкина. К моменту защиты Неусыхин заболел, Данилов сообщил, что из-за каких-то дел в университете приехать не сможет, а в то время отсутствие оппонента на защите не допускалось. Если он прибыть не мог, назначался еще один.

Защита происходила 1 марта 1962 года, я в ту пору еще работал в Калинине. Явились Сказкин и Барг, Данилов не мог приехать, Неусыхин — вне игры. Без меня меня женили, уговорив еще Зинаиду Владимировну Удальцову быть моим оппонентом. Членам ученого совета пришлось заслушать пять отзывов. Когда председатель совета объявил, что отзыв проф. Неусыхина содержит 44 страницы, напечатанных через один интервал, в зале закричали: «Огласите выводы!» Все прошло хорошо, но я так и оставался вне Института истории и только через четыре года оказался в Институте философии.

* * *

Я уже сказал, что середина и вторая половина 60–х годов были для меня очень продуктивными. Как раз в это время вышла книга Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада». Не знаю, как ее воспринимают теперешние молодые читатели, но тогда это был для нас интеллектуальный взрыв. Вообще, я уже освоился с работами представителей Школы «Анналов» и понимал значение осуществленной еще в начале XX столетия неокантианской критики традиционной историографии, уже нащупывал собственные пути и, главное, понял, что есть поприще, на котором я не буду повторять французских историков, а смогу сказать нечто свое.

Французские историки, принадлежащие к школе Блока, Февра, Броделя, те, кто шел за ними — Ле Гофф, Дюби, Леруа Ладюри и др., — были и остаются франкоцентричными, в лучшем случае, они романоцентричны. Они занимаются Францией, Италией, Испанией, Каталонией, а мир за пределами романоязычных стран, как правило, остается периферией для их сознания и для их исследований. Они могут совершать туда кратковременные экскурсы, но всерьез до сих пор опираются только на французский и романский материал.

Перед историком, который работает не в Париже, а в Москве, может открыться иная перспектива. Поскольку в университете я был воспитан Косминским и тем более Неусыхиным как германист, естественно, что германские сюжеты, а позднее — по

моему выбору — и скандинавская тематика привлекали меня все в большей степени. И мне казалось важным, не отказываясь от романских сюжетов, заняться германскими и выявить какое-то другое соотношение этих двух существенно разных миров — не для того, чтобы их совершенно разобщить, а для того, чтобы, наоборот, обнаружить общий субстрат под многообразием социальных и культурных процессов в Европе, происходивших разными темпами. Эти мысли зрели у меня уже в первой половине 60–х годов.

Скандинавия — это не просто специфический регион, который per se заслуживает внимания (это само собой разумеется, есть специальная, относительно обособленная отрасль исторического знания, скандинавистика). Но на этом полигоне удается обнаружить такие пласты средневековой культуры, которые в других странах, более христианизованных и романизованных, были подавлены ростом новых отношений, всеобщим господством латинского языка, засильем теологической мысли, которая более успешно, нежели на Севере, искореняла всякого рода, как мы тогда говорили, пережитки прошлого.

Таким образом, включение стран Севера в круг моих исследовательских интересов открывало возможность более целостного охвата средневекового мира. Еще раз подчеркну: существо дела заключается не в каком-либо экстенсивном расширениии фронта работ, но в выходе к принципиально новой проблематике. При этом особую важность вновь приобретало обращение к вопросам теории и методологии. Естественным следствием этой моей общей ориентации и явилось написание на протяжении 60–х годов таких книг, как «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» и «Категории средневековой культуры». Об этих наиболее существенных для меня сочинениях — речь впереди.

* * *

Вскоре после того, как меня зачислили в Институт философии, я получил приглашение из Института филологии, истории и экономики Сибирского отделения АН и недавно основанного в Академгородке Новосибирского университета; мне предложили прочитать спецкурс по социально — экономической истории Раннего Средневековья. Я поехал туда.

Обстановка в Новосибирске оказалась интереснее и полезнее для меня, чем в Институте философии в Москве. В Новосибирском Академгородке в тот период, между 1966 и 1968

годами, до Праги, царили дух научного поиска, свободомыслия, открытость новым идеям, стремление услышать нечто нетривиальное, дух очень критичного (хотя и лояльного) отношения к тем, кто лишь твердил зады. Историки, филологи, логики, экономисты, социологи и даже философы, которые там работали, между собой были тесно сплочены и постоянно общались, обсуждая интересовавшие их проблемы. Мои лекции, не скрою, проходили с большим успехом.

Я был вдохновлен теплым приемом в Новосибирске, где вся атмосфера была неформальная (ректор, молодой физик, советуется — открывать ему отделение социологии или это авантюра, я агитирую за открытие отделения социологии; не раз удавалось беседовать с переехавшим в Новосибирск из Ленинграда академиком А. Д. Александровым, математиком, интересным человеком) и придавала новые силы, рождала ощущение, что есть смысл в моей работе.

Содержанием моего курса было то, что вскоре выросло в книгу «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе». Ее отдельные части были уже опубликованы или подготовлены в виде статей.

Мне запомнился разговор со студенткой в Новосибирске, задавшей мне такой вопрос: «А скажите, вы пошли бы на костер за свои идеи?» Я говорю: «“Какое, милые, тысячелетье на дворе?”. Все-таки сейчас не 50–й год, а 66–й. За изучение истории Средневековья вроде бы никого ни прямо, ни косвенно к ответственности не привлекают. Но что касается смысла вашего вопроса, то вот ответ: отказываться от своих идей я не хочу и не могу. Со мной можно вести полемику по конкретным вопросам; вполне возможно, что я могу впасть в односторонность, в заблуждение, но отрекаться от своих взглядов под внешним давлением я в здравом уме и твердой памяти не стану, потому что убежден, что я на верном пути».

Она как в воду смотрела. Костром, конечно, не пахло, но вскоре выяснилось, что моя книга, посвященная генезису феодализма (делам уж таких минувших дней: редко я в ней переходил грань 1000 года), оказалась способной вызвать взрыв негативных эмоций у одних и энергичную поддержку у других. Но не буду забегать на несколько лет вперед.

В 1966–1967 годах работа над книгой «Проблемы генезиса феодализма» была закончена. Я начал публикацию отдельных ее разделов и уже писал другую книгу, впоследствии получившую название «Категории средневековой культуры». Временной разрыв между этими двумя книгами, а также книгой «История и сага», оказался минимальным. И когда в 1969 году разразились

громы над моей головой по поводу статей структуралистского толка, то стало ясно: под угрозой не только книга о раннем феодализме, уже отредактированная в издательстве «Высшая школа», но и рукопись «Категорий средневековой культуры», которая в это время тоже уже находилась в издательстве «Искусство».

Тут я хочу воздать должное незаметным труженикам издательств, редакторам, имена которых мы видим где-то на последней строчке последней страницы книги, а они ведь пытались, как могли, помочь авторам. Над рукописью книги «Категории средневековой культуры» уже работают в издательстве «Искусство». Раздается телефонный звонок. Редактор Елена Сергеевна Новик снимает трубку, ей дают понять, что говорят откуда-то из ЦК или из Комитета по печати (они могут ведь и не полностью себя обозначить).

— У вас лежит рукопись книги Гуревича? Нам нужно с ней ознакомиться.

Все мы понимали, что означало это «знакомство», как они будут меня к груди прижимать и что после этого от меня останется. Елена Сергеевна говорит:

— Ничем не могу помочь. Рукопись сейчас в производственном отделе, у меня ее нет.

— Хорошо, когда она у вас будет, пожалуйста, нам сообщите.

Заведующей редакцией в это время не было в комнате, и этому делу хода не дали, так что пронесло. А если бы ему дали ход, то, скорее всего, с моей книгой поступили бы так же, как поступали с книгами ряда моих коллег, которые душили «в колыбели».

Во второй половине 60–х годов я испытывал необычайный подъем, работал, не отрываясь, передо мной открылись новые необъятные перспективы, я ощущал настоящее раскрепощение и чувствовал, что нащупал очень важную стезю для научных занятий, с которой меня уже нельзя свернуть, и никакие критические замечания и угрозы на меня подействовать не могут. Но угрозы тут же и прозвучали. В 1969 году приятельница, которую мне удалось перетянуть из библиотеки АН в группу, работавшую над «Историей мировой культуры», говорит мне:

— У меня есть для тебя секретное сообщение. В МГУ назначено всесоюзное совещание по проблемам историографии. Руководящий доклад делает министр просвещения А. И. Данилов. Меня попросили по секрету передать тебе, что он будет критиковать ряд историков — за ревизионизм, структурализм и всякие другие «измы», и больше всех достанется тебе.

Я говорю:

— Откуда ты все это знаешь?

— Не могу тебе сказать, не спрашивай меня об этом. Я дала честное слово, что никто не узнает.

— Во — первых, мне не важны источники этих сведений, а во — вторых, — информацию я получил. Само совещание меня не интересует. Если Данилов сочтет возможным ознакомить меня с критикой — хорошо, а нет — так караван будет двигаться дальше.

В 1969 году совещание состоялось. Post factum выяснились детали. Данилов не хотел выступать в одиночку, ему требовалась научная поддержка, и он заручился ею со стороны академика С. Д. Сказки — на. Сказкин был человеком добрым, мягким, но абсолютно управляемым всеми, кто имел отношение к власти, к авторитету, кто мог внушить ему некоторый трепет, — а его легко было напугать. Данилов договорился с профессорами Е. В. Гутновой и А. Н. Чистозвоновым об их выступлениях в прениях и, намереваясь несколько расширить фронт, приехал к своему учителю А. И. Неусыхину, тогда уже тяжело больному человеку, к которому всегда относился с большим почтением и уважением, и просил его принять участие в обсуждении. Но Александру Иосифовичу даже на работу в Институт истории трудно было приезжать, и он, конечно, отказался, тем более когда Данилов стал раскрывать ему свои карты и говорить, что он с принципиальных марксистских позиций «воздаст должное» А. Я. Гуревичу, Ю. Л. Бессмертному, философу Виткину, крупнейшему нашему специалисту по античной истории Е. М. Штаерман, М. А. Баргу, известному специалисту по русской истории Л. В. Даниловой. Александр Иосифович понял, что поддерживать Данилова — это последнее дело, тогда он будет замешан во что-то совершенно неприемлемое. Неусыхин отказался. Это не помешало Данилову в своем докладе (с текстом его я потом ознакомился, а на само совещание меня не звали, да я и не пошел бы на такого рода «радение») сослаться на Неусыхина, говоря, что «эти структуралисты и ревизионисты» замахиваются на достижения советской науки, в частности на труды А. И. Неусыхина.

«История историка» (1973 год):

«Но тема Неусыхина в этой истории — особая и грустная для меня… Писать о ней трудно и горько.

Постепенно выяснилось (из рассказов самого А. И. и его дочери Елены Александровны), что незадолго до своего выступления на историографической конференции в МГУ Данилов приехал к Александру Иосифовичу (он время от времени наносил ему визиты и сохранил эту привычку, даже став министром) и рассказал ему о готовящемся докладе, назвав лиц,

коих намеревался критиковать. По словам Неусыхина, Данилов занял позу борца — одиночки: все, дескать, будут против него, кроме Левицкого и Гутновой, но он тем не менее выступит. А. И. Неусыхин якобы указал Данилову на разницу между упомянутыми его сторонниками и историками, которых он намерен критиковать, не в пользу первых. Но Данилова эти соображения не интересовали. Вообще, насколько я понял, визит его к А. И. Неусыхину и откровенность в отношении доклада имели одну цель: заручиться поддержкой Александра Иосифовича! Он прямо предложил ему принять участие в заседании и выступить в прениях. Что ж Неусыхин? Отговорился плохим здоровьем. Данилов предложил отвезти его в МГУ и домой на своем автомобиле. Неусыхин отклонил это предложение.

Но как же посмел Данилов сделать Александру Иосифовичу такое предложение?! Значит, он мог рассчитывать на согласие? Как осмелился он в тексте доклада (и это напечатано) прямо противопоставить меня Неусыхину, выступив в роли его защитника и союзника? Не сомневаюсь в том, что во время прежних визитов к нему Данилова Неусыхин делился с ним своими возражениями мне, как он делал это в беседах с другими своими учениками, о чем мне было отчасти известно. Данилов знал, что Неусыхин со мною ле согласен, и хотел это использовать. Пока А. И. Неусыхин был повинен лишь в неосторожности, в том, что, не подумав, откровенно говорил с таким внутренне, безусловно, чуждым ему человеком, как Данилов. То, что в ответ на призыв Данилова поддержать его выступление А. И. не выставил его из своего дома и вообще не дал ему явного отпора, можно объяснить растерянностью старого, действительно тяжело больного человека. Все же к нему пришел его ученик, знающий онёры, всегда любезный с ним и в свое время за него заступавшийся перед Н. А. Сидоровой. Это все понятно — непонятно и, осмелюсь сказать, непростительно дальнейшее.

А. И. Данилов выступил с докладом, затем напечатал его в “Коммунисте” и — продолжал посещать дом Неусыхина! Вскоре после того, как состоялся доклад, я, зная уже, что он будет опубликован в “Коммунисте”, позвонил Александру Иосифовичу и попросил о встрече. А. И. понимал, что речь пойдет о последних событиях и о его позиции. Он назначил мне свидание, но накануне моего визита ко мне внезапно явилась его дочь Елена Александровна, с которой у меня и моей жены всегда были добрые, но не близкие отношения и которая никогда к нам не приходила. Она “случайно оказалась” рядом с нашим домом.

Смысл визита был ясен. Хотели выяснить, что я намерен сказать А. И., и предотвратить всякие предложения о действиях. Не знаю, был ли А. И. осведомлен об этом шаге дочери или лишь его жена, Маргарита Николаевна, возможно, что он и не знал.

Я не скрыл от Е. А., что имею в виду не какое-то заступничество А. И. за меня и других — оно было и невозможно, — а ограждение его собственного доброго имени. Никто не должен сомневаться в том, что А. И. непричастен к выходке Данилова! Для того, чтобы рассеять все подозрения на сей счет, необходимо немногое: записка Неусыхина Данилову, уведомляющая его о том, что ввиду известного его поступка их отношения прекращаются. Копия этой записки должна быть известна историкам. Елена Александровна сказала, что это невозможно. Почему же? Потому, что невозможно. Я выразил сомнение в целесообразности в этом случае моего посещения Александра Иосифовича и увидел, что такой вариант более всего устроил бы дочь и, видимо, жену.

На другой день, однако, я решил все-таки пойти. Почему моя договоренность с А. И. должна быть нарушена в зависимости от прихоти его дочери? Ведь его позиция еще не была ясна. Я пошел. То была одна из последних моих встреч с А. И. Неусыхиным и самая тягостная из всех. Обычно первая часть моего визита происходила тет — а-тет, жена и дочь приходили позже, к чаю, на сей раз жена присутствовала при нашей встрече и участвовала в беседе с самого начала.

Беседы, собственно, не было, я молчал, подавленный его словами. Речи были воистину странные. Я не сделал никакого предложения, да в том, видимо, и не было нужды. Елена Александровна все уже передала, и то, что мне было сказано, являлось ответом. Дело происходит, напомню, весною 1969 года, и я слышу речи о том, что А. И. и прежде, когда был моложе и здоровее, не выдержал бы пыток и допросов, а теперь и подавно, и все в таком же роде… О Данилове говорилось с бессильным возмущением: Маргарита Николаевна, если он еще появится в их доме, прогонит его метлой. Я понял: говорить не о чем. Обе стороны все прекрасно понимали, но страх сильнее логики и даже представлений об этике. А я помнил время, когда в разгар кампании против “космополитов” А. И. с достоинством ответил своему любимому ученику В. Дорошенко, который, отрабатывая свою ставку в МГУ, продал своего учителя. И мы, ученики, дружно аплодировали отповеди Александра Иосифовича, не думая о том, какие “розги” могли нас ожидать, — то была естественная человеческая реакция на подлость. Правда, помню я и другое. Прошло совсем немного времени, может быть, неделя. И

тот же А. И. был принужден публично покаяться в своих ошибках. […] Однако за это покаяние трудно осуждать: то был конец 40–х годов. Но спустя двадцать лет отговариваться страхом концлагеря и пытки… уму непостижимо!»

Так я воспринимал происшедшее по горячим следам. Ныне я отчетливо сознаю, что был чрезмерно разгорячен и в силу этого несправедлив к учителю. Он был уже очень слаб здоровьем, и нужно было пощадить его чувства, как и чувства его семьи. Каюсь, грешен.

После того, что Данилов пятнадцать лет назад сделал с Петрушевским, эти его новые подвиги не стали новостью. Он преследовал цели не только и не столько научные, ему нужно было продолжать восхождение на академическом и каком-то другом поприще. Он уже в свое время был ректором Томского университета, затем стал министром просвещения, мог стать директором академического института. Человек вполне от мира сего, к тому же фанатично настроенный, однажды он признался своему другу, а тот это пересказал: «Знаешь, у меня есть одна черта, не знаю, хорошая ли, но это *моя* черта — от того, что я сказал, отступиться не могу, и свои взгляды пересмотреть не в состоянии». Может быть, такая твердость и хороша, но, значит, человек не слышит того, что говорят другие.

Доклад А. И. Данилова был заслушан при энтузиазме участников совещания, а затем дважды опубликован — окончательный вариант в журнале «Коммунист», основном теоретическом органе ЦК КПСС, а первый вариант — в Ученых трудах Томского университета. Данилов обвинил вышеупомянутых историков в том, что они пересматривают основные положения марксизма, опираясь при этом на разработанную в буржуазной гуманитарной науке современного Запада так называемую структуралистскую теорию, которая элиминирует историю, игнорирует классовую борьбу, все сводит к ка- ким-то абстрактным структурам и т. д. и т. п. Он владел пером и все это изложил аргументированно, по пунктам (правда, у него была одна стилистическая особенность — он не знал, как употребляется в русском языке глагол «суть», и говорил: «Марксизм суть…», что придавало его высказываниям непререкаемость). Я ознакомился с этим текстом, и первоначально моя позиция была довольно индифферентной. Ну, хорошо, он меня и других коллег изругал, ну и Бог с ним. Что же с ним спорить! Он обвиняет меня в том, что я не марксист, а я буду доказывать, что я не рыжий, что я марксист? Но зря я отнесся к этому столь спокойно.

Как раз в это время в связи со смертью Юдина прекратилась

работа над «Историей мировой культуры». Меня вызывает сменивший Константинова новый директор Института философии Копнин, между прочим, друг Данилова. «Сектор истории культуры, — говорит он, — упраздняется как не соответствующий профилю философского института. Сотрудники, которые являются профессиональными философами, переводятся в другие подразделения нашего Института. Вы же и некоторые другие историки, которые здесь оказались, нам не нужны. В ближайшее время мы проведем сокращение. Что касается Института всеобщей истории, то у него свои критерии подбора кадров». То есть он дал мне понять, что отсюда меня выпирают, а куда ты, голубчик, денешься, это его не интересует.

Все это было не очень весело, и я понял, что надо обороняться, а лучший способ защиты — это нападение. И я решил ответить Данилову. Конечно, пришлось спуститься с высот науки на тот ринг, где помахивал своими боксерскими перчатками министр просвещения. Я написал большое письмо в редколлегию журнала «Коммунист», опровергая пункт за пунктом обвинения Данилова; доказывал, что настоящие антимарксистские положения высказывает он, а не я. Такой ход всегда возможен, потому что марксизм «умеет много гитик», можно сослаться на самые противоположные высказывания и тезисы. И вообще, не нужно передергивать, чтобы показать, что марксизм, несмотря на увлечение Маркса социологией и экономикой, все-таки предполагает историческое развитие и, более того, кладет его в основу своего учения, что антропологический подход, учитывающий человека и его эмоциональный мир, не был чужд Марксу, во всяком случае, на ранних стадиях его творчества. И я утверждал, что Данилов, следовательно, трактует Маркса односторонне, упрощая его в худших сталинистских традициях. Поскольку я не питал никаких надежд на то, что в «Коммунисте» позитивно отреагируют на мое письмо, я послал копии в редакцию журнала «Вопросы философии» и работникам ЦК партии, которые числились руководителями идеологического фронта.

Наступает лето, угроза увольнения начинает реализовываться, у нас с 1957 года ребенок, так что лишиться работы означало для меня немалую беду. Да и вообще — надо сопротивляться, надо показывать зубы.

Пришел ответ из редакции «Коммуниста»: мы получили ваше письмо, редакция по — прежнему придерживается взглядов, изложенных Даниловым, и не считает возможным развертывать дискуссию на страницах нашего журнала. Я размышляю над тем, куда же мне податься, чтобы как-то существовать.

«История историка» (1973 год):

«…В один прекрасный августовский день начались события, совершенно неожиданные и не вполне объяснимые и поныне. Вероятно, в высоких сферах это обыденное явление, но я-то прикоснулся к внешнему кругу эмпирея впервые […].

В тот день я случайно приехал в Москву с дачи. Телефонный звонок. Говорит сотрудник отдела философии редакции журнала “Коммунист”:

— Мы, А. Я., по поводу вашего письма. Не могли бы вы зайти в редакцию?

— Но ведь я уже получил ответ редакции…

— Все же хотелось бы переговорить.

— О чем же еще говорить? Позиция редакции мне ясна; вам чего не хватает? Еще нужно “галочку” поставить?

Я, признаться, был раздражен и мог ожидать от встречи с ними лишь бессодержательного и безрезультатного словопрения — смысла происходящего я еще не уразумел. Тогда трубку берет зав. отделом философии Мчедлов и уговаривает (буквально) меня зайти к нему. “Ну, ладно, вы пробудили во мне любопытство, приду”. Являюсь: очень любезный, явно неглупый зав. отделом (специалист по современному Ватикану). Начинается продолжительный разговор, постепенно приводящий меня в состояние, близкое к изумлению.

— Вот вы, А. Я., прислали нам письмо по поводу статьи А. И. Данилова. Может быть, в его статье и есть перехлесты, но я хочу вас заверить, что редакция не имеет ничего против вас лично, как и против других упомянутых в статье ученых. Мы хотели лишь предостеречь против возможных ошибок.

— Простите, речь в статье Данилова идет не о возможных “отклонениях” от Учения, а о содеянных уже прегрешениях структуралистов.

— Возможно, но, повторяю, в намерения редакции входило только предотвратить потенциально возможные нарушения. Кроме того, ведь в вашем ответе тоже не все справедливо. Вот вы цитируете Ленина (не помню, какая там цитата), а ведь эти слова можно понимать и по — другому.

— Но я прислал вам письмо, а не статью, прекрасно зная, что оно никогда не будет опубликовано, а потому и не редактировал его; не старался я особенно скрыть и своего личного отношения к статье Данилова и даже раздражения, естественно, вызванного несправедливостью нападок.

Мчедлов далее соглашается со мною, что из статьи Данилова не видно, чтобы тот понимал, что такое структурализм. И вдруг задает мне (?) вопрос: “Собственно, кто такой Данилов? Чем он

занимался до того, как стал министром?" Я дал ему краткую и достаточно сдержанную характеристику, подчеркнув лишь, что Данилов всегда был специалистом по критике буржуазной историографии, но прежде адресовал ее зарубежным или покойным русским историкам (Д. М. Петрушевскому), а теперь переключился на коллег. Никаких возражений и комментариев Мчедлова.

На уже описанной стадии разговора мне стало ясно, что редакция получила свыше указание дезавуировать (устно, разумеется) статью Данилова в беседе со мною. Уже не было речи об ошибках критикуемых, но о туманной возможности таковых; ничего не говорилось о неверности в целом моего ответа, но только о каких-то спорных частностях в нем; сам Данилов выглядел в этой беседе лицом сомнительным и малоавторитетным. Главное, что следовало с очевидностью из беседы с Мчедловым, — я не являюсь "виновной стороной", как явствовало из вполне определенной статьи Данилова! Статья последнего не получила поддержки "наверху", хотя неким "верхом" была инспирирована или во всяком случае одобрена. Более прямого отмежевывания, казалось, от редакции журнала нельзя было ожидать, но — последовал разговор такого содержания. Мчедлов:

— Вот вы бы и написали для "Коммуниста" статью о возможности применения структурных методов в историческом исследовании.

— Вы серьезно? Сначала журнал ставит меня чуть ли не вне марксизма, а затем намерен публиковать мою статью по вопросу, в котором считает меня еретиком?!

Напоминание о статье Данилова явно излишне и бестактно, ведь она достаточно ясно дезавуирована. Но я намерен выжать максимум из создавшейся ситуации, не лишенной комизма. Мчедлов говорит:

— Я вам делаю это предложение как зав. отделом и член редколлегии.

— Это ваша инициатива или она согласована с главным редактором?

— Я готов договориться с ним.

— Пожалуйста, тогда я обдумаю ваше предложение, хотя, признаюсь, сейчас мне не до того: мне нужно искать работу. После появления статьи в "Коммунисте" Копнин меня уволил.

— Ну, вряд ли здесь есть связь… во всяком случае, прямая.

— Не прямая, так диалектическая.

— Я ничего об этом не знал. Я обещаю вам сообщить об этом в ЦК и уверен, что будут приняты меры. А статью все-таки

напишите.

Я не скрыл от него своего скепсиса в отношении правдоподобности появления статьи, которая так или иначе содержала бы критику точки зрения Данилова. Расстались, условившись, что через неделю я позвоню.

Я позаботился о том, чтобы Жукову (акад. Е. М. Жуков — в то время директор Института всеобщей истории АН СССР. — *Ред.)* стало известно об этом любопытном разговоре. Уж кто-кто, а он должен был прекрасно понимать его смысл и подтекст! Звоню через неделю. Мчедлов: “Главного не было, я договорился о вашей статье с заместителем”. Мчедлов согласился с моей просьбой письменно подтвердить предложение написать статью, но, конечно, писать они ничего не стали. Что-то вынудило их сделать мне такое предложение, но с самого начала мне было ясно, что с их стороны это был лишь тактический ход и что в их намерения так же мало входило печатать такую статью, как и в мои — писать ее для них. В том же телефонном разговоре Мчедлов сказал, что он сообщил в Отдел науки о “поступке Копнина” и что реакция не замедлит.

И действительно, еще через неделю, вновь заехав в Москву, я нашел открытку из ЦК: меня просил позвонить инструктор Отдела науки Кузнецов. Звоню. Говорит, что неоднократно звонил мне и никак не мог застать. Может ли он считать, что беседа в редакции “Коммуниста” меня удовлетворила и вопрос закрыт? Наверное, следовало бы с ним встретиться, может быть, что-то еще прояснилось бы, но очень уж мне не хотелось, и я отвечал, что с моей стороны необходимости в дальнейших переговорах нет. Была упомянута моя будущая статья. Кузнецов просил в ней прежде всего разъяснить, что такое структурализм вообще, ибо это очень не ясно. Я опять подчеркнул, как и в разговоре с Мчедловым, что сейчас мне не до того, я ищу работу.

Кузнецов говорит: “Что касается работы, то в ближайшее время вас, вероятно, пригласит для обсуждения этого вопроса Е. М. Жуков, и я уверен, что все решится положительно. Прошу вас, А. Я., в случае затруднения держать меня в курсе дела”. Я: “Благодарю за предложенную помощь”.

Да, забыл: в начале этого телефонного разговора Кузнецов оговорился — он сказал о моем письме, которое *им* было направлено. Но все делото в том, что им как раз ни письма, ни копию его я не посылал. Ясно, что к ним оно пришло “сверху”, от секретарей ЦК. Вот где собака зарыта, по — видимому! Где-то наверху некто нечто сказал, и завертелись и в Отделе науки, и в редакции “Коммуниста”. Конечно, дело не в моей персоне и не в содержании моего ответа Данилову. Просто, как я полагаю, мое

письмо было использовано в какой-то более крупной игре, в которой Данилов не сумел выиграть, в результате чего и был дан “задний ход” во всей истории со “структурализмом”».

Вы понимаете, какова макаберность и странность ситуации? Попасть в Институт всеобщей истории историку со стороны в то время было довольно трудно, это рассматривалось как некоторая привилегия. Институт отчасти был пристанищем для детей и родственников высокопоставленных лиц. Целый ряд послов, министров, секретарей ЦК пристроили своих чад в академических институтах. Простому смертному вроде меня прийти туда было невозможно. Правда, М. Я. Гефтер в то время, когда я попал в Институт философии, говорил мне: «А. Я., мы это дело переиграем, я вас к себе возьму». Но дальше этого не пошло, и я тогда понял, что устраиваю его только в качестве однократного докладчика, а сотрудником он брать меня не хочет, и я не буду просить. Надо сказать, что как раз в это время возглавлявшийся Гефтером сектор методологии стоял перед реальной угрозой закрытия, вскоре и осуществившейся.

Зарплата тогда все-таки обеспечивала более или менее достойное существование, работа не пыльная, заполняешь план — карту, пишешь отчет, никого не интересует, выполнил ты свой план или нет. Я работал потом в Скандинавской группе, и заведующий этой группой говорил одной даме, которая всю жизнь писала про «линию Паасикиви» — вот бывают такие линии, которыми можно кормиться всю жизнь: «Лидия Антоновна, вам нужно то-то и то-то сделать». Она отвечала: «Александр Сергеевич, мне некогда, мне котлеты надо жарить». Что тут можно возразить? Летом и осенью 1969 года в Институте философии шло дело к моему увольнению. Наконец, меня вызывает директор Института всеобщей истории.

«История историка» (1973 год):

«Я знал, что с директором Института всеобщей истории Жуковым велись переговоры о моем принятии на работу, причем особенно энергично вел себя академик Н. И. Конрад, с которым меня связывали теплые отношения. (Я познакомился с ним незадолго до того, пригласив его писать для “Истории мировой культуры” раздел о средневековой культуре Японии, что он и сделал, — эта рукопись должна быть издана в “Искусстве” в виде книги.) Николай Иосифович (он скончался в 1971 году в возрасте почти 80 лет) был редким по обаянию и молодости чувств и реакций на происходящее человеком, красивым духовно и физически, отзывчивым и честнейшим, — “белая ворона” среди сановных старцев Академии. Е. М. Жуков некогда был его учеником, и Н. И. настаивал на моем зачислении в Институт

всеобщей истории. Но такие вещи Жуков сам не решал, он тоже советовался, где нужно. Так шло лето. Во время отпуска я продолжал собирать материал для книги “История и сага”, которую написал в конце того же 1969 года. Не прерывать занятий, несмотря ни на что! Этим только и можно держаться».

Перед тем, как я явился пред лицо академика Жукова и его заместителей, меня ловит в коридоре ученный секретарь Института З. С. Белоусова и говорит: «А. Я., я вас умоляю, не толкайте права и вообще поменьше противоречьте». Я выражаю удивление: «Я не скандалист и толкать права не собираюсь. Пригласят меня — я, наверное, соглашусь, если не будет поставлено никаких условий, но высказывать что-то лишнее — мне кажется, что здесь не тот форум».

Директор Института академик Жуков сообщил, что меня зачисляют в Институт всеобщей истории, забыв даже предложить мне написать заявление о приеме на работу. Правда, директор тут же сказал заведующему Скандинавской группой, куда я был определен (о секторе истории Средних веков для меня, как и для ряда моих коллег — медиевистов, речь не возникала ни тогда, ни раньше, ни после): никакого структурализма! Заведующий мой был простая душа (нужно взять эти слова в кавычки, слово «душа» в особенности); он мне эти слова передал. Я сказал: «Ты мне этого не говорил, я этого не слышал, воспринимать подобные директивы я не способен».

Так вследствие нападок на меня и обвинений в структурализме, ревизионизме и вообще во всяких нехороших «измах» я оказался осенью 1969 года сотрудником этого богоспасаемого института, где я уже и пребываю более тридцати лет.

VI. Обсуждение и осуждение книги о феодализме

Замораживание «оттепели». — Реакция на публикацию книги о феодализме.

— Идеи книги: включение в поле зрения историка германо — скандинавских источников; проблемы экономической антропологии; человеческое содержание исторического процесса. — После окончания Пражской весны.

— Гуревич «преувеличивает роль католической церкви». — Разобщенность гуманитариев.

Мои мемуары грозят превратиться в своего рода perpetuum mobile. Вспоминаются новые куски моей поначалу казавшейся не чрезмерно богатой внешними событиями жизни, в памяти всплывают новые детали, не всеми легко пренебречь, и приходится на ходу перестраиваться. Но я хочу придерживаться того принципа, который провозгласил с самого начала: речь не о моей жизни, хотя само по себе ее описание, как всякая автобиография, имеет право на существование. Мой замысел в ином — посмотреть, как процесс глубочайшей трансформации исторической науки, происходивший во второй половине и в особенности в последней четверти XX столетия, переживался мною — участником и свидетелем этого процесса, — посмотреть на него изнутри. Естественно, что детали моей жизни не могут не фигурировать, хотя бы в качестве иллюстраций того движения, которое интересно именно в конкретных проявлениях, лицах, событиях, фактах, а не просто в виде сглаженного, обезличенного описания.

Историк, как и писатель, важен нам не только как создатель некоего труда. Можно использовать его выводы и наблюдения, из его работ можно черпать фактический материал, но мне историк, если это самостоятельно мыслящая фигура, крупный ученый, не менее интересен как личность. Что это за человек? Характеризуя университетскую кафедру, на которой я учился, я не мог не остановиться на персоналиях. И точно так же для меня поездки на Запад имели прежде всего вот этот смысл — посмотреть, а кто

такие эти Леруа Ладюри, или Жак Ле Гофф, или Карло Гинцбург?

Когда я читаю интересное исследование, мне важны не только методы работы, постановка вопроса, выводы автора. Все время возникает вопрос, который на первый взгляд может показаться иррелевантным, но на самом деле он очень даже релевантен к содержанию работы: какова личность того человека, который выражает свой взгляд на исторический процесс, пересматривает существующие точки зрения или повторяет прежние, какое преломление получает все это в личности данного индивида?

Неизбежная сращенность, органическая связь человека и его творчества мне кажутся очень существенными. В моей жизни это было особенно важным, потому что сплошь и рядом обнаруживалось: тот или иной мой коллега, обладающий несомненными научными потенциями, не создал того, что он мог создать, потому что у него не хватило характера, не хватило воли, стойкости для перенесения всех невзгод, которые на него обрушились, не хватило силы для того, чтобы устоять, несмотря на ту мерзкую атмосферу, в которой мы росли детьми, мужали, продолжали жить вплоть до конца истекшего столетия. Ум никому не помешал, но главное для человека — его характер, и как раз на этом споткнулись очень многие.

Вот пример. Мы с Сашей Некричем стоим в коридоре старого здания Института на ул. Дм. Ульянова. №et наш общий знакомый, мой старый приятель. Держится противоположной стенки и старается проскользнуть незамеченным. Я спрашиваю: «Саша, что с ним?» — «А ты не знаешь? Я несколько лет тому назад ему сказал: вы печатаете книгу “Сколько-то веков агрессии”, в заключении рассказываете о том, что у нас официально называлось “чешской контрреволюцией”, и приветствуете вторжение в Чехословакию советских войск. Если вы не снимете этих страниц, я вам руки не подам».

И этот джентльмен не убрал позорных страниц. Он был, казалось, порядочный человек. Человек талантливый, необычайных знаний и памяти, погубивший себя как историка в силу своего характера. Трусость, приспособленчество приходилось встречать часто. И те, кто выдержал испытание, скорее могли создать что-то полезное и ценное, даже при средних способностях.

* * *

Выступление А. И. Данилова на Всесоюзной

историографической конференции в МГУ летом или осенью 1969 года, публикация его доклада в виде двух статей не стали неожиданностью; внимательный наблюдатель мог бы даже в какой-то мере все это прогнозировать, потому что на протяжении нескольких предшествующих лет уже намечались определенные шаги в сторону от хрущевской «оттепели», причем это происходило при участии самого же Хрущева.

Одним из первых свидетельств отката были его встречи с художниками и писателями: Ходил такой анекдот: что напишут о Хрущеве во всемирной энциклопедии, издаваемой в Китае в 2000 году (2000 год, казалось тогда, — это далекое светлое будущее)? «Искусствовед эпохи Мао». Хрущев высказывался по вопросам искусства, о чем из ныне живущих может свидетельствовать скульптор Эрнст Неизвестный. Когда Хрущев явился на выставку в Манеже и учинил погром целой группы художников, Э. Неизвестный стал в дверях своего зала и не пустил туда первого секретаря ЦК КПСС, который намеревался поносить «пидораса». Скульптор буквально грудью отстоял право показа своих оригинальных работ.

Это было время, когда арестовали и судили Синявского и Даниэля за то, что они, понимая невозможность публикации своих художественных произведений в нашей стране, напечатали их под псевдонимами за рубежом. Их выследили, схватили с поличным, подвергли судебному преследованию и отправили в лагерь.

Начали активно действовать затаившиеся на время «оттепели» и растерявшиеся было бойцы исторического фронта, желавшие сохранить от сталинизма так много, как им казалось необходимым, или даже восстановить его полностью. От них исходили яростные нападки на вышедшую в 1966 году в серии научно — популярной литературы небольшую книгу Александра Моисеевича Некрича «1941. 22 июня». Дискуссия носила резко выраженный силовой характер, у автора нашлись, естественно, и сторонники и союзники, тем опаснее казался он власть предержащим. Кончилось тем, что на Некрича был наложен запрет, он не мог печатать свои научные труды, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС исключил его из партии, что тогда равнялось средневековому церковному преданию анафеме.

В это же время, если мне не изменяет память, у историков происходила получившая большой резонанс дискуссия о работе Александра Александровича Зимина, посвященной проблеме происхождения, датировки и подлинности «Слова о полку Игореве». Эта дискуссия тоже превратилась из научного предприятия в нечто гораздо более сложное. О. Г. Чайковская

рассказывала мне, как она в качестве корреспондента газеты «Известия» явилась на эту дискуссию в Институт истории и не была допущена в зал. Два дюжих молодца, стоявшие в дверях, сославшись на распоряжение академика — секретаря Е. М. Жукова, сказали, что не велено пускать посторонних лиц. О. Г. Чайковская предъявила свою корреспондентскую карточку, но проникнуть на это судилище все же не смогла. На Зимина обрушились далеко не в парламентском тоне ученые, не склонные допустить какое-либо сомнение в аутентичности «Слова», в том числе академики Д. С. Лихачев и Б. А. Рыбаков.

В те же годы в Институте всеобщей истории был закрыт сектор методологии, которым руководил М. Я. Гефтер.

При МГУ длительное время существовала театральная студия, которой руководил тогда еще совсем молодой талантливый режиссер Марк Розовский. Его постановки постоянно вызывали скрежет зубовный и в партийном комитете МГУ, и в райкоме, и в горкоме партии. Наконец, в декабре 1969 года секретарь партийного комитета университета господин Ягодкин (может быть, следует произносить Ягодкин, но мы предпочитали называть его именно Ягодкин, чтобы ассоциации были абсолютно ясны), о котором еще, к сожалению, придется вспоминать, закрыл эту студию. Розовский продолжал (и продолжает) работать, но уже вне контактов с МГУ.

Буквально в то же самое время был отстранен от работы в МГУ Ю. А. Левада, один из виднейших зачинателей социологии в нашей стране (социология была под запретом со времен изгнания Питирима Сорокина); причина запрета этой научной дисциплины по — прежнему заключалась в том, что партийные боссы и мракобесы от марксизма упорствовали в своем нежелании признать за ней право на самостоятельное существование.

Таков был общий фон тех лет. Все эти события, однотипные по почерку тех, кто устраивал подобные проработки и искоренения, различались по степени резонанса, который они получили. Осмелюсь вставить в эту панораму событий и то, что произошло со мной. Я имею в виду обсуждение моей работы, посвященной раннему феодализму в Европе. Конечно, это дело не было таким громким, как дело Некрича или Даниэля и Синявского. Здесь все было более локально и мало привлекало внимание людей, далеких от исторической науки или не очень близких к ней. Однако это дело имело общие черты с вышеупомянутыми событиями в литературе и искусстве.

Любое «дело» исследователя, постановщика, писателя, художника организовывали некоторые инстанции, которым поручено было следить, «тащить и не пущать», канализовать

мнения в определенное русло. Но ситуация подогревалась и «доброхотами», кровно заинтересованными в том, чтобы на данного субъекта обрушились репрессии, ибо по тем или иным причинам, совсем не высоким, не принципиальным, этот субъект оказался не очень им угодным.

Приведу только один пример. Он не связан с деятельностью партийных аппаратчиков, а просто служит иллюстрацией законов, открытых Чарльзом Дарвином. В начале 60–х годов я и несколько моих коллег, в том числе Н. Ф. Колесницкий, М. Л. Абрамсон и другие, получили от издательства «Высшая школа» предложение написать учебник по истории Средних веков для истфаков педагогических институтов. Мы его написали. Сейчас я не рекомендовал бы его читать: с моей точки зрения, он совершенно неудовлетворителен и вообще устарел. Но речь не о качестве этого учебника, а о той свистопляске, которая развернулась вокруг него. Оказалось, что издательство Соцэкгиз одновременно планировало издание совершенно нового двухтомного учебника истории Средних веков для истфаков университетов. Но как раз в это время Соцэкгиз был расформирован или преобразован, и было решено все учебники печатать в издательстве «Высшая школа». В результате здесь оказались и учебник Абрамсон, Колесницкого и Гуревича для пединститутов, и учебник для университетов, главным редактором которого числился С. Д. Сказкин.

Редактор издательства сообщает мне, что ее вызвал начальник Главного управления высших учебных заведений Министерства высшего образования и спрашивает: «Что это там происходит у ваших профессоров? Вчера приходит ко мне пожилой академик С. Д. Сказкин, по правую руку от него доктор исторических наук А. Н. Чистозвонов, по левую — доктор исторических наук Е. В. Гутнова. От имени Сказкина они говорят, что учебник, подготовленный Абрамсон, Гуревичем и $К^0$, никуда не годится и является препятствием для издания полноценного учебника, того, который они представляют».

Уважаемые профессора сообщили также, что представленный нами в издательство отзыв Сказкина на наш учебник мы якобы сочинили сами, подсунули экземпляр Сергею Даниловичу и побудили этот отзыв подписать. Но они упустили одну деталь: Сергей Данилович представил в издательство свой рукописный отзыв, и он хранился и, наверное, до сих пор хранится в архиве. Подсовывать какой-то текст, особенно Сергею Даниловичу, которого мы чтили, уважали… об этом не могло быть и речи. Методы наших противников, напоминавшие внутривидовую борьбу, показались мне не слишком аппетитными. Но я решил, что это лишь эпизод: действительно, можно понять людей — не

простить, но понять: им хочется издать свой учебник, и кажется, будто другой учебник мешает.

Еще до выступления Данилова я вместе с некоторыми своими коллегами не мог не ощутить, что наши отношения с «официальной» медиевистикой, с теми лицами, которые стояли у руководства кафедрой истории Средних веков в МГУ или сектора истории Средних веков в Институте всеобщей истории, определяются отнюдь не только научными позициями. Менялась общая тональность духовной жизни в стране, состояние «идеологической растерянности» (так говорил один мой коллега) начинало проходить, и все партийные и другие аппаратчики, в том числе и в Академии наук, вовсе не хотели никаких перемен и не собирались отказываться от тех азбучных истин, которые казались им истинами в последней инстанции. Они надеялись рано или поздно дождаться реванша, и вот они его дождались.

В Институте всеобщей истории я ощущал некоторую экстерриториальность. Меня пока ни к чему особенн© не привлекали, я мог более или менее спокойно заниматься своими делами, которых было невпроворот. Моя книга «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе», первый вариант которой я уже изложил в Новосибирском университете осенью 1966 года, лежала в издательстве «Высшая школа» и непосредственно попала под удар Данилова.

Но на высоте оказался заведующий исторической редакцией Антонов. Когда он взял читать корректуру, я был почти уверен, что сейчас ее вышвырнут или заставят меня делать такие поправки, на какие я заведомо не пойду. Однако Антонов меня вызвал и говорит: «Мне очень понравилась ваша книга, мы ее будем печатать. Но у меня к вам два вопроса. Первый: я отметил три формулировки, которые можно было бы смягчить, ничего не изменяя по существу. Вы согласны?» Я ответил, что поскольку речь идет о том, больше или меньше пудры положить, это меня не смущает. «Второе. Мы задержим вашу книгу, дадим внутреннюю сверку». Это означало задержку на несколько месяцев, опять в типографии будут что-то с текстом делать, что мне, конечно, не понравилось. Но я понимал, что мы не в безвоздушном пространстве находимся, а в атмосфере, созданной всей ситуацией. «И третье, — говорит он, — нам нужны еще два внутренних рецензента, которые дали бы отзыв на вашу книгу. Ваши предложения». Я ответил, что если он считает это возможным, я предложил бы обратиться к академику Конраду, востоковеду, интересовавшемуся общими теоретическими проблемами, на благожелательное, принципиальное отношение которого я мог рассчитывать, и к моему учителю А. И. Неусыхину,

что мне казалось особенно важным потому, что моя критика концепции феодализма, утвердившейся в нашей историографии, была адресована именно ему.

Я не думал о риске, которому подвергаю свою работу, — прежде всего потому, что вообще все, что я писал тогда о генезисе феодализма, было, конечно, рискованным предприятием, это мне было более или менее ясно с самого начала. С другой стороны, я знал: если у Александра Иосифовича будут возражения, то они не будут носить зубодробительного характера работ профессора Данилова.

Антонов согласился, и корректуру направили предложенным мною рецензентам. Оба отзыва не содержали принципиальных возражений относительно концепции книги и серьезных конкретных замечаний. А. И. Неусыхин в телефонном разговоре с моей женой отметил, что книга талантлива, но с моей точкой зрения он, естественно, не согласен.

«История историка» (1973 год):

«Мы прошли у него школу исторического анализа, научились читать источники. Дальше уже от ученика зависело, увидит ли он за этими памятниками живую действительность, будет ли искать ее, либо впадет в [формальное] толкование титулов судебников, хартий и полиптиков […] Бездарная верность раз навсегда преподанным урокам лучше всего вскрывает слабости учителя. Но, увы, среди этих слабостей были не только научные, но и человеческие. А. И. предпочитал тех, кто не отклонился от проложенной колеи…

Когда А. И. Неусыхину исполнилось 70 лет (в 1968 году?), наши отношения были уже достаточно неоднозначны, хотя кризис еще не наступил. Болезненно ощущая пролегшую между нами трещину, я написал ему письмо, в котором, поздравив его с юбилеем, высказал свое понимание научной школы и того, что такое ученик. Мне было в высшей степени важно объясниться с А. И., показать ему, что наши расхождения — в самой природе науки, и я очень надеялся на откровенный разговор и на разъяснение происшедших расхождений. Впрочем, так ли уж надеялся? Зная А. И., я вряд ли мог питать на сей счет большие надежды. Просто я испытывал огромную потребность в том, чтобы облегчить душу и довести до его сведения свои мысли и чувства. (Я говорил тогда близким людям, и это не преувеличение: никогда роман с женщиной не доставлял мне стольких переживаний, сколько отношения с учителем!)

Через несколько дней после отправления мною письма А. И. позвонил мне и пригласил посетить его в один из ближайших вечеров. Как обычно, мы отправились к Неусыхиным с женой,

тоже бывшей его ученицей, о которой он любил говорить, что она намного способнее меня, но, увы, “зарыла свой талант в землю” (эта формула оказалась очень живучей, мне передавали эти слова А. И. на протяжении десятилетий, и последний раз я услышал ее несколько недель назад). А. И. пригласил меня в кабинет — и что же он мне сказал? Признав, что ученики бывают разные и не всегда верность во всем хороша, он вновь повторил, что я — ученик Косминского, после чего скомкал разговор, переведя его на другое.

Ничего не изменилось, старик (а А. И. не только к семидесяти годам, но и гораздо раньше был стар — не умственно, о нет, но физически) не хотел или не мог меня понять. Ему нужны были верные ученики, делавшие то же, что и он, и так же, как он…»

Но я не устаю повторять, как на фоне поведения других коллег рельефно выявилось в данном случае благородство учителя, с которым его ученик вступает в своего рода единоборство, пытается полемизировать по принципиально важным для обоих вопросам. Ведь он мог просто сказать, что не согласен со мной, считает мою позицию недостаточно аргументированной, и на этом поставить точку. Тогда вопрос остался бы открытым, и книгу вернули бы автору на доработку или же вообще отложили дело в долгий ящик, а мы знаем, чем это у нас кончалось. Нет, Неусыхин меня поддержал, и заведующий редакцией таким образом получил необходимое подкрепление со стороны видных ученых.

Состоялась внутренняя сверка, прошло время, казалось, что ситуация, созданная выступлением Данилова, прозвучавшим много месяцев тому назад, несколько разрядилась, и в самом начале 1970 года книга вышла. К несчастью, мне пришлось сделать последнюю правку: на титульном листе я написал, чтоснига посвящается памяти моего учителя А. И. Неусыхина, который как раз в это время скончался.

Книга вышла небольшим тиражом, а дальше мои критики и недоброжелатели, а также те, кто должен был следить за чистотой идеологических нравов, парадоксальным образом сделали все для того, чтобы ее разрекламировать, поднять меня на щит, выдвинуть как фигуру, к которой надо присматриваться, прислушиваться, как автора, которого следует читать. Люди моего возраста помнят, что если тогда, в 60–70–е годы автора какой-либо книги критиковали за идеологическую незрелость или какой-нибудь «изм» типа структурализма, это значило, что в его сочинении есть мысль, заслуживающая интереса, и надо достать и прочитать его работу. Такой механизм работал безотказно. С другой стороны, партийными властями все

самостоятельные мысли объявлялись неправильными, фальшивыми, их авторы подлежали бдительному надзору и критике. Выше я упомянул господина Ягодкина, главу партийной организации МГУ. Через несколько лет, будучи уже вторым секретарем Московского горкома партии, ведавшим идеологией, г — н Ягодкин посетил партийное собрание Института всеобщей истории. Много лет спустя секретарь парторганизации Института М. И. Михайлов поведал мне, что после собрания Ягодкин, беседуя с ним приватно, в частности, задал ему такой вопрос: «Вы знаете такого Гуревича? Будьте с ним осторожны, бдительны. Он *думает».* Так г — н Ягодкин произвел меня в Гегели.

Я полагаю, что дело было не в том, какого калибра мысли я мог породить тогда или впоследствии. Но в глазах партийного руководства идеалом советского историка являлся тот, кто, как попка, повторял то, что содержалось в литературе, одобренной цензурой, ЦК и т. д. Вскоре в употребление вошло выражение, с которым я многократно встречался, — «сенсация». Это что-то дурно пахнущее, скандальное, скабрезное, противопоказанное науке, где люди в мантиях, добросовестные, с чистыми руками, занимаются добыванием беспримесной исторической истины. А тут какие-то крикуны вылезают со своими «сенсациями». Директор Института по поводу одной из моих работ говорит мне: «Нам не нужны сенсации». После выхода «Генезиса феодализма» один из ведущих наших медиевистов сказал: «Советские медиевисты так долго добивались того, чтобы к ним относились как к идеологически выдержанной и правильно мыслящей когорте ученых, и вот Гуревич своей книгой все это разрушил, и мы опять оказались перед сложными проблемами, преследованиями, гонениями». Еще одна «сенсация»! Ну, что же — «шеа culpa».

* * *

Что означало появление книги «Проблемы генезиса феодализма» (1970) в существовавшем тогда раскладе сил, насколько я могу его реконструировать? Вспоминается такой эпизод. Одна из глав этой книги была представлена в виде статьи в журнал «Вопросы истории». Ее опубликовали в мартовском номере 1968 года, посвященном юбилею Маркса. Когда шла корректура этой статьи, редактор Е. Э. Печуро получила указание от главного редактора журнала В. Г. Трухановского: «Энгельса с Энгельсом лбами не сталкивать». Это относилось к тому, что я обнаружил у Энгельса противоречия в трактовке общины —

марки. Соответствующие фразы в статье были сняты. Тогда Данилов, человек начитанный и образованный, понимающий, что к чему, в своей статье в «Коммунисте» уличил меня в том, что я критикую Энгельса, не раскрывая сути сказанного им и не упоминая его имени. Я решил, что эту принципиальную критику Данилова обязательно надо учесть, и в книге восстановил текст так, чтобы все было расставлено по своим местам. Таким образом я проявил упрямство и в ответ на критические нападки и несмотря даже на увольнение с работы решил не только не уступать ни в одном пункте, но довести свои мысли до того конца, до которого я был тогда способен их довести.

Министр просвещения РСФСР, который в своем достопамятном докладе 1969 года подверг вашего покорного слугу критике за его статьи, узнает, что вместо покаяния, признания, что вот действительно побыл я в структуралистах, грешен, каюсь, больше не буду и проч. и проч., Гуревич, оказывается, выступает с книгой, где все это сконцентрировано под одной подозрительного салатного цвета обложкой и подчеркнуто еще сильнее.

Это не могло не фраппировать Данилова. Насколько я могу судить, он обратился к министру высшего образования СССР, в ведомстве которого находилось издательство «Высшая школа», с жалобой на то, что в ответ на его принципиальную критику, опубликованную в журнале «Коммунист», автор продолжает свои антимарксистские штучки. Но главный криминал состоял в том, что «Высшая школа» научные монографии как таковые не издавала, а издавала учебники и учебные пособия. На титульном листе «Проблем генезиса феодализма» было написано: рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов исторических факультетов. Можно было, конечно, обойтись и без этого грифа, но ведь я и рассчитывал своими читателями видеть не тех профессоров и старших научных сотрудников, отношения с которыми уже портились изо дня в день, а молодежь, к которой хотелось обратиться с чем-то выношенным, выстраданным и, как я был убежден, больше соответствующим движению исторической мысли, нежели те замшелые тирады, коими ограничивались авторы «официальных» учебных пособий, монографий, докладов, лекций.

Таким образом, моя книга явилась своего рода вызовом, и было приказано провести ее обсуждение в МГУ. Как готовилось это обсуждение, мне неизвестно. Правда, на первой стадии со мной велись телефонные переговоры от имени руководства кафедры. Говорили, что весной 1970 года будет устроена публичная дискуссия. Я задал только один вопрос: «Это будет

действительно открытая дискуссия? Туда смогут прийти все, кого это может заинтересовать?» — «Да, разумеется, иначе и быть не может».

Хорошо. Книгу уже раскупили, читали, высказывали мне всякие позитивные и негативные суждения. Наивно полагая, что состоится действительно научная дискуссия, я ждал, что обсуждать станут вопросы далеко не решенные, в том числе и мною самим. В назначенный день в самом начале мая публика собирается к зданию на Моховой, Гуревич не приходит — мне позвонили и сообщили, что обсуждение не состоится. На дверях зала вывешено объявление, что по техническим причинам оно переносится на другое время. Публика с досадой расходится.

Прошло несколько месяцев, меня извещают: обсуждение все-таки состоится, но теперь уже не в том помещении, а в высотном здании МГУ на Ленинских горах, где вход по пропускам. В заседании примут участие только сотрудники кафедры истории Средних веков и кафедры истории русского феодализма, посторонних не будет. Но вас, Арон Яковлевич, говорят мне, мы приглашаем принять участие. Я заявил, ничтоже сумняшеся, и до сих пор считаю себя совершенно правым, что в этом мероприятии участвовать не стану, потому что научность и объективность подобного обсуждения внушает мне самые серьезные подозрения (что и подтвердилось полностью). Либо пусть будет действительно открытое обсуждение, либо устраивайте свой шабаш, а я пас.

Заседание было настолько закрытым, что когда С. Д. Сказкин, который его должен был вести, явился со своим референтом, И. Н. Осиновским, то Ю. М. Сапрыкин, один из профессоров кафедры истории Средних веков, сказал последнему: «А вы зачем сюда пришли?» Сказкин объяснил: «Он со мной», и Осиновского пропустили. Насколько мне известно, перед заседанием Осиновский обратился к Сказкину: «Сергей Данилович, я надеюсь, вы не допустите, чтобы эта свора напала на Гуревича». — «Ну, конечно, как может быть иначе».

Но Сергей Данилович был очень управляемым человеком, и его легко было испугать. Я прошу меня понять правильно, в моих словах нет обиды. Это констатация человеческого факта, который вместе с тем был фактором социальным, общественным. Люди поколения Сказкина, годившиеся нам в отцы, подвергались зловредной ленинско — сталинской радиации, и политической, и идеологической, и какой угодно, на протяжении большей части своей жизни, десятилетиями, начиная с 20–х годов, почти без перерыва. Поэтому их жизнестойкость, их способность к сопротивлению были сломлены. Сергей Данилович всегда был

окружен людьми, заинтересованными в том, чтобы, пользуясь его человеческой слабостью и его авторитетом, управлять от его имени и кафедрой, и сектором Средних веков в Институте истории. Эти люди, а через них, наверное, и кто-то повыше, оказывали на него определенное давление. Они, очевидно, и передали ему, чего ожидают наверху от этого закрытого обсуждения.

Негативную роль сыграло в особенности то, что на титульный лист был вынесен imprimatur: допускается в качестве учебного пособия. И когда в конце заседания Л. М. Брагина сказала, что здесь обсуждали много проблем, но, может быть, стоит обсудить самую проблему генезиса феодализма, Сергей Данилович ответил, что это в задачу заседания не входит. Он, следовательно, знал, что будут обсуждаться не научные материи, а вопрос о том, можно ли это давать студентам или это отравленная пища и надо от нее студентов оградить.

Сказкин произнес несколько слов, и после этого началась атака объединенных сил двух кафедр, которые доказывали мой антимарксизм, мое невнимание к достижениям советской исторической науки. Один доцент кафедры русского феодализма заявил следующее: Гуревич признается, что сам не знает, что такое феодализм, а нас заставляет это обсуждать. Действительно, я писал о сложности проблемы, о том, что на данном этапе развития исторической науки, том этапе, который мы переживали в конце 60–х годов, дать однозначный ответ на вопрос, что под феодализмом подразумевается, я не берусь. Но книга называлась не «Генезис феодализма», а «Проблемы генезиса». Я ставил проблему и имел в виду, так же как и в будущей книге о народной культуре, именно спорность, дискуссионность поставленного вопроса, и к этой дискуссионности мне хотелось привлечь внимание читателей.

(Мне кажется, что ныне, на рубеже столетий, отмеченная мною тогда проблематичность понятия феодализма обрела новую остроту, ибо в новейших исследованиях традиционные взгляды на феодальный строй обнаружили всю свою шаткость и условность.)

В отличие от критиков, склонных к заушательству, Е. В. Гутнова не пошла напролом. Она подчеркнула: все, что пишет Гуревич, не ново, это перепевы западной буржуазной историографии. Для нашей историографии, говорила она, всегда был характерен (боюсь, что и до сих пор характерен) акцент на экономических, поземельных отношениях, отношениях между сеньорами и вассалами, между господином и слугой, помещиком и крестьянином. А мысль о том, что межличностные отношения имеют решающее значение, — это не открытие Гуревича.

Известный французский историк права Флакк писал об этом еще в начале века. Так что либо это новации, которые пахнут «сенсацией», и их надо отвергнуть, либо это просто перепевы давно известного.

Обсуждать это теперь я не собираюсь. Желающие могут заглянуть в книгу, тем более что сейчас в первом томе моих избранных трудов воспроизведен ее текст без каких-либо поправок и дополнений. Я не исправил ни слова, даже все ссылки на классиков марксизма сохранены, ибо это документ того времени — 60–х годов.

В журнале «Вопросы истории» через несколько месяцев было опубликовано подготовленное сотрудницей кафедры Средних веков основное содержание стенограммы этого заседания. Прошло тридцать лет, и я из брезгливости не раскрывал этот номер. Мои отношения с журналом были прерваны на двадцать лет, вплоть до 1990 года. Я обратил внимание на то, что даже наиболее серьезные люди, которые, как мне казалось, могли бы попытаться обсудить вопрос по существу и остаться в стороне от проработки, носившей идеологизированный характер, не решились этого сделать. Так, в ней принял участие (хотя, может быть, тональность тут была несколько иной) глубоко уважаемый мною Александр Рафаилович Корсунский, серьезный специалист по Раннему Средневековью и поздней Римской империи. Между прочим, он был автором статьи, отвергавшей идиотский тезис о «революции рабов», которая якобы разрушила рабовладельческую формацию. Эту идею выдвинул Сталин на съезде колхозников — ударников, и наши историки решили, что они достигли уровня колхозников — ударников и эту теорию провозгласили urbi et orbi.

«История историка» (1973 год):

«Как и все другие сотрудники кафедры, Корсунский не осмелился уклониться (хотя, по его словам, хотел, было) и внес свою весомую лепту в обсуждение. Ну, ладно, можно еще как-то понять такое поведение человека, подчиняющегося дисциплине, Бог с ним! Но что же дальше? А дальше идет своего рода “интериоризация” своего неблаговидного поведения, старание внутренне его оправдать. И на посту ответственного редактора I тома “Истории крестьянства” (куда он был назначен хлопотами Ю. Л. Бессмертного) Корсунский обнаружил блестящую способность усвоить ту ненаучную позицию, выражающуюся в держимордстве, которую ожидали от него Сапрыкин и К°. В этом смысле показательны “закрытые” заседания редколлегии в узком составе (Корсунский, Мильская, Бессмертный и я), на которых мне выворачивали руки, пытаясь кастрировать мои главы (и не

без успеха); дело доходило до такого обмена репликами. Я: “Александр Рафаилович, поясните, моя точка зрения противоречит нашему учению или взглядам X, Y, Z?” Корсунский: “Она противоречит тому, что сегодня считается марксизмом”. Я: “Но ведь завтра могут быть получены иные указания!”».

Впрочем, мне сообщили, что обсуждение не могло пойти иначе, потому что режиссером был г — н Ягодкин, который дал указание, чтобы все члены обеих кафедр участвовали и высказались, никаких уклонений не допускается. Насколько я могу судить на основе отчета, опубликованного в «Вопросах истории», все они действительно присутствовали и говорили примерно одно и то же. Я не был потрясен этим событием, у меня еще было достаточно нервов, чтобы отнестись к этому с большой долей юмора.

«История историка» (1973 год):

«Достойно быть отмеченным, вероятно, лишь поведение коллег, не относящихся к клике гонителей. По большей части они были напуганы. Ведь моя история — не единственная и не самая громкая. Одновременно развертывалось “дело Гефтера”, которого вместе с его соавторами били (на страницах газеты “Советская Россия” и в других изданиях) за сборник “Историческая наука и некоторые проблемы современности”. Не велено и недопустимо быть большим марксистом, нежели те, кто к этому приставлен! “Творческий марксизм” Гефтера расценен был как “подрыв” и “ревизионизм”. Сюжеты, из-за которых разгорелись схватки вокруг него, — острей моих. Мне, признаюсь, они мало интересны. Во всяком случае, писать о них я здесь не берусь.

Но так или иначе, все наши истории устрашили историков — народ вообще пуганый. Ю. Л. Бессмертный, упомянутый слегка в той же статье Данилова, начал корежить свою докторскую диссертацию, готовившуюся в то время к печати. При всех его качествах несомненно серьезного ученого […] в науке он вынужден был избрать половинчатую и потому двусмысленную позицию, и это его губит. Насколько все-таки моральные качества неразрывно связаны с научными! Из человеческой жалости обойду молчанием иные его “слабости”…

Мой шеф А. С. Кан испугался, когда сразу же после обсуждения моей книги в МГУ я предложил ему, мотивируя это закрытым характером обсуждения, организовать научную дискуссию в Скандинавской группе, им возглавляемой. Он отказался. […] Правда, стараясь замять неловкость, он тут же добавил: “Но я тебе обещаю, что если тебя уволят с работы, я тоже уйду”. Что ж, неровен час, еще, пожалуй, придется проверять цену этого его обещания!..

Я так подробно останавливаюсь на поступках тех или иных лиц, все вновь возвращаюсь к тому, как сложившаяся ситуация проявляет в людях их качества, вовсе не потому, что на кого-то обижен, кем-то ущемлен и ставлю всякое лыко в строку. Дело вообще не во мне. Повторяю: я научился смотреть на происшедшее и происходящее “со стороны”, с большой долей бесстрастия. Но то, как ведут себя мои коллеги, — не в отношении меня или моих друзей, но сами по себе, как личности, поставленные перед необходимостью сделать выбор, причем вовсе не какой-то роковой, не, так сказать, экзистенциальный, а просто — поступить порядочно или непорядочно, — это не может оставить меня равнодушным. И спускать все эти прегрешения перед совестью — незачем… Объективность, понятая как угождение и “нашим” и “вашим”, — трусость, которую надо же как-то оправдать в глазах других и в собственных, — наконец, подлость, каковая, в свою очередь, нуждается в кащфляже и идейном прикрытии, — этим путем идут, увы, не единицы».

Я привел эту цитату из рукописи 1973 года, поскольку она с известной долей непосредственности отражает мое тогдашнее отношение к происшедшему и к поведению некоторых моих коллег. Признаюсь, я испытывал немало колебаний: допустима ли подобная цитата спустя более чем четверть века? Разумеется, время сгладило остроту чувств, но согласитесь — трудно было бы иначе передать тот дух напряженности, который тогда господствовал. Из песни слова не выкинешь, а песня была именно такова…

* * *

Я понимал, что люди, которые напали на меня, не очень вдумывались в проблему, или же она вообще их не интересовала, и никаких ответов на те вопросы, которые я поставил перед читателями «Генезиса феодализма», у них нет.

Мысли мои сводились к следующему. Первое. Переход от рабовладельческого строя и первобытно — общинного строя (я пользовался этой терминологией, принятой в нашей историографии того времени) к феодализму — это однократный уникальный процесс, который имел место только в Западной и Центральной Европе; больше нигде ничего подобного не происходило. Естественно, такой вывод не мог быть приемлемым для ортодоксов, руководствовавшихся положением о всемирно — историческом характере формаций.

Второе. Не следует однозначно акцентировать роль

экономических, материальных факторов в процессе возникновения феодальных отношений; необходимо уяснить следующее: обработка земли, торговые сделки и все другие операции, связанные с экономикой, эксплуатацией крестьян, распределением ренты, отчуждением земельных владений, собственностью на землю, — все эти социально — правовые и экономические реалии и институты сами по себе не функционируют. Они функционируют постольку, поскольку насыщены человеческим содержанием, это объективная общественная практика индивидов и групп, больших масс людей, которые волей — неволей приняли участие в этом процессе. Поэтому необходимо вдуматься в содержание сознания этих людей. Ставились, таким образом, вопросы из той области, которую можно назвать экономической антропологией. Речь шла не просто об экономике, а о том, как экономическая деятельность преломляется в поступках людей, какие представления и ценности лежат в основе их сознания, каковы нормы и системы их поведения, обнаруживающиеся в социально — экономическом процессе. Естественно, не все формулировки были обозначены именно так в книге «Проблемы генезиса феодализма», но все они уже в ней содержались.

Третье. Я выдвигал некоторые новые ракурсы проблемы генезиса феодализма. Уже тогда у меня с западной историографией, прежде всего французской, со Школой «Анналов», в это время игравшей огромную роль в трансформации исторической науки, было определенное разногласие, которое постепенно вырисовывалось все более ясно. Я уже говорил об этом, но хочу еще раз подчеркнуть этот момент.

Сколь ни велика была эрудиция и ни широк кругозор замечательных французских медиевистов, все они остаются преимущественно в пределах истории романизованного мира, средиземно- морской цивилизации, стран, в которых господствовал латинский язык. Будучи убежден в том, что включение германо — скандинавского субстрата в общую картину генезиса феодализма обнаружило бы другие уровни этого процесса, которые в романизованном мире были сглажены спецификой источников, написанных на латинском языке, я перенес центр тяжести на другую сторону — не потому, что хотел поставить под сомнение, отрицать Античность, средиземноморский, романский миры, Боже избави, но я считал невозможным опираться только на одну ногу. Надо опираться на обе ноги, и тогда мы увидим многие процессы под несколько иным углом зрения.

В этой связи позволю себе рассказать об одном эпизоде. В

конце 60–х годов, еще до выхода «Проблем генезиса феодализма», под Тарту состоялась очередная скандинавская конференция, на которой я выступил с докладом «Богатство и дарение у древних скандинавов». Я говорил об огромной структурообразующей роли, которую играл в отношениях викингского общества обмен дарами, подчеркивал, что сплошь и рядом эти дары не имели никакой потребительской стоимости, но носили ярко выраженный символический характер, и система обмена дарами была в высшей степени существенной для функционирования всей социальной сферы. Я вовсе не являюсь автором этого открытия. Еще в 1924 или 1925 году замечательный французский ученый, последователь Дюркгейма Марсель Мосс опубликовал свою ставшую классической работу «Эссе о даре», где показал роль обмена дарами на огромном сравнительном материале, включив сюда и материал о потлаче у североамериканских индейцев, и о сходных институтах у других народов; а начинает он свою книгу несколькими цитатами из песней «Старшей Эдды», это как раз мой скандинавский материал. Правда, иные ортодоксы из числа этнографов пытались приспособить понимание этих институтов к общепринятым формационным моделям. Известный этнолог Аверкиева, главный редактор журнала «Советская этнография», опубликовала тогда целую монографию о потлаче; она пыталась выяснить социально — экономический базис этих причудливых отношений. Когда я предложил статью о дарах в этот журнал, мне сообщили вердикт Аверкиевой: «Статью Гуревича опубликуют только через мой труп». Я не стал никогоубивать и опубликовал статью в другом месте.

На упомянутой скандинавской конференции в президиуме сидела А. Д. Люблинская, один из виднейших наших медиевистов. У нас с ней были неплохие отношения. В перерыве она говорит: «Пойдемте, Арон Яковлевич, погуляем». Просто так она со мной вряд ли захотела бы гулять. Она говорит: «А. Я., ну что такое дары? Вот мы идем в гости, несем цветочки, коробку конфет. Таковы человеческие отношения от Адама до наших дней. Тут нет проблемы для историков». — «А. Д., — отвечаю я, — не о подарочках речь. Речь о структурообразующей, определяющей роли обмена дарами. Как долго это длилось, не вполне ясно, это нужно исследовать, но то, что в период Раннего Средневековья обмен дарами имел особое внутреннее содержание, насыщенное социальным динамизмом и религиозными, магическими и иными представлениями и функциями, — это не вызывает у меня никакого сомнения, и я привожу соответствующий конкретный материал». Александра

Дмитриевна, умнейший человек, поняла, что дала осечку, ведь она этим не занималась, не интересовалась. Мы кончили наш разговор.

Мое выступление на этой конференции имело и иной результат: ко мне подошел Елеазар Моисеевич Мелетинский, с которым я дотоле не был знаком. Мы долго беседовали, он сразу уловил суть дела, и с этого момента стали устанавливаться мои отношения с семиотиками, с Тартуским кружком и т. д.

Обстановка, в которой летом 1970 года происходило обсуждение книги «Проблемы генезиса феодализма», была напряженной для меня не столько потому, что меня обвиняли в антимарксизме, в неправильных взглядах, в том, что я собираю мед с сомнительных цветков буржуазной историографии и проч. и проч., сколько в чисто практическом отношении. В издательстве «Искусство» уже года два лежала рукопись моей книги «Категории средневековой культуры», и я понимал: то, что аукнется на «Проблемах», может откликнуться на «Категориях».

В эти годы все мои книги, со всякими приключениями, с задержками, но все-таки выходили. Я объясняю это очень просто и вполне материалистически — я счастливчик. Такова моя судьба. Вот меня выгнали из Института философии, так я попал в Институт всеобщей истории. Мою книгу «Генезис феодализма» проработали для того, чтобы она стала популярной, книгу «Категории средневековой культуры» должны были зарезать, но не зарезали в результате действий редактора. И получается, что все, мною написанное, было опубликовано, и даже без особых задержек, и те, кто меня выгонял, имели свои неприятности, и никто из них за пять раз моих увольнений не добился своего. И не потому, что я такой кусачий и могучий, а просто — баловень удачи.

Что касается откликов на мои книги, то мне, наряду с рецензиями профессионалов, особенно дорога заинтересованность, которую проявили молодые люди, казалось бы, весьма далекие от медиевистики. Л. М. Баткин передал мне конспект «Проблем генезиса феодализма», составленный его харьковским другом философом Николаем Ветровым. Этот юноша, приговоренный врачами к смерти и знавший о своей неизлечимой болезни, сосредоточенно и придирчиво изучал мою только что опубликованную книгу и, судя по многочисленным замечаниям в общей тетради, вступил со мной в интеллектуальное единоборство.

В 1989 году молодой немец — философ по имени Ульрих, работавший одновременно со мной в Центре Гетти (Санта

Моника, Калифорния), рассказал мне: к нему в гости приехал из Германии его брат и привез ему в подарок книгу, вызвавшую, по его словам, живой интерес у молодых интеллектуалов. То было очередное немецкое издание «Категорий средневековой культуры».

* * *

Сталинские порядки не ушли полностью из нашей жизни, модель «тащить и не пущать» сохранялась — не столько, может быть, в полицейской практике, сколько в сознании людей и властей. В конце 70–х и начале 80–х годов маразм системы достиг чудовищных размеров, не было того строгого порядка, который был заложен предшественником Хрущева. Проявлялись неумение работать, несогласованность, противоречия в деятельности разных инстанций — как говорили тогда, у нас политика однопартийная, но многоподъездная. Не то чтобы разные отделы ЦК вступали в открытые противоречия, но были какие-то нюансы, вот я между двумя нюансами и проскочил. Порядка не было, происходили удивительные вещи. Можно было уволить человека из одного идеологического учреждения и пригласить его в другое. То есть мы существовали по недосмотру начальства. По недосмотру можно было не вычеркивать из книги главы или страницы, а допустить ее к печати, как это было со мной.

Вот пример, относящийся, правда, к немного более позднему времени. 1981 год. Ярузельский, чтобы избежать танковой атаки СССР на Польшу, ввел в стране военное положение и интернировал целый ряд людей, которые поддерживали Леха Валенсу, движение «Солидарность» и проч. В их числе был интернирован ближайший политический советник Валенсы (потом он с ним резко порвал и разошелся), известнейший польский медиевист Бронислав Геремек, с которым я, кстати, познакомился в 1967 году. Имя его, наверное, всем хорошо известно, он сейчас министр иностранных дел Польши. Это друг Жака Ле Гоффа, проводник идей Школы «Анналов» в восточноевропейской историографий. Когда я готовил к печати свою книгу о средневековой народной культуре (она вышла как раз в 1981 году), я обнаружил, что в предисловии, где я называл западных авторов, занимавшихся этой проблемой, я не указал Геремека. Исправляю ошибку и ставлю его во главе списка. Книга выходит. Звонок из издательства, говорит редактор:

— Арон Яковлевич, туг мне позвонили кое — откуда (бедный, он даже не может сказать, откуда звонили) и спрашивают — это

какой Геремек вами упомянут, тот самый или другой?

— Я знаю только одного Геремека, — отвечаю я. — Чем этот медиевист занимается в свободное от работы время, мне неизвестно. А что такое?

— Нет, ничего.

Продолжения не было. Таковы детали, высвечивающие и бдительность, и ее потерю, и неспособность зажать нас так, чтобы мы почувствовали, что рот заткнут.

Мои «Категории» вышли в 1972 году, и я не могу сказать, что цензор приложил руку к этой книге. Правда, сотрудница издательства, занимавшаяся вычиткой рукописи, внесла свою лепту, и написание слова Бог изменила, понизив, как это водилось, заглавную букву. Но против этой традиции трудно было возражать. У нас что языческое, что христианское божество всегда писались с маленькой буквы, чем доказывалось несуществование Божие. Напишешь с прописной — возникнет вопрос: а может быть, Он все-таки существует? Лучше не задумываться.

Однако последствия обсуждения «Генезиса феодализма» все-таки имели место. Было принято решение опубликовать протоколы дискуссии в «Вопросах истории», и часть очередного номера посвятили разоблачению моих взглядов. Но больше могло меня затронуть другое. У меня в это время был единственный ученик на историческом факультете МГУ, мой калининский воспитанник Володя Закс. Никогда до этого и никогда после этого никаких деловых отношений с истфаком МГУ у меня не было. В 90–е годы я работал в МГУ на философском факультете в качестве профессора кафедры истории и теории культуры (см. об этом ниже) и до сих пор числюсь сотрудником Института истории и теории мировой культуры МГУ. Еще задолго до этого, в 70–е годы на филфаке МГУ я прочитал спецкурс по древнеисландской культуре, впоследствии опубликованный в виде книги («Эдда и сага»). А на истфаке моего духа никогда не было. Руководство могло меняться сколько угодно, но этот принцип они соблюдали, и я с признательностью отмечаю их необыкновенную стойкость.

Володя Закс, будучи еще школьником, десятиклассником, ходил ко мне в исторический кружок, затем поступил на истфак МГУ и заявил, что хочет заниматься древней Скандинавией. Ему сказали, что нет преподавателя, а он говорит — есть преподаватель, пригласите Гуревича. И они меня пригласили, я был у него индивидуальным руководителем.

Как раз летом 1970 года, вскоре после «проработки» «Генезиса феодализма», мы дошли до финиша, Володя должен был защищать дипломную работу. Назначается день защиты. Я

подумал: паны дерутся, а прическа может быть снесена у моего мальчика. Задумаются: кто и чему его учил, надо, товарищи, присмотреться. Накануне, не выдержав характера, звоню Корсунскому, с которым у меня вроде бы оставались добропорядочные отношения.

— Александр Рафаилович, завтра защита у Володи Закса, вы — официальный оппонент. Каково ваше мнение об этой работе?

— Ну, ничего, хорошая, содержательная работа.

Вижу, что он не склонен углубляться в анализ. Я говорю:

— Понимаете, хотелось бы, чтобы Володя продолжил свою работу, и мне нужно дать ему рекомендацию в аспирантуру. Я надеюсь, что тут не может быть возражений.

— Нет, А. Я., об этом не может быть и речи.

— Но «пятерка» ему будет?

— Нет, нет, «четверка», и никакой рекомендации.

Я понял, что продолжать дискуссию бессмысленно. Даже такое маленькое испытание, как выставление отметки и рекомендация в аспирантуру моего ученика, уже могло стать casus belli.

Прихожу на заседание кафедры, сидят Корсунский, Гутнова, Сапрыкин, кто-то еще. И неожиданно люди, настроенные против меня гораздо более радикально, нежели Александр Рафаилович, проявили объективность, во всяком случае, сочли необходимым дать понять, что если у меня есть идейные ошибки, за которые мне уже влетело, то на ученике это не должно отразиться. Они согласились с оценкой «пять» и с рекомендацией в аспирантуру, а бедному Александру Рафаиловичу пришлось стать «примкнувшим к ним» Корсунским. Мне неприятно об этом говорить, потому что я всегда сохранял к нему хорошее отношение, считал его серьезным ученым, более порядочным, нежели некоторые его коллеги. Но с тех пор я стал замечать, что, встречая меня на улице, он переходил на другую сторону.

В августе 1970 года в Москве состоялось важное официальное событие — XIII Международный конгресс исторических наук. Обстановка для него была не слишком благоприятна — прежде всего по международным причинам. Все помнили 1968–й год, во всяком случае, на Западе помнили. Некоторые делегации просто проигнорировали конгресс в Москве.

Состав советской делегации был необычайно велик; в частности, все доктора исторических наук Института всеобщей истории были в нее включены: либо делали доклады, либо выступали в прениях. Но были два исключения: А. М. Некрич и ваш покорный слуга. Однако документ, дающий право войти в здание, у меня был. Мне хотелось посмотреть, как выглядят

зарубежные историки. Я читал их работы, а с ними самими, за редкими исключениями, до тех пор не встречался, надеялся теперь познакомиться кое с кем из коллег. Интересно было послушать доклады, вообще окунуться в эту атмосферу, тем более что я не представлял себе, что это такое — всемирный конгресс историков.

Теперь я могу с полным основанием сказать: это грандиозный базар. Толчея была необыкновенная. Продуктивность таких научных заседаний, где присутствуют несколько тысяч человек, ниже нуля, научные вопросы на таких «митингах» почти не обсуждаются или обсуждаются довольно поверхностно.

В огромном конференц — зале высотного здания университета на Ленинских горах обсуждается доклад профессоров Удальцовой и Гутновой о генезисе феодализма. Я думаю: ничего себе, должен же я тут прочирикать что-то, у меня только что книжка вышла на эту тему. Нужно же об этом сказать, попутно выяснится, что я жив еще, несмотря на творческие усилия моих коллег. Идет заседание. Огромный зал, ковровая дорожка ведет к трибуне, где сидят председательствующий — немецкий историк — и несколько сопредседателей, в том числе и наш представитель, просят в письменном виде подавать заявки на выступления. Я быстренько, по возможности разборчиво, корябаю: «Прошу дать мне слово по докладу таких-то. Гуревич», записочку отношу в президиум.

Тотчас же ко мне подсаживается Е. И. Агаянц и с совершенно официальным выражением лица говорит:

— А. Я., вы записались выступать в прениях?

— Да.

— Так вот, ни до перерыва, ни после перерыва вам слово дано не будет.

— Warum?

— Так приказал Евгений Михайлович (Е. М. Жуков был академиком — секретарем Отделения истории, директором Института всеобщей истории и председателем оргкомитета этого конгресса).

С Агаянц я вступать в дискуссию не стал, она выполняла то, что ей поручили. Не дослушав очередных прений, отправляюсь туда, где находится оргкомитет, заявляю, что у меня срочное дело. Мне сообщают, что к Евгению Михайловичу нельзя, там заседают руководители иностранных делегаций. Обратитесь к ученому секретарю. Это был А. О. Чубарьян, наш теперешний директор. Я говорю ему: «Что это такое? Обсуждается проблема, по которой я не последний специалист. Я хочу кратко, по причине строгости регламента (он таял, как снег в июле, сокращался до

«-1»), высказать несколько соображений и вовсе не намереваюсь вступать с кем бы то ни было в полемику». Так я ручался, что я порядочный человек и не собираюсь класть пятна на мундиры. И тут Чубарьян произносит такие слова:

— А. Я., я всегда сочувствовал вам.

— Спасибо, Александр Оганович, — говорю я, — но, может быть, я все-таки получу слово?

Для меня все это носит уже символический характер. Я все-таки хочу подняться на эту трибуну. Захожу к Чубарьяну после перерыва, он сообщает, что Евгений Михайлович согласился, вышла милостивая воля. Я выступал, времени действительно было «-1», говорил ч; то-то невнятное.

Как было уже упомянуто, в советскую делегацию не включили еще А. М. Некрича. Через несколько лет, поскольку на него был наложен полный мораторий, ему стало невмоготу, и он после долгих колебаний решился эмигрировать. Когда он получил разрешение на отъезд, его полагалось отчислить из Института. У меня с Сашей не было дружеских отношений, мы разные люди, в науке занимались совершенно разными вещами. Но увидев, что многие отворачиваются, не хотят быть замеченными около него, я счел нужным показать ему, что он не одинок, и есть люди, которые не боятся и готовы протянуть ему руку. Я стал заходить к нему домой, мы гуляли вместе, беседовали. И вот он мне говорит: «Слушай, мне передали, что вчера был актив Института всеобщей истории, посвященный моему делу. Я ни с кем не связывался. Ты мог бы узнать, что там происходило?». Прихожу в Институт. Первый, кого я встречаю, — С. Л. Утченко, заведующий сектором древней истории, доктор исторических наук, известный специалист по Древнему Риму. Я рассказывал о моей схватке с Минцем, когда в давние времена поступал в аспирантуру, — я кричал об антисемитизме, а он кричал про интернационализм. Так вот, свидетелем этой нашей схватки был Сергей Львович Утченко. С тех пор прошло много лет. Я говорю:

— Сергей Львович, вчера состоялось сборище, Некрича прорабатывали, что же там происходило?

— Да, было.

— Крики о предательстве были? Кто же особенно отличился?

Он смял этот разговор, показался мне каким-то вялым, скучным. В коридоре встречаю еще кого-то и говорю: «Что это с Утченко, может быть, заболел?» И слышу в ответ: «Так он же громче всех вчера кричал». Это меня поразило, я знал: Утченко не мог искренне верить, что человек, совершающий поступки, подобные поступкам Некрича, действительно является изменником, предателем, он прекрасно все понимал. И что же?

Разгадка оказалась простой: на следующей неделе предстоял ученый совет, на котором его должны были переизбрать на пост заведующего сектором истории Древнего мира.

Такова была атмосфера начала 70–х гонцов. Но поворотным моментом, усилившим реакцию, стали события 1968 года. Что означало заявление чехов о «социализме с человеческим лицом»? Значит, тот социализм, в котором мы сидим, не человеческий? Кто же мы такие? Естественно, что власти предержащие этого выдержать не могли. Движение лавины, начавшееся еще до Пражской весны, теперь усилилось. Сталинисты подняли головы, явно брали верх, и уже шла речь о том, что на очередном съезде партии они будут реабилитировать дорогого их сердцу Сосо.

Ситуация в Институте, как и вообще в исторической науке, была очень сложная, напряженная, многие дрожали и трепетали. Прихожу в Институт, сижу в одиночестве, входит мой коллега. Я говорю:

— Что с тобой, на тебе лица нет.

— Знаешь, я иду по коридору, навстречу директор Института (это была З. В. Удальцова). Я говорю ей: «Здравствуйте, Зинаида Владимировна», а она еле кивнула и прошла. И руки не подала. За этим что-то кроется. Что бы это могло быть?

— Ну, знаешь, положение безвыходное. Пойди купи веревку, намыль ее и в сортире повесься.

Вспоминаю такой эпизод. Во время войны между Израилем и арабскими государствами 1973 года в партбюро нашего Института стали по одному приглашать евреев — членов партии и участников Великой Отечественной войны; предлагали подписать письмо, в котором от их имени осуждалась, как там было сказано, израильская агрессия против миролюбивых арабских соседей.

И вот, как мне передавали, произошли, один за другим, три эпизода с тремя вызванными туда лицами. Я не буду называть их имена — речь не о лицах, а о ролях, которые каждый из них сыграл в этом малопристойном действе. Первый приглашенный прочитал текст письма и объяснил тем, кто требовал от него подписи, почему он отказывается этот документ подписать. На том расстались. Входит другой, читает предложенный документ, говорит: «В эти игры я не играю», и уходит без объяснений. Наконец, входит третий, читает письмо; как мне передавали, краснеет, зеленеет, бледнеет и подписывает его. Можно обойтись без комментариев.

Приходят на ум слова классика: в числе человеческих пороков один из самых главных — трусость.

Ведь это уже не 40–е годы, а они по — прежнему боялись.

Конечно, были люди, которым действительно приходилось бояться. Вот потрясший меня эпизод, случившийся несколько позднее, в начале 80–х годов. Виктор Михайлович Холодковский был удивительный человек. Внешне он напоминал нескладную фигуру, какой Кукрыниксы изображали Дон Кихота. И в нем было что-то донкихотское. Он занимался новейшей историей Финляндии и написал монографию, в которой не мог обойти такого печального, дикого, страшного эпизода, как «зимняя война» с Финляндией 1939–1940 годов. Он мне рассказывал буквально со слезами на глазах, что с ним делали в издательстве: заставили кромсать рукопись по — живому, глава о войне была просто аннигилирована. Книга вышла изувеченной. Но этим не кончилась его история. Виктор Михайлович был неисправим.

Проводится очередной советско — шведский симпозиум историков. В прениях по какому-то вопросу вдруг вылезает Холодковский и говорит, что «зимняя война» с Финляндией была не чем иным, как сталинской агрессией. Что должны были подумать шведские историки и шведская пресса, если на официальном заседании советский историк высказывает такую точку зрения? Поначалу это выступление никаких последствий для Холодковского не имело. Но вскоре обнаружилось, что в Швеции поняли, как это интересно. В шведских газетах появились, по — видимому, какие-то толкования. Может быть, действительно Советское правительство изменило свою позицию и устами неофициального лица, историка Холодковского, дезавуирует эту войну? Тогда здешние власти схватились за голову. Кто позволил, кто допустил? Виктора Михайловича вызвали на объединенное заседание партбюро и дирекции Института. После длительной проработки с выворачиванием рук и унижением человеческого достоинства — так, как они умели это делать, — доказывается его профессиональная непригодность к работе в Институте всеобщей истории. В. М. подает заявление об уходе, а вскоре покидает партию.

И вот моя последняя встреча с ним. Уже началась перестройка, 1987 или 1988 год. Я иду, как сейчас помню, по Ульяновской улице, теплая погода. Вижу, какой-то длиннющий дядя наклеивает афиши на стенды. Я подхожу:

— Господи, Виктор Михайлович, как я рад вас видеть! Хотя как- то странно: кандидат исторических наук, вышедший на пенсию, расклеивает афиши.

— Да, — говорит он, — в летние месяцы приходится прирабатывать, без этого трудно. Арон Яковлевич, я очень рад вас видеть, но я вас умоляю, друг мой, никому в Институте не говорите, чем я занимаюсь.

— Виктор Михайлович, ведь стыдиться-то не вы должны, а эти сукины дети, эти мерзавцы, которые вас довели до этого, а вы-то при чем?

Ну, он просил меня не рассказывать, и я это делаю только теперь, много лет спустя после его кончины.

Штрихи к портрету нашей тогдашней исторической цивилизации можно рисовать бесконечно, но я приведу только еще один пример, связанный непосредственно с моей персоной. Вскоре после упомянутого обсуждения «Проблем генезиса феодализма» ко мне домой является мой начальник, заведующий Скандинавской группой, и говорит: «Слушай, старина, мы завтра соберем нашу группу и будем обсуждать твой “Генезис феодализма”, чтобы поставить точку и закрыть этот вопрос. Тебе для этого надо сделать очень простую вещь — найди в своей книге три методологических ошибки, три недочета. Признай их, мы запишем в протокол, и все будет кончено». Я выпроводил своего дружка с его ценным советом. Понимаете ли, стоит оскоромиться, один раз ударить себя в грудь, один раз признаться, что ты не прав, дальше тебя затопчут и спасибо не скажут. Я этого допустить не мог.

Летом 1974 года произошли новые события. Как я уже говорил, в сборнике «Средние века» я печатался с завидной периодичностью начиная с конца 50–х годов и вплоть до 1973 года. И вдруг на партийном собрании Института сообщают, что в Отдел науки ЦК «поступил сигнал» о том, что в очередной статье Гуревича в сборнике «Средние века» допущены новые методологические ошибки. Рекомендовано в кратчайший срок провести научное (конечно же, научное!) заседание, посвященное разбору этой статьи. Причем устанавливался срок — до обмена партийных билетов. Последнее меня особенно озадачило и повеселило. Мне обменивать нечего, и почему надо связать с обменом партийных билетов проработку моей статьи, посвященной пенитенциалиям — покаянным книгам католической церкви в Раннее Средневековье — и тому, как в них преломлялась народная культура, я до сих пор осознать не могу.

Но тем не менее летом 1974 года — расцвет застоя — собираются люди, профессор Гутнова специально приехала с дачи, спрашивает, бедняжка, почему нужно было приезжать, она якобы не понимает, о чем речь идет. У меня произошел беглый разговор с секретарем парторганизации Института, он сообщил мне о предстоящем обсуждении и спросил, как я буду себя вести. Я ответил, что не могу предсказать свое поведение, но, во всяком случае, если меня опять будут так кусать, как это было по поводу «Генезиса феодализма» в 1970 году, то у меня все зубы еще на

месте.

Начинается заседание. Отсутствует парторг (тогда им был И. Н. Осиновский), отсутствует заведующий сектором Византии З. В. Удальцова, отсутствует большой активист А. Н. Чистозвонов. Заседание должно уже начаться, а они все еще находились в кабинете Е. М. Жукова и пребывали там примерно минут сорок. Мне становится ясно, что речь идет о том, какую резолюцию по поводу очередных завихрений Гуревича надо принимать: отсекать голову или не отсекать, «казнить нельзя помиловать». Наконец, являются, я не стал вглядываться в их лица, кажется, они были не удовлетворены, каждый по — своему, но, по — видимому, какой-то компромисс состоялся.

Я думал: ладно, я исказил, недооценил, переоценил, извратил, но каково бедному моему директору! Ведь это грехопадение сотрудника его Института, порочная статья опубликована в органе Института всеобщей истории. Самое мудрое, что мог предложить административный ум, — попытаться спустить это на тормозах, отчитаться наверх, что меры приняты, и вместе с тем не устраивать лишнего шума. Так оно и произошло. Коллеги, желавшие меня выгородить, один за другим говорили: да, в этом сборнике № 37 есть интересные материалы, но некоторые содержат не совсем, может быть, верные утверждения. Вот, в частности, у Арона Яковлевича, по — видимому, преувеличена роль католической церкви. Я сижу и думаю: каким прибором вы измерили эту роль, почему вы знаете, что я ее преувеличил? А может быть, я ее как раз преуменьшил, поскольку еще недостаточно знаю историю католической церкви. Затем говорят: в некоторых других статьях есть неточные формулировки. И вдруг я слышу, протираю уши: и у А. Н. Чистозвонова в его статье тоже что-то не так. Ну, ребята, как говорил в известном анекдоте директор бани, ставший директором театра: «Иде я нахожуся?» Наконец, ясность вносит А. Н. Чистозвонов, который этих экивоков не понял: «Зачем мы притворяемся? Мы проводим обсуждение статьи Гуревича, причем не по своей воле, а потому, что дано соответствующее указание, и мы его выполняем». И нечего растворять по дозам критику, надо с Гуревичем и разбираться. Было принято соломоново решение: указать, что в статье Гуревича, содержащей интересный конкретный материал, явно преувеличена роль католической церкви.

На этом мое авторство в сборнике «Средние века» и мой роман с сектором истории Средних веков кончились навеки. Больше я там не печатался. Нужно сказать, что это был год массового исхода из сектора истории Средних веков — такой

exodus. Малов ушел, Осиновский ушел, Павлова ушла, ушли еще некоторые люди, которые не хотели там работать. Почему? Не буду отвечать на этот вопрос — я в этом секторе не работал. Ни меня, ни М. А. Барга, ни Л. М. Баткина — ведь не самые уж завалящие мы были медиевисты — никогда в этот сектор и близко не подпускали. Да мы и сами туда не особенно рвались. Чувствуя себя маргиналами, мы пребывали в других подразделениях Института.

* * *

Но какую роль вообще играла Академия наук в эти годы? Ведущие наши гуманитарии — лингвисты, семиотики, литературоведы, историки, искусствоведы — вспомним хотя бы Топорова, Аверинцева, Гаспарова, Мелетинского и многих других, в том числе и историков, уже известных своими трудами, — в университетах не работали. Пожалуй, было только одно исключение — Ю. М. Лотман в Тартуском университете. Так ведь это не в Москве, а в Тарту, на периферии. Еще Вяч. Вс. Иванов работал в МГУ, но в 1960 году, когда он вступился за Б. Л. Пастернака, его, совсем молодого человека, вышвырнули из университета.

Все мы оказались в академических институтах, кропали свои сочинения, это нам разрешалось. Многие это рассматривали как привилегию — тебя не трогают, за казенное жалованье сидишь и занимаешься своим делом, время от времени выполняешь плановую работу. Но от преподавательской деятельности, дела благодарного, но требующего огромных усилий, нас заботливо оградили и к студентам не подпускали. Мы были изолированы от молодежи. Совместительство не поощрялось, одни лишь боссы считались незаменимыми, и их повсюду приглашали. И много лет спустя, когда совместительство было разрешено и академических специалистов можно было привлекать для преподавания, и то все мы оставались вне университетской системы, кроме вновь образованного РГГУ. Только создание кафедры теории и истории мировой культуры на философском факультете МГУ изменило положение.

В начале 70–х годов мы ощущали все возраставший нажим сил, которые мешали свободному развитию мысли. Требовались историки, которые не думают. А когда появлялись какие-то группы думающих гуманитариев, то, естественно, с ними старались расправиться. Мы пытались сопротивляться.

Я убежден, что наряду с чисто научными причинами

формирования, развития и расцвета семиотической школы в Тарту и Москве существовали и идеологические и общественно — политические причины. Это была форма интеллектуальной оппозиции. Плеяда ученых, прежде всего лингвистов, наиболее продвинутых на пути превращения гуманитарного знания в более или менее точное, научное, доказуемое знание, на протяжении довольно длительного времени отстаивала себя как группу единомышленников. Достижения их были весьма значительны, отечественная семиотика высоко котировалась в научных кругах многих стран. На протяжении десятилетий под руководством Ю. М. Лотмана издавались серия «Труды по знаковым системам» и другие работы, в которых публиковались десятки статей исследователей разных специальностей. Это направление консолидировало усилия лингвистов, историков и специалистов других дисциплин.

Семиотика держалась прежде всего благодаря энергии нескольких корифеев, которые оказывали огромное научное и личное воздействие на весь этот круг. Но теперь — одних уж нет, а те далече. Лотман, к нашему великому сожалению, скончался, ушли из жизни и некоторые другие. Сейчас не выходят «Труды по знаковым системам», и, насколько я осведомлен, их уже и не будет. Нет конференций, которые представляли собой настоящие интеллектуальные пиршества. Я принимал в них участие; не знаю, в какой мере было для моих коллег интересно участие историка, но для меня семиотический концептуальный аппарат и определенные структуралистские методы являлись в какой-то мере привлекательными. Простое их перенесение в историческое исследование, конечно, невозможно, но направить мысль они могли. Однако еще до кончины Ю. М. Лотмана стали намечаться кризисные явления, а с уходом его стало яснее, что это движение, вероятно, исчерпало себя — по внутренним причинам (боюсь, что это именно так).

Вспомню любопытный и характерный эпизод: «историки и семиотика». Это были 70–е годы. В Институте истории СССР происходило заседание, посвященное проблеме текста. Из Тарту пригласили Ю. М. Лотмана. Всемирно известный ученый, создавший у нас мощную лингвистическую и культурно — историческую школу, семиотик, труды которого переведены на все языки науки, делает доклад в среде профессиональных историков. И вот к нему обращаются профессора: «Юрий Михайлович, все, что вы говорите, очень интересно, хотя и не все понятно. Вы бы написали статеечку на эту тему». Историки не знают, что рядом развивается наука, без которой и у нас с текстологией ходу не будет. В дальней провинции есть,

оказывается, некий Лотман, но никто из ведущих историков не знает, что это выдающийся, великий ученый.

* * *

Как видим, время моей научной деятельности — она началась примерно около 1950 года, и вот сейчас уже 2000 год — не было отмечено сплочением здоровых сил, творческим взаимодействием. Эта внутренняя разобщенность, неспособность объединиться на чисто научной почве является, мне кажется, одним из важнейших препятствий для развития гуманитарного знания у нас.

Совсем недавно перевели, наконец, с опозданием на семьдесят лет, книгу Марка Блока «Короли — чудотворцы», и меня попросили написать послесловие. Есть предисловие Ле Гоффа, в котором рассматривается существо этой книги. Что еще можно сказать? Я написал следующее. Начиная с 20–х годов в Страсбурге, а затем в Париже складывалась и развивалась группа гуманитариев: историков разных профилей — античников, востоковедов, медиевистов, историков Возрождения; психологов, лингвистов и представителей ряда других гуманитарных специальностей. Они тратили множество усилий для установления взаимопонимания, для того, чтобы расширить тот контекст, в рамках которого только и можно понять проблемы гуманитарного знания. Во Франции это происходило на протяжении нескольких поколений — от 20–х годов, от поколения идейного вдохновителя этого движения Анри Берра, от Блока и Февра, через Броделя, Дюби, Ле Гоффа, Леруа Ладюри, к следующему поколению Жан — Клода Шмитта и многих других, которое сейчас тоже достигло уже большой зрелости. Таким образом, четыре — пять поколений гуманитариев постоянно находились в тесном взаимодействии, сначала в Страсбурге, а затем на левом берегу Сены. Были созданы соответствующие учреждения типа Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, журнал «Annales», вокруг которого объединились единомышленники, получившие возможность не только декларировать и пропагандировать свои теоретические взгляды, но и публиковать конкретные работы, в которых эти взгляды претворяются.

Создавалось постоянное ощущение плеча товарища; все заняты своими делами, но оказывается, что все заняты одним и тем же — стремятся превратить историческую науку XIX — начала XX века, проникнутую духом позитивизма, в нечто

принципиально новое.

А мы разобщены, мы спорим по второстепенным вопросам, мы придумываем псевдопроблемы, между тем как важнее всего — творческое соревнование, теснейшее взаимодействие гуманитариев.

Опыт французских историков указанного направления поучителен и в другом смысле. В каждом поколении выдвигался научный лидер (или их было несколько), который задавал исключительно высокие стандарты исследования, и это побуждало его коллег в свою очередь поднимать планку.

В наших постсоветских условиях, когда нам достались в наследство далеко не самые лучшие научные традиции, эта забота о качестве приобретает принципиальное значение.

VII. 60–70–е годы: «акме» историка

Собственные мемуары и изучение исповедей средневековых интеллектуалов. — Создание серии монографий. — Публикация перевода «Апологии истории» Марка Блока. — Трудности в осмыслении нового материала. — Размышления о ремесле историка. — Встреча с польскими учеными. — Первые контакты с Ле Гоффом. — Три парадоксальных классика: Грёнбек, Бахтин, Арьес. — Преодоление издательских препятствий. — Приключения с немецким переводом «Категорий средневековой культуры». — Отклики на «Категории».

Мои самонаблюдения доказывают все с большей очевидностью, что мемуары — вещь не безобидная. Не могу не признаться, все чаще вспоминаются слова поэта: «Мысль изреченная есть ложь». То, что приходит на память в часы одиночества, и то, что я произношу в этой аудитории, — далеко не одно и то же. Невольно включается механизм самоцензуры; о каких-то событиях, которые, сидя за письменным столом, я скорее всего зафиксировал бы в своих мемуарах, я не говорю, и те признания, которые человеку легко записать, когда он находится вдали от людей, застревают в горле.

Речь идет не о сознательном искажении правды, но о том, что иные детали прошедшего, и подчас даже немаловажные, опускаются. В особенности это касается моего отношения к некоторым персонажам. Кое — кого я, вероятно, не пощадил бы, сиди я один на один с листом бумаги или компьютером. Но здесь, в этой аудитории, я по временам испытываю своего рода смущение и призываю себя к сдержанности, о которой, не исключено, потом пожалею. Впрочем, как вы уже могли убедиться, сдержанность моя небезгранична.

Случилось так, что я приступил к изложению своих воспоминаний в то самое время, когда я заканчиваю монографию об индивиде на средневековом Западе. В значительной части она основана на анализе текстов автобиографий (в той мере, в какой

правомерно говорить об автобиографии, скорее представлявшей собой исповедь, или апологию, или житие).

Лица духовного звания, такие как Абеляр, Гвибер Ножанский, Сугерий, Петрарка и другие, испытывали потребность, каждый по своим причинам, поведать современникам и потомкам о собственной жизни — либо с нравоучительной целью, либо движимые жаждой славы и самооправдания. Эти сочинения в значительной мере проникнуты религиозными настроениями, а потому честолюбивые намерения их авторов подчас оказываются в противоречии с идеей обуздания собственной гордыни — самого тяжкого из смертных грехов.

Анализ подобных текстов сопряжен с очень большими трудностями, ибо сплошь и рядом исследователю приходится предпринимать попытки обнаружить личность, скрываемую от читателя набором риторических клише и ссылок на библейских, раннехристианских и античных персонажей. Неповторимая субъективность того или иного автора, пишущего о себе, по большей части замаскирована, может быть, даже вопреки его искренним намерениям.

Итак, моя нынешняя работа протекает одновременно в двух планах — это попытка проникнуть в сознание человека, жившего много веков тому назад, и опыт восстановления собственной жизни, рассматриваемой в связи с общим развитием современной исторической мысли. Последнее оказалось для меня очень поучительным. Теперь я начинаю лучше понимать те трудности, какие порождает человеческая память.

И наконец, еще одно соображение. Отсутствие зрения, обрекающее на погружение в абсолютную и бесконечную ночь, неизбежно окрашивает мои мысли в более мрачные тона, чем если бы я вспоминал, владея всеми своими органами чувств. Я не жалуюсь и не пытаюсь оправдаться — просто — напросто я отдаю себе отчет в том, что гамма чувств и воспоминаний может оказаться у меня несколько сдвинутой.

Поэтому то, что я излагаю, не есть, конечно, выдержанная во всех пропорциях картина происходившего, а скорее некоторые пункты, на которых хочется подробнее остановиться. Но быть по сему.

* * *

Вторая половина 60–х и начало 70–х годов были в моей жизни периодом очень важным, потому что, наконец, стали вырисовываться для меня контуры тех подходов к изучению

истории, которые до этого представлялись весьма смутно или вообще не были включены в сферу моего сознания. И по результатам это было очень продуктивное, урожайное время. За семь лет между 1966 и 1972 годами я опубликовал, если не ошибаюсь, пять монографий. Правда, многое было написано раньше, но тогда, будучи профессором провинциального педагогического института, я был лишен возможности реализовать свои планы в виде книг. Статьи выходили, а с монографиями не получалось. И вот, наконец, эта препона по разным причинам была преодолена, вышли сначала «Походы викингов», затем часть моей докторской диссертации в виде книги «Свободное крестьянство феодальной Норвегии», книга «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе»; написанная тогда же и вышедшая несколько позже, в 1972 году, монография «Категории средневековой культуры» и параллельно с ней книжка «История и сага». Кроме того, вскоре я опубликовал небольшую книгу «Эдда и сага», в которой нашли воплощение лекции, читанные на филологическом факультете МГУ за несколько лет до этого, затем книгу «Норвежское общество в Раннее Средневековье» — это вторая часть докторской диссертации, защищенной в 1962 году, переработанная в свете последующего собственного опыта и новой историографии. Участвовал я также в коллективных трудах — «История Норвегии», «История Швеции», «История крестьянства в Европе», но прежде всего работал над своими темами по социальной и культурной истории Средневековья. Я ощущал, что мною накоплены силы для того, чтобы по — новому подойти к проблематике, которая меня привлекала.

В те годы мне удалось совершить нечто, что я позволю себе, при всей своей врожденной скромности, отметить как, может быть, главное, чем я мог бы гордиться. Это публикация у нас «Апологии истории» Марка Блока. Ее перевод вышел в 1973 году под моей редакцией и с моей статьей. Книга М. Блока «Характерные черты французской аграрной истории» была издана раньше, но то была более специальная работа, и ее читали преимущественно историки социально — экономических отношений, специалисты по истории Франции. Я думаю, что появление на русском языке «Апологии истории» — научного завещания Марка Блока, книги, посвященной общим проблемам, было тогда существенным прорывом в нашем историческом сознании. Смею надеяться, что и в последующие десятилетия она сохранила это свое значение (второе издание удалось выпустить к столетию со дня рождения Марка Блока, в 1986 году).

А. Д. Люблинская, испытывавшая к Блоку глубочайшее

почтение, читала в рукописи перевод и помогла переводчице и мне рядом конкретных, дельных и точных замечаний. Она внимательно изучила также рукопись моей статьи и задала только один вопрос: «Почему вы совершенно не критикуете Марка Блока?» Я ответил: «Марк Блок жаждал критики, но тогда он мог ее выслушать, ответить и использовать. Теперь Блоку моя критика не нужна, и меня не интересует тема “Марк Блок и марксизм”, она — не главное у Блока». Он знал марксизм, относился к нему с некоторым предубеждением как к некоей тоталитарной философии, которая его страшила. И вообще на философию истории французские историки — они объединяли в этом понятии и Гегеля, и Маркса, и Тойнби, и Шпенглера — смотрели не без предубеждения.

Процесс превращения рукописи в книгу, как тогда, так и сейчас, является длительным. К тому же на этом пути «Апологию истории» поджидали всякие рогатки. Книга выходила в издательстве «Наука», в котором практиковалась очень сложная система рецензирования: надо было получить гриф Института, благословение тех, кто надзирает за продукцией историков. Пришлось идти на некоторые ухищрения и столкновения для того, чтобы книга дошла до стадии корректуры. И вот, наконец, заведующая редакцией всеобщей истории Инга Сергеевна Трахтенберг, как она мне рассказывала, представила корректуру на подпись главному редактору издательства А. Н. Сахарову. Рассчитав, чтобы он не особенно вникал, она отнесла ее вечером, а наутро пришла за ней. Времени для чтения было совсем мало. Она спрашивает:

— Вы прочитали?

— Да, я прочитал.

— Ну, так все в порядке?

Тут он цитирует слова Блока, которые я привел в своей статье: «Я француз и чувствую себя евреем только перед лицом антисемита». Он ей это декламирует, а Инга Сергеевна, женщина очень энергичная, экспансивная и прекрасно понимающая значение книги Блока, принимает воинственную позу и говорит:

— Ну и что, Андрей Николаевич?

— А ничего.

И книга вышла в серии «Памятники исторической мысли». Прошло несколько лет, и покойный ныне мой старший коллега Н. А. Ерофеев рассказывает мне следующее. Он написал популярную книгу о том, как изучается история. Ответственным редактором был академик А. Л. Нарочницкий — тогда у каждой книги был ответственный редактор, предполагалось, по — видимому, что если кого-то надо будет привлекать к

ответственности, то помимо автора «на ковер» вызовут этого ответственного редактора, и пусть он объяснит, как пропустил крамолу. И в том месте рукописи Ерофеева, где цитировалась «Апология истории», академик начертал: «Перевод и издание книги Блока на русском языке было крупной политической ошибкой». Я всегда говорил: пусть печатают, а потом пусть будет что угодно, поделать-то уже ничего нельзя.

Задержки публикации написанных работ по издательским, административным и другим не зависевшим от меня причинам, хотя и раздражали (книги не коньяк, и от лежания в подвале звездочек у них не прибавляется), но в конечном счете пошли на пользу. Более зрелой становилась мысль, и я, хотя бы отчасти, освобождался постепенно от упрощений и недодумок.

Когда я делал свои первые доклады в разных научных учреждениях, обсуждая новые для меня да и для нашей исторической науки проблемы исторической психологии и другие вопросы, связанные со средневековой культурой, с изучением социальной истории Скандинавии и континентальной Европы, у слушателей возникали каверзные вопросы, порой ставившие меня в тупик. Не всегда у меня находились убедительные ответы, потому что связи между теми феноменами, которые я пытался обсудить и осмыслить, не были мне ясны. Например, когда речь шла о такой увлекательной и актуальной еще и сегодня, но тогда не проработанной мною в разных аспектах проблеме, как восприятие времени в определенной культуре (конечно, прежде всего средневековой, которой я занимался), я, может быть, несколько поспешно высказывал односторонние, а потому и не вполне убедительные выводы. Однажды я делал доклад, если не ошибаюсь, в семинаре в Музее изобразительных искусств, где регулярно в течение ряда лет проходили научные среды, на которые собирались специалисты многих гуманитарных дисциплин и даже люди, не принадлежащие к цеху гуманитариев. С. С. Аверинцев, выступая в прениях, совершенно справедливо указал, что в моих рассуждениях нужно поставить больше вопросительных знаков, чем точек и тем более знаков восклицательных. Он был глубоко прав.

Не только в некоторых докладах, но и в статьях, главах монографий были явные пробелы; ряд вопросов я спешил решить, не имея для этого достаточно развернутой стратегии анализа сложных источников. Освоение новой проблематики вызывает трудности в адекватном осмыслении накопленного материала. Данные по истории Скандинавии в сопоставлении с данными из истории Англии и Европейского континента, которые удалось собрать, часто подавляли своим обилием. Как разместить их в

какой-то понятийной сетке, как обнаружить их смысл? Это возможно только путем установления связи между разными феноменами и линиями развития. Все это было довольно трудно и даже болезненно.

«История историка» (1973 год):

«К новым проблемам, с которыми я столкнулся, можно было приблизиться, только пересмотрев всю систему ценностей, лежавшую в основе моего ремесла. Мое счастье, что потребность обновиться как историку возникла у меня в возрасте между тридцатью пятью и сорока годами. Будь я старше, эта ломка оказалась бы, вероятно, уже невозможной. Завидую молодым — они не знали мучений, связанных с совлечением с себя "ветхого Адама", они просто начинали по — новому! Мне предстояло постепенно "выдавливать" из себя старое и ставшее препоной. Совершенно ошибочно, однако, представлять себе этот духовный непрофессиональный кризис так, что я отбросил все прежнее: это попросту невозможно, полнейшее внезапное перерождение личности бывает лишь в агиографии. Употребленный мною термин "реконструкция историка" кажется вполне адекватным определением пережитого (и переживаемого мною и поныне) процесса. Хотя я в полемическом пылу нередко именую аграрную историю, на которую сам ухлопал столько лет и сил, "историей навоза", — я имею при этом в виду тех историков, которые не видят и не желают видеть никакого выхода из нее и часть, лишь один аспект исторической действительности склонны принимать за целое или за основное, превращая аграрную историю в самоцель. Эта ограниченность кругозора мешает им понять даже и самую эту часть — ибо они не понимают ее зависимости от всего остального, не видят ее подлинного места в контексте социальной действительности Средних веков, действительности, которую ныне я могу мыслить только как социокультурную (что включает в себя и экономику), но не как социально — экономическую в традиционном ее понимании (с акцентом на все якобы объясняющую экономику). Вот против этой вульгарно понятой экономической истории — поистине "истории навоза", поскольку она обходится без людей, я не устану сражаться. Она антиисторична».

И тем не менее я понимал, нет, скорее ощущал, ощущал нутром, что те вопросы, которые я обсуждаю, в высшей степени научно актуальны, свежи, и необходимо в них углубляться. Человек высказывает новые идеи. Сначала они кажутся парадоксальными, еретическими, сомнительными, но проходит более или менее длительное время, с ними осваиваются, если только не отбрасывают, привыкают к ним, а потом наступает

такая стадия, когда говорят: «Господи, нам все это давно уже известно, сколько можно об этой исторической антропологии рассуждать» (сейчас эта стадия имеет место).

Мучительный и длительный процесс освоения и переваривания нового материала продвигался. Многое из непродуманного и плохо сформулированного было отброшено, пересмотрено, и, по сравнению с устными выступлениями, в опубликованных работах, надеюсь, было уже меньше прежних недостатков. Я не хочу сказать, что мои книги, вышедшие тогда, совершенны, что я добрался в них до дна истины. Конечно, нет. Историческое познание — это всегда спор без конца, нет такого положения, которое приняло бы аксиоматические формы. Наши тезисы — это более или менее обоснованные гипотезы, которые могут оказаться отчасти продуктивными для дальнейшей работы или же ошибочными, и тогда надо иметь смелость и настойчивость, чтобы отбросить их и пересмотреть вопрос заново.

Само количество выданной мною в конце 60–х и начале 70–х годов продукции говорило о том, что перед моим умственным взором открылись необъятные просторы, широкое поле для изысканий. Это давало силу, смелость и чувство внутреннего освобождения. Я помню, что были дни, недели и месяцы, когда я чувствовал себя окрыленным, понимая, что вышел на тропу, которая ведет не в тупик, не во мрак, а может и меня, и других людей, готовых воспринять это новое, привести к более или менее позитивным результатам.

«История историка» (1973 год):

«В то же время, когда мною были написаны перечисленные работы по общим вопросам (о закономерности и о факте в истории, о социально — исторической психологии… о формациях, об источниках для изучения социально — исторической психологии…), т. е. в 1964–1967(68) годах, у меня было намерение написать на их основе, расширив и, возможно, дополнив, книгу под условным названием “Человек и история”. Я хотел сконцентрировать ее изложение вокруг двух основных тем: (1) человек в процессе истории — его изменчивость и постоянство, его участие в историческом процессе, т. е. человек как субъект истории; (2) человек, познающий историю (проблемы эпистемологии), как познающий субъект, иначе говоря, — историческое познание как неотъемлемая сторона исторической общественной практики. Не знаю, удалось ли бы мне реализовать этот обширный замысел, но писать книгу не для издания мне не хотелось: часть вопросов была так или иначе мною уже рассмотрена, писать о них вновь значило бы повторяться — прошло слишком мало времени, чтобы исполнить все по —

другому… Теперь я рад, что не вышло: книга оказалась бы скороспелой, и, боюсь, я бы вскоре начал ее стыдиться. Статьи — менее обязывающий жанр, и “продолжительность их жизни” в среднем предполагается более короткой, чем книг.

Время обдумывания общетеоретических вопросов, далеко выходящих за рамки моих непосредственных исследовательских интересов, закончилось к концу 60–х годов — и по причинам внутреннего порядка (меня все более отвлекали собственно медиевистические темы), и по внешним, от меня не зависящим: стало “холодать”, мои работы уже не пользовались спросом в “Вопросах истории” и других изданиях. А там уже развернулось “наступление” на меня и других структуралистов.

Упомянутые “линии” развития историка, конечно, суть разные стороны единого развития, перестройка самой личности. Смысл всей этой нелегкой и длительной трансформации я вижу прежде всего в освобождении от шор, мешавших видеть мир и историю, превращение “закрытой” системы в “открытую”. При этом, конечно, обострялось несоответствие “микросистемы” (личности) и “макросистемы” (социума): первая открывалась, раскрывалась навстречу новым идеям, вторая же в основе своей, при всех внешних переменах, оставалась “замкнутой”… Но не об этом здесь речь.

Задача состояла в том, чтобы осознать ситуацию историка в потоке истории. Прежде эта ситуация рисовалась до чрезвычайности просто. Историк — наблюдатель “извне” рассматривает при посредстве своих без помех и искажений воспринимающих “приборов” процесс, протекающий по ту сторону этих “приборов”. Он вооружен знанием законов исторического бытия, при помощи какового знания он “собирает данные” источников и выстраивает их во вполне объективную картину прошлого. Возможна лишь одна истинная реконструкция этого прошлого, и над ней трудятся все историки, помимо честно заблуждающихся или фальсифицирующих сознательно. “Факты” истории — объективная реальность, “данная” нам в источниках. Исторические источники, согласно этой точке зрения, единственный и надежный канал связи, соединяющий историка с прошлым и, при соблюдении традиционных правил критики, обеспечивающий исследователя доброкачественной, достоверной (хотя подчас и недостаточной) информацией. Короче говоря, весь “путь” информации от прошлого, подлежащего реконструкции, до историка, производящего эту реконструкцию, казался прямым, ясным и не сулящим больших потерь. Историческая наука мыслилась аналогичной наукам естественным. Философы и историки потратили немало сил на опровержение

риккертианского противопоставления “наук о культуре” “наукам о природе”, чтобы укрепить себя в убеждении о единстве гносеологических процедур во всех отраслях знания.

Это понимание исторического исследования — в высшей степени упрощенное и наивное. Не выдерживает критики прежде всего мысль о том, что историк — познающий субъект, находящийся “вне” изучаемого им “объекта”. На самом деле он — в том же потоке истории, и его сознание, равно как и все связанные с исследованием процедуры, определяются тою социально — культурной системой, в которой он находится и из которой ему не дано вырваться. Следовательно, его “прибор” испытывает в полной мере все те “помехи”, которые делают относительной и замутненной его точку зрения наблюдателя, его знания, помогающие ему изучать историю, навязаны ему специфической обстановкой, в которой он только и способен ориентироваться. Все это — не “помехи”, конечно (помехами, кои желательно устранить, они кажутся лишь уму, питающему иллюзию “строгой объективности” познания, находящегося где-то в неподвижной и не подверженной внешним влияниям точке), а неизбежные условия человеческого познания вообще, помноженные в социальных науках на естественную человеческую заинтересованность. Иначе говоря, наблюдатель изучает общество “изнутри”. Это во — первых.

Во — вторых, изучение общества коренным образом отличается от изучения природы в том отношении, что первое состоит из мыслящих, чувствующих существ, которые не подчинены пассивно неким “законам истории”, но активно ее переживают и творят ее. Последний термин нуждается в пояснении. Я имею в виду не банальную и лишенную содержания зу “народ — творец истории”, а тот очевидный факт, что люди заняты деятельностью, которая и есть история, и неотъемлемым условием и компонентом этой деятельности являются мысли и чувства людей, и все, что историк хочет выведать об их жизни, в этом смысле есть продукт их духовной деятельности.

А отсюда следует, что история общества не может быть историей “объектов” или историей абстрактных категорий — она должна быть историей живых людей — не в смысле красочности и живости изложения (это другая сторона дела), а в понимании и интерпретации материала. Для реализации этой задачи необходима выработка особой методики, нового угла зрения, под которым рассматривается жизнь человеческая. Все срезы истории — политику, экономику, право, быт, искусство, философию, поэзию и т. д. — нужно научиться понимать таким образом, чтобы они были способами проникновения в жизнедеятельность

людей изучаемой эпохи. Имеется в виду не дешевая "психологизация" истории (ее беллетризация), а раскрытие во всех отраслях человеческой деятельности существенных черт структуры личности, способов ее мировосприятия, мироощущения, самосознания и поведения. Потому-то мне так близки оказались труды историков Школы "Annales" Марка Блока и Люсьена Февра и их современных преемников, прежде всего Жака Ле Гоффа. В них я нашел своих подлинных учителей и постарался в какой-то степени дать это понять в статье о Марке Блоке (в издании его "Апологии истории").

История — наука о законах развития общества: так твердят все определения исторической науки в нашей литературе. Это совершенно неверно. "Законы истории", о которых при этом говорят, — суть не что иное, как банальности, для формулировки их вовсе не нужно изучать историю, а знание их нисколько не помогает ее изучению! Философы могут сколько угодно рассуждать об общих исторических законах, историк не их ищет в своем материале, хотя бы он и питал подобную иллюзию. Объект исторического познания — *конкретно — историческая индивидуальность*, неповторимая ситуация в культурной, политической, социальной жизни. Это индивидуальное вовсе не означает уникального, ни с чем не сопоставимого и не подлежащего сравнению, — и тем не менее история кончается там, где находят монотонное повторение все одного и того же.

[…] Конкретно — историческая индивидуальность всегда соединяет в себе неповторимое с типичным. Без возможности соотнести ее с каким-то типом она была бы непонятна, непознаваема; будучи полностью, без остатка сводима к типу, она перестает быть исторической и становится выдумкой бездарных схематиков. Почему так нудна и скучна история в школе (и в средней, а подчас и в высшей)? Именно потому, что ее упростили до стандартной схемы, лишили индивидуального облика.

Внимание историка не может не быть направлено на раскрытие конкретного, и только в этом конкретном, внутри его структуры историк может искать закономерное, регулярное, повторяющееся. В этом истинность неокантианского подразделения наук на "генерализирующие" и "индивидуализирующие", на "законополагающие" и рисующие конкретный, индивидуальный облик культуры. Формулировка этой противоположности (конечно, не абсолютной, — такой, кстати сказать, Риккерт никогда ее и не представлял) — большой, может быть, даже решающий шаг на пути к эмансипации наук о культуре от тирании естественно — научного мышления.

История как наука о культуре, о конкретно — исторических

индивидах служит, следовательно, не “открытию законов”, а имеет свою собственную задачу. Мне уже приходилось писать об этом. Если б история имела целью формулировку законов, спрашивается, кому бы она была нужна?! Законы истории волнуют немногих. Между тем невозможно представить себе такой беспамятный и безголовый народ, самый дикий и отсталый, который вовсе бы не интересовался историей, прошлым, в виде мифа, легенды, родословной. Историческое знание есть неотъемлемая форма общественного *самосознания*, по цитированным уже мною где-то словам J. Huizinga, форма, в которой цивилизация отдает себе отчет о самой себе. Не в этом ли глубочайший смысл истории?

Но если мы согласимся с этим определением из него надлежит сделать еще некоторые выводы. Один из них, по всей вероятности, может вызвать возмущение многих историков — профессионалов, которые обвинят меня в оправдании фальсификации, попустительстве мифотворчеству и т. д. Я далек от всех подобных намерений и тем не менее решусь утверждать: будучи формой самосознания (и самопознания) общества, культуры, зеркалом, в которое смотрится цивилизация, история — рассказ о прошлом преследует цель (объективно, помимо самых благих и честных намерений историков и вопреки им) спроецировать на прошлое собственные ценности общества, его способ виденья мира и на экране истории, опираясь на толщу времени, оправдать его нынешний облик. Тем самым история склонна грешить самым страшным грехом, с ее собственной точки зрения, — грехом антиисторизма. Прошлое моделируется по образцу настоящего, и, следовательно, настоящее погружается в историю. Обычно считается, что современность, с ее запросами и потребностями, интересами и ценностными критериями, формулирует вопросы, задаваемые историками минувшим временам. Это верно, но и самые ответы на свои вопросы, которые получают историки, слышны тогда, когда они чем-то созвучны настоящему, — не все речи давно прошедшей эпохи иное время в состоянии услышать и понять. Мы отбираем в потоке идущей из истории информации лишь релевантное, лишь то, что имеет интерес и смысл для нас. Мы воспринимаем лишь в определенном диапазоне волн.

Не нужно сказанное понимать слишком буквально и безоговорочно! Необходимо различать между запросами и интересами общества в отношении истории, с одной стороны, и профессиональными способностями историков расшифровывать эту историю — с другой: первое и второе могут не совпадать (или не могут совпадать?). Обществу, возможно, надобен только миф о

прошлом, проблема истинности мифа его не занимает. Историк же, как член данного общества, тяготеющий к тому же мифу, вместе с тем в качестве профессионала не может не стремиться проверить его “на объективность”, “на истинность”. Он не отвергнет, возможно, этот миф целиком, но внесет в него некоторые поправки, уточнения и т. п. Между научной картиной действительности и обыденным восприятием этой же действительности всегда существует зазор, и подчас немалый, — но разрыв между первой и второй вряд ли мыслим. Ибо обе они порождены одним временем и принадлежат одной культуре, у них в конечном счете общая система координат, которыми руководствуются и научное, и обыденное сознание. Историки тоже не стоят вне своего общества.

“Реконструируя” историю, вместе с тем ее “сочиняют”. Средневековые хронисты и поэты заселяли древность рыцарями и сеньорами, приписывали древним куртуазию и феодальный образ жизни, а современные историки находят в далеком прошлом классы, их борьбу, развитие частной собственности, развитие производительных сил, борьбу материализма с идеализмом, “реакционную роль религии” и даже атеизм…

Неизбежно ли столь антиисторичное обращение с историей? Можно высказать предположение, что в периоды генезиса и расцвета той или иной социальной системы, исполненной уверенности в собственных силах и оптимизма относительно будущего, самокритика и скептицизм не в ходу, и существует достаточно прочная уверенность в способности ее осмысливать историю и свое место в ней. Не то в осеннюю пору. Тогда утончается духовный инструментарий, возрастает склонность и способность переосмысливать прежние мифы, некогда дававшие жизненные силы обществу, а затем обветшавшие и лишившиеся своей энергии и убедительности. И тогда приходит время историков, не созидающих, а разрушающих мифы.

Дихотомия массового сознания, “здравого смысла”, творящего образ прошлого по образу и подобию современности (вовсе не обязательно просто — напросто во всем его себе уподобляя, но выделяя в нем близкие себе и понятные черты, закрывая глаза на остальное), с одной стороны, и профессионального критического сознания историков — с другой, может быть, таким образом, и очень значительной, и весьма невеликой, — она зависит от состояния культуры общества, от степени его зрелости. Эта дихотомия делает положение историков парадоксальным и, временами, не лишенным трагизма: когда их реконструкция прошлого ближе всего к его образу в общественном сознании — она может быть

далека от научной; становясь научной, она отрывается от запросов общества, и историк рискует остаться в одиночестве.

Но, возразят мне, если принять эти соображения, то история — не наука! Признаться, мне не очень-то понятны усилия тех, кто всячески старается подчеркнуть и доказать, что история — наука. В одной из своих статей я уже писал, что слова старого историка "история — это наука, не больше и не меньше", убедительные в XIX веке и даже еще на рубеже нашего столетия, ныне звучат двусмысленно, претенциозно и потому во многом неправдивы. Вообще образ науки, руководствующейся исключительно требованиями точности, истины, стерильной по отношению ко всему человеческому — к идеям, страстям, вкусам, — кажет. ся мне во многом ложным. Применительно к наукам о культуре — в особенности!

Человеческие истины всегда и неизбежно антропологичны. Помещаясь в человеческих головах, владея живыми сердцами, истина, направляющая людей на те или иные поступки, не может не окрашиваться эмоциями, целевыми установками и даже эстетическими тонами. И незачем рыдать над утратой ею "химически чистой" нейтральности, которой она никогда не обладала! Для того чтобы служить людям, истина, наука должны подышать их воздухом, пропитаться их стремлениями и страстями. Худо, когда наука превращается в проститутку, но слепая девственность, страшащаяся всего земного, — бесплодна.

Я, кажется, впал в риторику. Дело в том, что очень устойчив, имеет мощь предрассудка, т. е. почти неискореним образ "объективной" науки. О ней громче всего кричат те, кто так или иначе приспосабливает ее к своим нуждам. Возможна ли наука без предпосылок? А где коренятся сии предпосылки? В чем состоят потребности общества, порождающие научный анализ?

Но пусть биологи и математики сами судят, насколько беспристрастны и бесстрастны их дисциплины, — мне хватит хлопот с историей. Так вот, я утверждаю, что история — наука *пристрастная*, что работать, не имея никаких симпатий и антипатий, увлечений, склонностей, даже предвзятых идей, историк, который изучает людей, действовавших в обществе, совершавших поступки и движимых мыслями и страстями, — не может. Это та сторона дела, которую учено именуют аксиологической и которую я назвал бы человеческой.

Почему каждая эпоха, любое общество заново пересматривают историю? Почему так быстро устаревают труды и построения старых (подчас — вовсе еще не старых!) историков? Почему сейчас, в первой половине 70–х годов, уже невозможно читать книги наших университетских учителей? Почему нельзя

работать “на века”?! Потому что наш мир очень быстро изменяется, а вместе с ним — и перспектива, в которой мы рассматриваем историю, интерес к ней, вопросы, которые волнуют наши поколения и которые нельзя решить, не обращаясь также и к истории.

На памяти моей и моих сверстников — время, когда историей в обществе не интересовались, когда не очень-то ловко было отрекомендоваться историком — доверия и уважения к нашей профессии не было, книг наших, за редкими исключениями, не читали, их уценяли и списывали — и правильно делали: в них не содержалось ни вопросов, волновавших людей, ни, тем более, решений… ныне интерес к истории колоссально возрос. Книги историков покупают, на исторический факультет стало попасть труднее, чем на мехмат. Что это означает? И какие обязательства налагает на историка? Пока историки не встречали заметного общественного резонанса, довольствуясь отношениями в своей среде (и с начальством!), их продукция, в большинстве своем, и не могла быть существенной для широкого читателя, — “обратной связи” не было (потому что не было и общественного мнения!). Ныне автор сочинения по истории может себе представить своего читателя — он у него есть, он ожидает от историка некоего Слова (как ждет он его от философа, публициста — документалиста, от кино- и театрального режиссера и, боюсь — реже, от писателя). Между исторической наукой и читающей, думающей частью общества создаются новые отношения, которые не могут не оказывать своего воздействия на характер и направленность нашей продукции.

И это не нужно понимать упрощенно. Я имею в виду ведь не дешевку, спекулирующую на истории, не “бестселлеры” развлекательного типа и не агитку (Е. Б. Черняк как символ). Важно осознать то, что у нас имеется читатель, и сделать из этого определенные выводы. Первый вывод, который напрашивается из констатации этого факта, состоит, мне думается, в том, что необходимо понять возможно глубже общественную функцию нашей науки, ее подлинные задачи, ее природу.

Вопросы, которые историк задает своим источникам, в конечном счете диктуются жизнью его общества, современными интересами. Создается перспектива, в которой устанавливается связь времен, то, что я назвал бы диалогом. Но диалог предполагает не одного, а двух участников. Следовательно, историк должен приложить максимум усилий для того, чтобы изучаемая им эпоха “заговорила”. Как расшифровать мертвый язык? Как возвратить ему хотя бы часть того смысла, который вкладывали в него говорившие некогда на нем люди? Если идти

путем не произвольного и субъективного “вживания в эпоху”, а искать какие-то более надежные и регулярные каналы связи, то предстоит решить целый комплекс очень сложных методических и эпистемологических проблем. Вот тут-то лингвистика, семиотика, культурная антропология и другие смежные дисциплины (включая литературоведение и искусствознание) могли бы оказать существенную помощь. История тоже отчасти становится наукой о знаковых системах.

Но сколько же должен знать и уметь современный историк! Приходится переучиваться заново. Вот, помимо всего прочего, важная причина того, что при изобилии историков — историков почти вовсе нет и что вместе с тем об истории нам больше могут поведать специалисты, историками, строго говоря, не являющиеся (такие, как Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, С. С. Аверинцев и подобные им люди, ставшие на голову выше историков — ремесленников).

Переучиваться крайне трудно, могу подтвердить это своим, столь поздно начатым опытом. Трагично то, что в высших учебных заведениях учат традиционной, устаревшей истории, учат в основном люди старого склада, специалисты, знания и умения которых уже мало полезны. “Нас” к преподаванию не допустят. Все мои друзья и коллеги, которые могли бы побудить студентов к поиску новых путей, практически учеников не имеют. Остается уповать на способных молодых людей, которые сами, чтением, размышлением будут постепенно доходить до принципов новой науки.

“Нужна ли новая наука история?” — так или примерно так сформулировал вопрос эстонский историк Ю. Кахк (в “Вопросах истории”). Он полагает, что речь может идти лишь об усовершенствовании существующей науки, о дальнейшем ее техническом оснащении. В век колоссального ускорения технического развития панацею везде и повсюду ищут в счетных машинах, в применении точных методов, во внедрении языка математики. Оставляя в стороне вопрос о математизации исторического знания […], выражу свое несогласие с мыслью о том, что довольно было бы “улучшить”, “усовершенствовать”, в чем-то “дополнить” историю. Нет, назревают глубокие, принципиальные сдвиги ее, и чем скорее историки расстанутся со сциентистскими иллюзиями, чем глубже осознают они специфику истории как науки о культуре, тем меньше издержек в будущем она понесет […], тем в большей мере историческое знание сможет выполнять свою миссию в нашем обществе, на мой взгляд, очень значительную и важную для него.

Из высказанных выше разрозненных соображений об

особенностях исторического познания, которые направлены на дополнение и уточнение мыслей, высказанных мною ранее в статьях 60–х годов, статьях, естественно, цензурованных и мною самим, и издателями их, должно явствовать, что я не стою на точке зрения “единственно возможной” исторической истины: при разных подходах к истории возможна — и неизбежна — различная ее интерпретация. Плюрализм в понимании и истолковании исторических явлений — закономерный результат поворотов исследовательской призмы, и чем большее число ракурсов рассмотрения будет достигаться, тем большие участки “белого поля” будут расчищены — хотя бы на время. На время — ибо “окончательные истины” и прочие завоевания истории не очень-то даются. Мне по душе определение исторического знания П. Гейлом: “Спор без конца”. Здесь верно схвачен процесс исторического познания: существенен не конечный результат, не абсолют, стремление к коему столь же неискоренимо (это — пафос научного познания), сколь и неосуществимо практически, — важны каждая данная стадия этого процесса и те концепции, толкования, которые выдвигаются в споре. Каждая такая концепция есть не более, как один из аргументов в споре, осужденный самим процессом дискуссии на то, чтобы быть поставленным под сомнение, опровергнутым, превзойденным. Историческая наука не терпит “твердо установленных”, самодовольных и каменеющих в догматы истин. Перед лицом одержимых нетерпимостью и фанатизмом ортодоксов я настаиваю на том, что существо всякой науки, в том числе и исторической, составляют открытость, множественность точек зрения, соперничающих между собой, сопоставляющих себя друг с другом».

* * *

Тогда же я обнаружил, что мои изыскания в ряде существенных пунктов перекликаются с тем научным движением, которое параллельно происходило в зарубежной историографии (оно зародилось, конечно, гораздо раньше меня). Его истоком явилась Школа «Анналов», а затем эта «радиация», шедшая из Парижа, распространилась более широко.

В 1967 году я впервые получил возможность выехать за границу: мой польский друг, варшавский профессор Станислав Пекарчик, тоже скандинавист, прислал мне личное приглашение, благодаря которому я смог отправиться в Польшу с женой и дочерью, не преодолевая тех препон, которые были бы

выставлены при попытке получить научную командировку. В Варшаве, познакомившись с рядом коллег, я ощутил себя в родном социалистическом лагере, в рамках той же господствующей идеологии. Но, как они тогда шутили, — «лагерь один, но в нашем бараке повеселее». И действительно, листая польские исторические и философские журналы, я находил работы, в которых выдвигались положения, немыслимые для «Вопросов истории», «Вопросов философии» или других советских изданий.

Я общался с такими людьми, как Пекарчик, Александр Гейштор, будущий президент Польской Академии наук, тогда директор Исторического института Варшавского университета, Генрик Самсонович, специалист по средневековой урбанистике, в будущем ректор университета в Варшаве, молодой тогда Бронислав Геремек, близкий друг Ле Гоффа. За год или два перед моей поездкой была совершена своего рода научная вылазка Школы «Анналов» в Польшу, и корифеи этой школы установили тесные личные контакты с польскими коллегами, что оказало на лучших представителей польской исторической науки очень заметное влияние и имело долговременные последствия.

Я убедился и в том, что школа, работающая над проблемами эпистемологии истории, также получила в Польше гораздо большее влияние, чем у нас; об этом свидетельствовали мои встречи с тогда еще молодым и похожим на мальчика познанским профессором Ежи Топольским, о кончине которого в прошлом году я глубоко сожалею. Беседы, выступления перед польскими коллегами, участие в дискуссиях — все это способствовало более интенсивному приобщению к новому направлению исторической мысли. Конечно, и в Польше я встречал историков совсем других ориентаций, но все же там были и те, кто мыслил более современно, нежели значительное число моих советских коллег. Польша — не такая уж западная страна, но все-таки пребывание в ней стало для меня первым «глотком свободы».

На родине единомышленников у меня было немного. Те, кому нравилось то, что я делаю, сплошь и рядом вели себя так. Подходит человек, посмотрит направо и налево, чтобы убедиться, что его слов не услышат посторонние уши, и говорит: «Как интересно то, что ты делаешь, что ты опубликовал». Все мои работы были на некой грани подзапретности или во всяком случае сомнительности.

Но общение с французской исторической мыслью давало мне и вдохновение, и уверенность в том, что я на верном пути. Когда вскоре после публикации «Проблем генезиса феодализма» я послал Ле Гоффу оттиск одной из моих статей, опубликованной

на английском языке, он заказал мне статью в журнал «Annales». Это было большое отличие — в этом журнале наших историков печатали очень редко и не всегда с полным одобрением. Например, публикацию статьи А. Д. Люблинской (то ли это была вступительная статья к русскому переводу книги Блока «Характерные черты французской аграрной истории», то ли какая-то другая) Бродель, шеф редакции, снабдил своим предисловием. Есть такая точка зрения советских историков, писал он, но представители «Анналов» с ней согласиться не могут.

Было очень приятно получить номер «Анналов», где мою статью о формах собственности и обмене дарами в Европе эпохи Раннего Средневековья поместили в рубрике «Новые рубежи». И это действительно были новые рубежи для французских историков. Хотя кое-кто из них тоже занимался подобными вещами. Примерно в это же время вышла книга Ж. Дюби, где были очень интересные, даже вдохновенные страницы, посвященные роли обмена дарами. Но скандинавский Север, как я уже подчеркивал, оставался да и теперь остается вне поля зрения французских медиевистов, и это серьезно затрудняет понимание многих аспектов средневекового социального строя и средневековой культуры.

* * *

В то время я только еще подходил к проблеме, которая стала для меня выясняться ближе к середине 70–х годов. А именно: наряду с официальной культурой и религиозностью в средневековой Европе существовал другой мощный пласт культуры, в орбиту которой так или иначе были втянуты все — от плебеев до аристократов, светских и церковных. Но только воспринимали они эту культуру, которую условно можно было бы назвать «народной культурой», по — разному.

Понятие «народная культура» было введено в гуманитарную мысль прежде всего под влиянием Бахтина. Конечно, и до него на Западе существовали работы, в которых говорилось о специфической религиозности простонародья. Но она рассматривалась как некоторое остаточное явление, нечто маргинальное, периферийное, естественно, заслуживающее известного внимания, но не включавшееся в концепцию средневековой культуры, взятой в целом. Между тем книга Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», вышедшая в первый раз в 1965 году, оказалась поистине революционной. Я помню то

впечатление разорвавшейся интеллектуальной бомбы, которое она произвела и на меня, и на моих друзей, и вообще на всех ее читателей.

Несколько раз я сталкивался с трудами, несущими на себе отпечаток игры ума гениального ученого, который конструирует картину, представляющуюся ему, надо полагать, отражением объективно существовавшего мира прошлого. Это построение в определенном смысле продуктивно, потому что будит мысль, вызывает на спор и заставляет осмыслить новые проблемы или заново подойти к тем, что казались решенными, ясными.

К такого рода книгам я отношу труд Бахтина и по меньшей мере еще две книги. Меня, молодого скандинависта, в свое время поразила одна книга, вышедшая задолго до того, как возникли ростки Школы «Анналов». Это труд замечательного датского историка Вильгельма Грёнбека «Наш народ в древности» (в немецком переводе — «Культура германцев»), вышедший в 1908–1912 годах. Следы его огромного влияния можно невооруженным глазом обнаружить во всех моих скандинавистских работах и работах по народной культуре. Вот и сейчас мой юный коллега читает мне ее, я возвращаюсь к ней в третий или четвертый раз.

У Грёнбека были, конечно, некоторые издержки, рожденные тем временем, когда он эту работу создавал. Один из главных тезисов его труда — идея господства родового строя и родового коллективного сознания, растворяющего в себе индивидуальность человека, — не выдержала критики современных исследователей, и я принадлежу к числу тех, кто с ним не согласен.

Грёнбек не применял тех относительно проверенных методов, которые развивали позже Марк Блок, Люсьен Февр и их последователи. Он скорее вживался, вчувствовался в эту культуру — прием в высшей степени субъективный и, я бы сказал, спорный, для современного исследователя вряд ли вполне пригодный. В свое время мысли Дильтея о вчувствовании, вживании в другую культуру оплодотворили гуманитарную мысль, однако то время прошло, и ныне так работать невозможно.

Тем не менее книга Грёнбека — это удивительный сплав научного исследования, базирующегося на источниках, и полета поэтической мысли; она читается, как поэма. Ему удалось показать культуру германцев — это древнескандинавская, прежде всего, древнеисландская культура — как некоторую связную, пронизанную внутренними едиными токами и напряжениями культуру людей, унаследовавших ее от глубокой древности, от тацитовских или дотацитовских времен и на почве этого древнего наследия создавших в XI-XIII веках великолепную разветвленную литературу, совершенно уникальные феномены культуры —

«Старшую Эдцу», песни скальдов и прежде всего саги, семейные, или родовые, и саги о норвежских конунгах.

Грёнбек написал книгу, от которой теперь мы должны как бы отправляться, занимая по отношению к ней критическую позицию и вместе с тем понимая, что гениальность ученого, даже пользующегося методологией, ныне неприемлемой, может дать чрезвычайно интересные, пусть не бесспорные результаты. В свое время книга эта оказала на скандинавистов огромное влияние, и то, что у современных специалистов я очень редко нахожу ссылки на работу Грёнбека, меня несколько озадачивает. Так легко отказаться от своих великих предшественников, и это при нашем небогатстве гениями!

К сожалению, созданный в начале XX веке труд Грёнбека, стилизовавшего древнеисландскую словесность и культуру под общегерманскую, впоследствии был использован в шовинистических целях теми историками, которые развивали нордическую идеологию (то же самое произошло и с рядом других трудов по скандинавистике, увидевших свет в более позднее время). Но я убежден: замалчивать на этом основании работу такого калибра, какую создал Грёнбек, было бы столь же нелепо, как отказываться исполнять и слушать музыку Вагнера, поскольку его любил Гитлер.

Пионерской работой является и вышеназванная книга Бахтина. Я считаю ее гениальным изобретением Бахтина, плодом игры ума, своего рода мифологемой, которая, однако, не выдерживает проверки при соприкосновении с источниками. Те, кто знаком с моими трудами, в частности с работой «Проблемы средневековой народной культуры», знают, что по отношению к его книге я со временем занял довольно-таки критическую позицию.

Бахтин, не будучи историком — он был прежде всего мыслитель, философ, историк литературы, — строил свою аргументацию на специфическом и весьма одностороннем, как показала в дальнейшем литературно — историческая критика, истолковании романов Рабле. Через произведение гуманиста середины XVI столетия, единичное в своей необычности, Бахтин хотел вернуться к истокам мифа о вечно возрождающемся и умирающем «гротескном теле», в котором господствует «телесный низ» со всеми его грубыми проявлениями. Но его рассуждение о вечно умирающем и вечно возрождающемся коллективном теле культуры, воплощенном прежде всего в народе, в его толще, в его не посвященных в теологические тонкости глубинах, не находит подтверждения в источниках Средневековья.

Эта книга вызвала своего рода потрясение в умах. На нашу

публику, воспитанную на понятиях «формация», «классы», «классовая борьба», «базис», «надстройка» и т. д., высказанные Бахтиным оригинальные идеи и по — новому осмысленные понятия — «гротеск», «амбивалентность», «телесный низ» и прежде всего «карнавал» — произвели огромное впечатление. Тотчас появилось множество адептов, подхвативших эти понятия. Везде стали находить элементы карнавала. Почти сразу книга Бахтина была переведена на все основные языки науки. На Западе ее восприняли более сдержанно, но введенное Бахтиным понятие народной культуры оказало свое воздействие и на французских «анналистов».

Бахтин поставил перед наукой важную проблему. Не существовал ли на самом деле в Средние века мощный пласт культуры, который не являлся хлебом богословов, плодом размышлений мыслителей типа Бонавентуры, Фомы Аквинского, но был заключен в человеческом сознании не в виде законченных теорий, стройных теологем, а в форме мироощущения, разлитого в человеческом обществе? В конечном итоге Бахтин говорил как раз о том, о чем говорили Февр и Блок, когда вводили понятие mentalitй, ментальность.

Что же касается понятия «карнавал», то меня всегда удивляло следующее: даже самые просвещенные, мыслящие свободно этнологи, фольклористы, литературоведы, семиотики упускали из виду одно, как мне кажется, весьма немаловажное обстоятельство: никаких убедительных или бесспорных указаний на существование карнавала в Европе до конца XIII — начала XIV века мы не находим. Историк — зануда спрашивает: а какие же доказательства можно найти в исторических источниках?

Религиозно — католический карнавал, о котором говорит Бахтин, — это феномен Позднего Средневековья и в основном Ренессанса и послеренессансной эпохи. Правда, с точки зрения Бахтина, карнавал восходит к глубокой древности, к архаике; вспоминаются вакханалии, сатурналии и т. д., но это неправомерно: древнеримские обряды были совершенно иными. Карнавал проходит по разработанному сценарию, в определенные дни и недели литургического года, при непосредственном участии духовных лиц; это компонент позднесредневековой культуры. Такой сценарий не в деревне разыгрывался, там могли быть хороводы, пляски, сезонные праздники — отдаленные предпосылки становления сценария карнавала. Но сам карнавал — яркое, сложное, вовлекающее в себя массы людей действо, отличающееся от других театрализованных действ тем, что здесь нет актеров и зрителей, все участники — актеры, возникает в

городе — новом центре культуры, развивавшемся в конце Средних веков. И другие рассуждения Бахтина на поверку источниками оказались недоказуемыми.

Но я был благодарен Бахтину, что немедленно и выразил в рецензии, на написание которой меня спровоцировал Л. Е. Пинский, помогавший Бахтину при окончательной подготовке к печати его книги, рекомендовавший ему новую литературу, недоступную ссыльному саранскому ученому. Моя рецензия, написанная с точки зрения историка, была опубликована в «Вопросах литературы». Я со всей определенностью подчеркнул, что книга Бахтина стоит на том же высочайшем уровне, что и книга Хёйзинги «Осень средневековья», в очень осторожной форме высказал и свои сомнения. Я был осторожен не только потому, что понимал, с кем пытаюсь полемизировать, но и потому, что тогда, в середине 60–х годов, очень многое оставалось мне еще неясным. Чтобы подтвердить свои сомнения или отказаться от них, нужно было поднимать новые пласты источников.

Как я уже сказал, книга Бахтина всколыхнула наши умы и произвела огромное впечатление на гуманитариев. Но она осталась скорее памятником современной мысли, нежели тем, что служит конструктивным целям.

И наконец, третья книга в этом ряду — Ф. Арьес «Человек перед лицом смерти». Я считаю эту книгу гениальной и вместе с тем глубоко ошибочной. Арьес поставил перед исторической наукой, и в частности перед медиевистами и специалистами по XVI-XVIII векам, великую проблему восприятия смерти: как человек осознавал себя перед ее лицом. Речь шла не только об обстоятельствах, при которых он умирал, и о совершавшихся при этом обрядах, но и о том, как он воспринимал свой мир и потусторонний мир и соотношение между ними. Как изменялось отношение общества и индивида к смерти как великому финалу любой человеческой жизни? Построение Арьеса увлекательно и в высшей степени плодотворно с точки зрения извлечения из глубин исторического сознания новой проблемы.

Этот вопрос неисчерпаем. С тех пор написаны целые библиотеки книг и статей, проводились международные коллоквиумы, обсуждали и обсуждают самые разные аспекты восприятия смерти. Поднимаются новые и новые материалы, позволяющие все более конкретно, более многоцветно осветить великую. проблему человеческого существования, экзистирования человека в рамках средневекового католического мира. Несколько лет назад нашими усилиями эта книга вышла на русском языке в очень хорошем переводе В. К. Ронина.

Своей постановкой вопроса Арьес бросает вызов историкам, историкам литературы, специалистам по истории и теории культуры, заставляет их по — новому подойти к затронутой им проблематике. Но его выводы, заключения сплошь и рядом находятся в вопиющем противоречии с данными источников. Когда я впервые прочел книгу Арьеса, первой моей мыслью было: может быть, я плохо понимаю по — французски, но мне кажется, что его концепция неверна. Однако, напрягшись, я убедился в том, что понял автора адекватно.

Арьес, который сам называл себя, с сожалением, конечно, l'historien de dimanche — большую часть своей жизни он работал в фирме, занимавшейся импортом экзотических фруктов, — мог уделять время для своих исторических изысканий преимущественно в выходные дни. Он очень плохо и чрезвычайно выборочно знал источники, более того, он ими по большей части пренебрегал. Его не интересовали хронологические строгости и методологические экзерсисы, которые свойственны и необходимы историкам (правда, часто они только этим и ограничиваются, не имея тех семи пядей во лбу, которые у Арьеса, конечно, были). На соседних страницах можно обнаружить доказательства некоего тезиса, почерпнутые из «Смерти Ивана Ильича» и из какого-нибудь древнего памятника.

Здесь не место подробно развивать критические замечания, тем более что они высказаны в моих работах, но одно общее соображение методологического свойства нельзя обойти молчанием.

Арьес придерживался мнения, будто в Раннее Средневековье господствовала вера в то, что после смерти человек впадает в чрезвычайно длительный сон, вплоть до конца света. Идея же Страшного суда складывается якобы не ранее конца XII–XIII века, когда появляются соответствующие скульптурные изображения на западных порталах готических соборов. Но это сцены коллективного суда, который Христос творит над всем родом человеческим. Лишь в XV веке, по мнению Арьеса, впервые складывается идея индивидуального суда, происходящего в момент смерти христианина.

Однако историки, занимавшиеся позднеантичным и раннесредневековым периодами, давно обнаружили изображение сцен Страшного суда в искусстве этих ранних эпох. Это первое. Второе: сцены индивидуального суда над душою умирающего многократно встречаются в памятниках церковной словесности, по меньшей мере, с VI века. Но Арьес полностью проигнорировал все эти источники, придерживаясь идеи прогрессивной эволюции сознания, которая, по его мнению, лишь по окончании

средневековой эпохи приводит к индивидуализму. Мой исследовательский опыт привел меня к выводу, что обе эсхатологии, «великая», коллективная, и «малая», индивидуальная, каким-то образом одновременно сосуществовали в сознании верующих на протяжении всего Средневековья.

Работа Арьеса, подчас неубедительная в своих построениях и выводах, исключительно важна в качестве стимула для нового рассмотрения проблем, казалось бы, далеко не новых. То же самое следует отнести и к его более ранней монографии «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке».

Мне повезло: с этими произведениями корифеев науки я столкнулся в годы ученья и становления как историка, они увлекали меня, будили мысль. Но, слава Богу, мой характер мешал мне присоединиться к хору эпигонов Бахтина или Арьеса. Я относился к их выводам скептически, что меня и спасло, и убежден в основательности моих возражений.

У французских историков я не встречал развернутой критики ни Бахтина, ни Арьеса. По — видимому, там не принято особенно полемизировать. Автор какой-либо работы развивает свои мысли, он может по существу или из вежливости сослаться на классические труды Бахтина или Арьеса, не вдаваясь в анализ их аргументации и не вступая с ними в спор. Мне же казалось необходимым на материале источников высветить противоречия, содержащиеся в этих классических сочинениях, для того, чтобы моя собственная мысль могла двигаться дальше. И я делал это неоднократно.

* * *

По моему убеждению, крепнувшему в 60–70–е годы, одним из существенных условий работы историка является более или менее ясное представление об аудитории, к которой он обращается. Возможно, есть ученые, работающие в «башне из слоновой кости», перед умственным взором которых не витает образ их будущего читателя. Я же всегда ощущал острую потребность представить себе, для кого я пишу. Разумеется, когда занимаешься частным вопросом, выясняешь специфические, узкопрофессиональные проблемы, без чего немыслимо ремесло историка, адресуешься к коллегам, которые тоже могут быть в этом заинтересованы; их всегда немного, и с ними идет спокойный профессиональный разговор. Но когда я писал «Проблемы генезиса феодализма» и «Категории средневековой

культуры», я уже прекрасно понимал, что к коллегам — медиевистам старшего или среднего поколения мне обращаться незачем и не с чем. Мне были достаточно понятны научные ориентации многих из них и их позиции в научной, околонаучной или антинаучной жизни. Искать с ними общий язык не имело смысла. Идти на компромиссы, вуалировать свою мысль и стараться говорить с ними не на своем, а на их языке или на каком-то волапюке, противоестественном гибриде, составленном из их и моей мыслительной фразеологии и терминологии?

Я, напротив, был склонен сжечь мосты, которые все равно прогнили. Я вообще не придерживаюсь классического правила: худой мир лучше доброй ссоры. Возможно, в повседневной жизни надо идти на компромиссы, сносить от ближних вещи, которые тебе неприятны, прощать им, и тебе простятся особенности твоего характера и поведения, которые не могут вызывать единодушного одобрения. Но когда речь идет об острых научных и идеологических вопросах, ученому надлежит четко обозначать свои позиции и не идти ни на какие компромиссы, если только они не диктуются научными соображениями.

Дорог мне всегда был молодой читатель и слушатель — студент, аспирант, начинающий ученый, вовлекающийся в процесс научного творчества, способный воспринять, прислушаться. Я знал, кому адресую «Проблемы генезиса феодализма» и в еще большей мере — «Категории средневековой культуры». Этой молодой аудитории я настойчиво хочу объяснить: «Ребята, то, что вы слышите в лекциях, и то, что вы читаете в учебниках истории Средних веков, — это вовсе не то Средневековье, о котором говорит современная историческая наука, а обедненный, обесцвеченный, обесчеловеченный, кастрированный образ огромной важности исторической эпохи протяженностью в тысячу лет. Я хочу вам рассказать о другом Средневековье» (понятие «Другое Средневековье» было введено Ле Гоффом как выражение иного понимания Средневековья, нежели то, что долгое время доминировало в позитивистской науке).

Мне доставляло большое удовольствие выступать перед молодежью, хотя это удавалось не часто. После того, как окончилось мое пребывание в Калинине, я неоднократно приезжал туда с лекциями. Но там не было научной среды, а студенты не были достаточно подготовлены, чтобы воспринять те акценты в моих выступлениях, которые для меня были важны. Как я уже упоминал, на истфаке МГУ я никогда ничего не читал. Правда, я был приглашен прочитать спецкурс по скандинавской культуре на кафедре германского языкознания филологического

факультета. Но это было всего один раз.

Оставались выступления за пределами академической и университетской среды и выступления в печати. В 70–х и первой половине 80–х годов, до начала перестройки (когда она началась, все внимание интеллектуалов ‘обратилось к актуальным, животрепещущим политическим проблемам, где уж тут до медиевистики!), я не то чтобы вел жизнь странствующего проповедника, но где я только ни выступал! Я выступал в семинаре Гефтера по методологии, в Институте искусствознания, Институте философии, Институте психологии и на психологическом факультете МГУ, в Музее изобразительных искусств им. Пушкина, в Консерватории, в Кардиологическом центре, в двух физических институтах АН, в Институте конечной математики им. Келдыша, в Дубне, в Биологическом центре АН в Пущино и не помню, где еще. Причем я не просил — возьмите меня, я что-нибудь вам неведомое расскажу. Интеллигентная публика, в том числе и бесконечно далекая по своим профессиональным интенциям и занятиям от гуманитарных проблем, тем более от истории западноевропейского Средневековья, нуждалась в такого рода интеллектуальной пище. В больших аудиториях всегда находятся интересующиеся нашими проблемами и даже из моего творчества что-то читающие.

Я говорил о том, как понимаю структуру и природу исторического познания, излагал и конкретный материал, и методологию его изучения, и общеисторические проблемы, которые для меня составляли неотъемлемую часть конкретного исследования; слушали с интересом. У представителей точных наук ум устроен и ориентирован по — своему, может быть, более строго, и мысль движется совсем не так, как мысль гуманитария. Их вопросы были иногда парадоксальны, иногда, может быть, наивны, но неизменно интересны, и часто они заставляли меня подумать, прежде чем дать ответ. Развертывалась полемика, как это было, например, в Институте белка в Пущине. Вскоре я обнаружил, что гораздо большую отдачу я могу получить от людей, находящихся на периферии исторического знания, нежели от иных своих собратьев — историков.

* * *

«Категории средневековой культуры» волею судеб — а книги имеют свою судьбу, которая лишь отчасти зависит от их создателей, — оказалась центральной моей работой; до сих пор многие считают, что это наиболее существенный мой вклад в

науку. Я думаю, что это не совсем так: более оригинальной мне кажется книга о средневековой народной культуре, потому что она целиком основана на изучении источников. А «Категории» — это некоторый синтез того, что уже было накоплено в мировой науке, плюс мои собственные знания. Но она содержала в себе претензии на глобальный охват проблематики, выдвигала новые параметры в понимании изучения Средневековья и поэтому произвела наибольшее впечатление на читающую публику.

Кроме того, тут имело место стечение обстоятельств: книга вышла вовремя, ее не задержали, не потопили, не заставили меня исказить ее или кастрировать, она дошла до читателей в самых разных странах — от Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Югославии, Израиля до Испании, Португалии, Италии, США, Германии, Франции, Англии, Японии и т. д.

Отклики на «Категории средневековой культуры» буквально посыпались на меня. Но характерно: в нашей стране почти ни одной рецензии не было опубликовано. После «Генезиса феодализма» на Гуревича был наложен своего рода мораторий. Печататься не запрещали, издатели меня не сторонились. Мне рассказывали, что кто- то якобы даже обращался в какие-то инстанции с вопросом: можно ли на Гуревича публиковать рецензии? И будто бы резолюция была такая (повторяю, это из области легенд): можно, но нужно критиковать. Такие порядки меня вполне устраивали. Я готов подвергаться любой критике, даже самой неприятной, но мне нужно, чтобы все мною написанное рано или поздно было напечатано и все желающие могли бы это прочитать.

Мне не пришлось ни в одном издательстве хлопотать об издании моих книг. Обычно я получал заказы, ко мне обращались с вопросами, нет ли у меня работы, которую они могли бы напечатать, и у меня установилось прямое взаимодействие: автор — издательство. В издательстве «Искусство» в течение двух десятилетий были опубликованы пять или шесть моих книг (включая переиздания). Это издательство с конца 60–х годов облюбовало меня в качестве автора, которому они хотели заказывать работы, оттуда обращались ко мне с предложениями. Представленную монографию они рецензировали внутренними средствами, минуя и Академию наук, и министерство, и пр. «Категории средневековой культуры», «Проблемы средневековой народной культуры», «Культура и общество средневековой Европы глазами современников», «Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства» — все эти мои книги не проходили через планы Института всеобщей истории, а вышли в издательстве «Искусство».

Правда, я — редкий везунчик, потому что в этом же издательстве «Искусство», в той же редакции ряд других рукописей были зарезаны. Они были приняты одним заведующим редакции, потом произошла смена заведующего, и почти все принятые рукописи были подвергнуты уничтожающему рецензированию, после чего их из плана сняли. В этом принимали участие те недобросовестные коллеги, которые знали, конечно, что судьба рукописи зависит от них, и руководствовались часто вовсе не научными соображениями, а прикидывали, не мешают ли им эти книги и вообще нужны ли они.

Менее сердечные отношения сложились у меня с издательством «Наука», потому что там, за исключением редакции научно — популярной серии, нельзя было просто взять у автора книгу. Ему надлежало обсудить рукопись у себя в отделе, затем она поступала в дирекцию Института, если дирекция разрешала — в Ученый совет; наконец, ее включали в план издательства. Долгая канитель в лучшем случае растягивалась на годы.

Так было со второй частью моей докторской диссертации, опубликованной в виде книги «Норвежское общество в Раннее Средневековье. Проблемы социального строя и культуры». Противодействие оказывалось неоднократно, книгу выбрасывали из плана. Наконец, все было преодолено, и книга была готова. Когда пришел сигнальный экземпляр, вышеупомянутая И. С. Трахтенберг дала мне его, с тем чтобы я получил подпись директора Института или его заместителя, заверенную круглой печатью, что будет означать выпуск в свет. Я пришел к заместителю директора Института. Он сказал мне:

— Эту безобразную книгу мы издавать не будем.

— Она, может быть, совсем не безобразная, — возразил я, — у нас могут быть на этот счет разные мнения. Но бдительность вам нужно было проявить гораздо раньше, потому что книга вышла, уже тираж готов, речь идет только об оформлении.

— Нет, я подписывать не стану.

Я говорю «adieu» и ухожу. На другой день ему, конечно, пришлось поставить свою подпись.

Ни «Походы викингов», ни «Проблемы генезиса феодализма», ни «Категории средневековой культуры», ни «Свободное крестьянство», ни «История и сага» не получали грифа Института всеобщей истории, я их печатал в качестве неплановых работ. Это означало, что в Институте нужно было делать еще что-то другое. Я написал в порядке обязательной «барщины» главу в «Истории Швеции», ббльшую часть тома «Истории Норвегии», несколько

глав в 1–м и 3–м томах «Истории крестьянства в Европе». Впрочем, некоторые из этих текстов я писал с такой же любовью и интересом, как и свои книги.

Приходилось действовать осмотрительно. Когда в начале 70–х годов я работал над своими книгами, то старался никому не рассказывать об этом, кроме близких друзей. Потому что время было такое — эпоха Брежнева. Власть уже не была всесильна, но гадили на каждом шагу. И я понимал: если заранее узнают, что я пишу какие-то «Категории средневековой культуры», то кто-то может снять трубочку и позвонить по телефончику какому-то начальничку, и будет высказано мнение о нецелесообразности издания, или — отложить на время, в этом году план переполнен. Я на себе это испытывал.

Скажем, когда несколько позже в издательстве «Искусство» вышла моя книга «Проблемы средневековой народной культуры», то из Комитета по делам печати, бюрократической структуры, созданной на наши бедные авторские головы якобы для того, чтобы нам помогать, а на деле выворачивавшей руки и губившей наши рукописи, пришла «закрытая рецензия» (т. е. в ней подпись была отрезана). Читаю в ней: Гуревич претендует на то, чтобы говорить о народной культуре, но читатель обнаруживает, что в книге речь идет не о классовой борьбе крестьян, не об общественно — экономической формации, не о трудовых навыках средневекового крестьянства, а о чертях и святых и о всяких вещах, которые заведомо не представляют никакого научного и общественного интереса. Между тем книга ведь уже вышла, следовательно, рецензия была направлена на создание напряженности для директора издательства и заведующего редакцией, которые попустительствовали моей дружбе с нечистой силой.

Конечно, имелось в виду воспрепятствовать второму изданию «Категорий средневековой культуры». Я пошел к главному редактору главной редакции Комитета по печати, с которым шапочно был знаком, и сказал, что издательство хочет выпустить второе издание «Категорий средневековой культуры». «Мы ведь люди бюрократические, — говорит он, — подайте бумагу, а мы на ней резолюцию напишем». Я написал заявление, после чего директор издательства получил указание — эту книгу не надо печатать, ведь вот была же от нас рецензия на «Проблемы средневековой народной культуры», да и с бумагой плохо. Так неутомимые труженики, руководившие издательским делом, старались не упустить никакой возможности вставить автору палки в колеса. Тем не менее директор издательства выпустил второе издание «Категорий средневековой культуры».

Любопытно, что тот самый «главный редактор главной редакции» много лет спустя подошел ко мне — правда, не в Москве, а в Мадриде, где я чудом оказался в составе нашей делегации на Международном конгрессе исторических наук, и сказал, что всегда был ревностным поклонником моих сочинений. Это даже украшало жизнь — всегда можно было посмеяться или сказать, как изменчива человеческая натура, как она многолика: человек может говорить одно и писать другое, одной своей половиной он вам мешает, другой помогает.

* * *

Неожиданно обнаружилось, что читатели у меня есть не только там, куда я адресовался — не только в вузовских аудиториях Москвы, Ленинграда и провинциальных университетов. Оказалось, что их много далеко за пределами нашей страны. Сначала появились переводы «Категорий средневековой культуры» на польский, чешский, венгерский языки. Я радовался, но понимал, что эти издания могут иметь только локальное значение, поскольку на польском или венгерском языках читают преимущественно жители этих государств.

Но наступила и очередь капиталистического мира. Однако прежде произошло некоторое приключение с «Категориями средневековой культуры» в ГДР. Издательство «Verlag der Kunst» в Дрездене заинтересовалось этой книгой и обратилось ко мне за согласием на ее перевод. Это была уже путевка в большой мир науки, я был озабочен тем, чтобы все было сделано lege artis. Перевод был осуществлен. Мне прислали его, и когда я принялся за чтение, мне стало немного не по себе. Переводчица понимала по — русски, но брала в русско — немецком словаре первое попавшееся значение слова и употребляла его без согласования со всем остальным и не заботясь о смысле. В результате текст перевода пришлось существенно править. Я всегда много читал на иностранных языках, и не только научную литературу, старался следить и за тем, что из художественной литературы выходит на английском, французском и немецком языках. Но все же мое знание немецкого языка было не таково, чтобы взять на себя ответственность для указания, что это авторизованный перевод. (Оказывается, между прочим, что теперь слово «авторизованный» имеет совершенно специфический смысл. Недавно появилась в русском переводе «Жизнь Карла Великого» Эйнхарда, автора начала IX века. И там указано —

«авторизованный перевод с латинского». Каким образом переводчику удалось через 1100 лет связаться с Эйнхардом — это для меня большая загадка, мне самому хотелось бы взглянуть на Карла Великого.)

Я попросил немецких издателей дать мне квалифицированного редактора, профессора истории Средних веков, чтобы он просмотрел весь перевод. Я имел в виду Бернхарда Тёпфера, который хорошо знает русский язык. Но он был занят другими работами и отказался, о чем я очень сожалел. И тут мне сообщают, что в Потсдамском педагогическом училище работает весьма почтенный профессор Хуберт Мор; он знает русский язык — по той причине, как мне объяснили потом, что во время войны воевал на Восточном фронте, угодил в плен, долго находился в лагере немецких военнопленных и усвоил русский язык. Насколько хорошо — я не берусь судить. Этот вполне образованный и квалифицированный профессор — медиевист проделал огромную работу над моим текстом, не только все выправил, сделав его удобочитаемым, но проверил все цитаты, что было доя меня настоящим экзаменом у дотошного немецкого профессора. Все оказалось в порядке, я получил от него готовый доя авторизации перевод.

Не могу описать того ужаса и удивления, которые я испытал, ознакомившись с этим переводом. Все было хорошо, кроме одного. Находясь на службе у государства, руководимого Социалистической единой партией Германии, профессор Мор считал нужным привести мою книгу в соответствие с марксизмом — ленинизмом. Ощутив, что здесь пахнет чем-то не совсем правильным, он каждой главе предпослал обширное введение, основанное на цитатах из Маркса, Энгельса, Ленина и учебников диалектического и исторического материализма, переведенных с русского языка на немецкий.

У меня сохранилась толстая папка переписки с профессором Мором. Я старался держаться парламентских выражений, поскольку очень был заинтересован в немецком издании книги. Я пишу: «Глубокоуважаемый профессор Мор, я лишен возможности переделать мою книгу, для этого у меня нет ни сил, ни времени, поскольку я сейчас заканчиваю работу над другой книгой. Поэтому я рискну издать “Категории средневековой культуры” на немецком языке в том самом виде, в каком она появилась в первом русском издании, исключая только заголовок». («Категории средневековой культуры» — это было бы воспринято немецким читателем не совсем правильно, потому что слово «Kategorien» смахивало бы на что-то абстрактнофилософское, какая-то гегельянщина, к чему я вовсе не расположен. Я назвал

книгу по — немецки «Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen».) «Это — единственная перемена. Поэтому я Вас убедительно прошу, коллега, снять все свои инкорпорирования в текст и оставить его в том девственном виде, в каком он вышел из-под Вашего пера после редактирования».

Он отвечает: «Глубокоуважаемый г — н Гуревич! Вы, по — видимому, не понимаете, в какой напряженной обстановке мы в ГДР работаем. Германская демократическая республика находится на грани двух лагерей — социалистического и империалистического, и мы отстаиваем наши нерушимые ценности. Поэтому все должно быть сказано четко, ясно и определенно, и тексты, которые я написал, совершенно необходимы». В другом письме он предупреждал, что он — «индивидуальный» лауреат Государственной премии, очень дорожит своей общественной и идеологической репутацией и не в состоянии взять на себя редактирование книги с тем сомнительным душком, который он в ней нашел. И кроме того, Министерство — в устах немца это слово звучит, наверное, сильнее, чем у нас, — не даст своего Imprimatur, т. е. разрешения на печатание, если этих его добавлений не будет. Он писал мне: «Я вообще не понимаю Ваших неуместных возражений. Я редактировал книги проф. Данилова, проф. Сказкина, проф. имярек и вписывал то, что мне казалось целесообразным, и до Вас никто не возразил, напротив, все были очень благодарны». На фоне своих советских коллег я выглядел свинья свиньей: тебе подносят такую вкусную пищу — Маркс, Энгельс, Ленин, а ты капризничаешь.

Я адресовал ему свой последний аргумент: «Г — н профессор, я прошу Вас обратить внимание на то обстоятельство, что авторское право принадлежит все-таки мне, и я как автор выражаю желание опубликовать книгу в том виде, в каком она вышла на русском языке. Поэтому я очень просил бы и Вас, и издательство с этим посчитаться».

Он был непреклонен, но издательство приняло мою сторону, там все-таки нашлись люди, которые понимали, что такое авторское право (слово Recht что-то значит для немецкого уха, в отличие от уха русского), и указали профессору Мору, что его решение неверно. Единственное, на что я пошел, и его это устроило, состояло в следующем. Я написал ему: «Г — н Мор, я к немецкому изданию присовокуплю послесловие. В нем я укажу, что в настоящее время занимаюсь новой проблематикой — изучением средневековой народной культуры, и критически разберу концепции своих предшественников — великого русского медиевиста, писавшего еще в начале XX века, Льва Карсавина, и

своего теперешнего старшего коллеги Михаила Бахтина». Он был очень удовлетворен, считая, по — видимому, что я тем самым ставлю какой-то громоотвод. Книга вышла с послесловием Мора, в осторожных выражениях дистанцировавшегося от автора. У профессора Мора были хорошие контакты с коллегами в Москве, и, по — видимому, он имел от них информацию о том, что это за Гуревич и как с ним надо себя вести.

В ГДР книга вышла двумя изданиями. В Западной Германии мюнхенское издательство «Beck» немедленно купило лицензию на перепечатку книги, и там она выдержала пять изданий. Они отрезали послесловие Мора и издали книгу в таком урезанном, хотя, думаю, и не слишком обедненном виде. Я понял, что интерес к «Категориям средневековой культуры» проявляют не только у нас или в странах народной демократии, но и на «гнилом Западе».

Подавляющее большинство откликов на мою книгу появилось в Германии. Нелегко было найти журнал или газету, где бы она не обсуждалась, хотя бы в виде упоминания, о ней шла речь в радиопередачах. Именно на немцев она произвела почему-то очень большое впечатление. Позже у меня возникло такое предположение. Ведь многое из того, о чем я писал, могло быть известно немецкому читателю уже из трудов моих французских коллег. Но воспринять положения исторической антропологии во французском исполнении немецким историкам было, по — видимому, слишком сложно. Рейн оказался более труднопреодолимой границей, нежели граница между СССР и Германией. Франко — германский антагонизм в научной сфере ощущается и сейчас. Недаром проф. Эксле из Гёттингена в одном из ведущих немецких журналов недавно писал о том, чему могли бы научиться немецкие историки, если бы они интересовались тем, что делают их французские коллеги.

Вскоре стали появляться переводы «Категорий» на многие другие языки. В Англии на книгу опубликовал рецензию известный оксфордский профессор. Он писал, что за последние годы дважды получил сильное интеллектуальное потрясение; оба они исходили из России. В первый раз — когда в космос полетел Юрий Гагарин. Как могло получиться, что первым человеком в космосе оказался русский? И второе потрясение, не менее сильное, он испытал, когда прочитал книгу Гуревича. Каким образом в СССР могла появиться такая книга? Как говорилось в старом анекдоте из серии Армянского радио — «сами удивляемся».

Разумеется, удивление уважаемого английского коллеги объяснялось прежде всего недостаточным знанием нашей

российской ситуации. На Западе широко было распространено мнение, что под контролем коммунистических властей не может быть опубликовано ничего, кроме стандартных поделок. В действительности все было далеко не так просто. Но, конечно, языковой барьер во многом способствовал закреплению подобного упрощенного представления.

«Категории средневековой культуры» имели такой резонанс, как мало какая книга за последние несколько десятилетий. Это не мои слова. Когда в 1990 году я был на международном конгрессе исторических наук в Мадриде, профессор Леопольд Женико, один из мэтров бельгийской историографии, попросил разыскать меня и сказал мне очень теплые слова, подчеркнув, что за последние два или три десятилетия он ничего подобного не читал. Бельгийцы и французы, вероятно, склонны к преувеличениям, но когда это говорят о твоей книге, ты думаешь, что никакого преувеличения тут нет.

С книгой произошла удивительная история: она вышла на пятнадцати языках. Говорю это не в порядке хвастовства, поверьте, что в моем возрасте, перед лицом вечности и Страшного суда, которому я, по — видимому, уже подвергаюсь, это было бы смешно и ни к чему. Но согласитесь, пятнадцать переводов — это все-таки много для историка — медиевиста, а не беллетриста. Очевидно, я попал в какой-то болевой нерв, в то направление развития исторической мысли, которое наболело, возникло и развивалось. Оно представляло собой существенный вызов для мысли историков и, по — видимому, не только историков, потому что на эту книгу откликались искусствоведы, востоковеды, историки Древней Руси. Первая рецензия на французском языке написана была специалистом по русской истории.

Доказательством того, что моя книга включилась в определенное и с моей точки зрения очень существенное историографическое течение, является также то, что во многих университетах Запада — в Германии, Франции, Италии, США, Великобритании, Скандинавских странах — «Категории средневековой культуры» включены в список литературы, рекомендуемой студентам гуманитарных факультетов. Не знаю, учатся ли по моей книге мои компатриоты.

Среди всех откликов наиболее существенным была для меня открытка, полученная от Жака Ле Гоффа. Мы добились того, писал он, что издательство «Галлимар» берется немедленно перевести книгу на французский язык и выпустить ее в серии «Историческая библиотека». Это большая серия, включающая в себя наиболее капитальные труды таких авторов, как Дюби, Ле

Гофф, Леруа Ладюри и многие другие.

Но и тут было приключение, без приключений мне не удается прожить. Французы перевели эту книгу. Какая-то дама по своим делам приехала из Франции в Москву на неделю и остановилась в гостинице «Космос» (я живу на расстоянии двадцати минут ходьбы от этой гостиницы). Она тотчас же отправила мне открытку, в которой сообщала, что привезла французский перевод моей книги, просила его забрать, прочитать и к моменту ее отъезда вернуть для передачи рукописи в издательство. Дело срочное. Я этой открытки не получил. В последний день ее пребывания в Москве, когда я вечером пришел домой, жена говорит: «Приходила француженка, очень недовольная. Она тебе давно отправила послание, а ты не проявил внимания и не явился за собственной книгой». Жена, конечно, претензий мне не предъявляла, она местного происхождения и понимала, в чем дело. Но что же вышло? Гостиница «Космос» — международная; когда открытку, опущенную француженкой в тамошний почтовый ящик, вынули, ее не послали по адресу, а отправили к цензору, я же получил эту открытку только через сорок дней.

Я был разъярен и послал жалобу министру связи. Отклик последовал. Телефонный звонок:

— Арон Яковлевич, с вами говорит инженер по связи такая-то. Вы прислали нам претензию, мы проверили. Я вынуждена от своего имени и от имени Министерства принести вам глубочайшие извинения. Понимаете, летом почта работает не так быстро, как зимой, — отпуска…

Я говорю:

— Я понимаю: товарищ, который должен был перлюстрировать, был на курорте.

— Ну, чем мы можем вам помочь?

— Неустойку же вы мне не заплатите!

Вот так перевод моей книги на французский язык остался не авторизованным.

Книга «Категории средневековой культуры» вышла на широкий простор медиевистики. Казалось бы, теперь я мог твердить себе: ты классик и сиди спокойно, не надо ничего больше писать, надо беречь честь смолоду, второй раз такого не напишешь. Но меня никогда не покидало чувство юмора, самоирония, и я всегда с подозрением воспринимал свои успехи, предполагая, что они вызваны тем, что люди либо не вполне компетентны для того, чтобы меня раздраконить, показать слабые места моей работы, либо снисходительны и не говорят того, что думают.

Завершив очередную свою книгу, я нередко был убежден, что

она последняя, что больше ничего я создать не в состоянии. Но проходило какое-то время, и в голове начинали роиться новые планы и постепенно намечались контуры новой книги. Мои монографии, начиная с «Проблем генезиса феодализма» и кончая книгой об индивиде на средневековом Западе, образуют некое единство.

Я никогда не спешил с публикацией своих работ. Книга закончена, пусть полежит, пройдет какое-то время, я уже буду другим. Вот она немножко отлежалась, теперь надо снова ею заняться, и, оказывается, есть чем заниматься. За одним или двумя исключениями, все мои книги в окончательном виде бкли перепечатаны мною самим на старой трофейной пишущей машинке, купленной в 40–е годы, с которой я продолжал успешно бороться и двадцать лет спустя. Последнюю редакцию я производил уже тогда, когда пора было рукопись сдавать в издательство. Я и последний вариант не отдавал машинистке, потому что у меня была презумпция недоверия — что она там напечатает? Это была изнурительная работа, но я знал, что из моих рук вышел текст, за содержание, качество, оформление которого я полностью отвечаю. И редакторы относились ко мне очень бережно. В издательстве «Искусство» был у меня редактором молодой человек В. С. Походаев, который практически не редактировал книгу. Он говорил:

— Приходите, я прочитал рукопись, у меня есть пометки.

Я прихожу, готовый их выслушать.

— Нету их.

— А где же пометки?

— Вы знаете, я подумал и все их стер.

Это не значит, что мои книги написаны безукоризненно. Я никогда не стремился к красотам стиля, к тому же мой адресат оставался неизменным, а для него надо писать четко, ясно, логично, без словесных фиоритур.

Читателей у меня много. Ю. М. Лотман сказал как-то, что средняя продолжительность жизни научного труда гуманитария — тридцать лет. Следовательно, я должен быть на излете, но пока мои книги интенсивно читают. Я предпринимаю некоторые попытки гальванизации старых своих книг, вышли два первых тома моих избранных работ.

Здесь мне кажется уместным сказать следующее. Все мои книги я адресовал научной молодежи, но случилось так, что я не смог создать группы последователей, учеников. Есть коллеги, которым, возможно, полезны мои работы, но у меня нет Школы, я не имел семинара, в котором мог бы вырастить учеников.

Я имею в виду школу, которую мы проходили в университете

на кафедре истории Средних веков. Это была школа в узкопрофессиональном смысле, когда профессор занимался с нами, давал темы, мы исследовали источники, писали рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы и, сидя с ним в аудитории или вечером у него дома, все это детально обсуждали. Школа, когда сидишь рядом с учеником и посылаешь ему непосредственно свои импульсы, а он — тебе, и перед нами источник — этого мне не было дано.

Я уже говорил, что вижу смысл и цель научной школы не в том, чтобы ученики повторяли учителя. Она плодотворна, если ученики его перерастают или находят свой собственный путь. Но на первых порах им надо помочь, делая им замечания, полемизируя с ними, надо дать им возможность окрепнуть.

Впрочем, на Страшном суде меня могут спросить: а тебе это было предельно нужно? Я, возможно, одинокий волк, которому достаточно своего логова, пишущей машинки, библиотек под рукой. Если у меня и были задатки такого научного руководителя, каким являлся Неусыхин, они не получили развития, и я об этом жалею. Вот что я писал об этом почти тридцать лет назад.

«История историка» (1973 год):

«До боли обидно, что нет — и, вероятно, уже не будет — у меня учеников, коим можно было бы передать темы, до которых руки уже не дойдут; не с кем по — хорошему поспорить, обсудить свои догадки и идеи… Можно было бы еще кое-что сделать, но атмосфера враждебного одиночества подчас удручает… Я по натуре, по привычкам своим — человек малообщительный, люблю одиночество, от людей быстро устаю и попросту дурею, — но вместе с тем мне нужно кого-то учить, кому-то доказывать плодотворность избранного мною направления. Когда я преподавал в педагогическом институте, я испытывал удовлетворение от этого занятия, — но тогда я еще не знал многого из того, что знаю теперь, да и набор студентов в Калинине был очень неважным. Ныне есть пытливые молодые люди, но я далек от них. Случайные обращения ко мне одиночек имеют чисто спорадический характер. Меня читают, я знаю, и круг читателей становится более широким, но полноценное научное общение вне лекций, семинаров — немыслимо. Ученый без учеников — нечто ненормальное… Я помню, как важно было общение со студентами, аспирантами для А. И. Неусыхина (не говоря о значении этого общения для нас!), многие построения которого проверялись в процессе занятий. Это общение не прекращалось и после окончания многими МГУ или защиты диссертации».

За души молодого поколения, осознанно или нет, борются носители разных взглядов, и я тоже хотел бы получить возможность побороться за их души и за их знания. Когда на философском факультете я читал введение в методологию истории и историю средневековой культуры, собиралась большая поточная аудитория, и я видел, что за несколько минут могу завладеть вниманием молодых слушателей и направлять их сознание в должное русло, чтобы им было интересно. Устанавливалось взаимодействие. Во мне есть некоторые задатки проповедника, но мне не удалось это развить. Никому не дано достигнуть всего.

Таким образом, первая половина 70–х годов была очень существенным, а может быть, самым существенным этапом в моей научной творческой жизни — я был продуктивен, моя мысль обрела мускулы, и я уже мог отстаивать свои позиции.

VIII. Конец 70–х — первая половина 80–х годов. Новые проблемы исследования

Общая атмосфера 70–х годов. — М. А. Барг о Максе Вебере. — «Критика буржуазной историографии» как доходное ремесло. — Предчувствие краха системы. — «Тамиздат» и «самиздат». — Владимир Библер. — Новые проблемы медиевистики и новые источники. — «Народная культура». — Полемика с М. М. Бахтиным. — Бертольд Регенсбургский. — Об эмиграции ученых.

Вчера мне удалось прослушать часть записок, которые я сделал в июне 1973 года, находясь на отдыхе в Коктебеле. Лучшего отдыха, нежели на Крымском берегу, не было, если бы не пришлось тогда вспоминать, что произошло за предшествующие месяцы и недели вокруг меня и в среде историков. Получился эксперимент над собой. Вот сейчас, в начале 2000 года, я рассказываю о событиях, которые отделены от сегодняшнего дня тридцатью с лишним годами, и память могла сыграть со мной всякого рода шутки, многое могло стереться из того, что нужно было бы восстановить, возможны трансформации, искажения. Кое — какие детали, может быть, любопытные, не запали в душу, и ныне я их не воспроизвел. Но ни одного фактического искажения в том, что я рассказываю сейчас, я не обнаружил. Главное же, мне хотелось также со всей тщательностью проследить, каковы были тогда мое умонастроение, оценка событий, оценка тех персонажей, которые появляются в моих воспоминаниях иногда намеком, понятным только людям близких ко мне поколений, но непонятных, слава Богу, другим. Продиктованы ли эти оценки ситуацией того времени или моими теперешними изменившимися настроениями?

Нет, некоторые персонажи, о которых можно было бы рассказать много весьма нелестного, оказывается, получили от

меня соответствующую квалификацию еще в 1973 году. Кого не любил, того и не полюбил. Таким образом произведен некоторый источниковедческий эксперимент, и результат его таков — то, что я вам говорю, не есть ложь, fiction, а есть посильная попытка воспроизвести ход событий, как они происходили на самом деле. Разумеется, это *моя* версия, неизбежно окрашенная моими субъективными пристрастиями, но все же и тогда, в начале 70–х годов, и ныне, в конце пути, я стремился и продолжаю стремиться к тому, чтобы не уклониться от истины, как она мне представляется. Я неизменно старался и стараюсь выступать в роли свидетеля, а не обвинителя. Насколько мне удалось осуществить это намерение — не мне судить.

* * *

Когда я вновь и вновь говорю об эпохе 50–70–х годов, более всего хочется передать, особенно молодому поколению, ощущение атмосферы, в которой мы тогда жили. Обрисовать ее очень трудно: либо я не владею в должной мере изобразительными средствами, чтобы немногими мазками создать образ того времени, либо мгновение ускользнуло, и теперь мы живем уже в другом мире и сами мы другие.

Но когда я слушал свои записи, подобные дневнику, сделанные тогда, в 1973 году, я ощутил эту атмосферу, потому что в них я фиксировал то, что было недавно, в последние недели, последние месяцы, что еще накипело; узлы, которые завязались, еще не развязаны, события продолжаются, это не perfectum, в котором я сейчас вижу то время.

Я не решаюсь никого пригласить пережить те годы: обстановка была чудовищная. Я ее субъективно себе представляю как атмосферу постоянной, интенсивной и, самое страшное, сделавшейся привычной лжи и двоемыслия. Человек говорит, и сплошь и рядом вы не можете верить тому, что он говорит, потому что знаете, что он сам не верит тому, что говорит. Люди совершают поступки, которые с точки зрения порядочности и здравого смысла являются не просто безнравственными, но извращенными, а с точки зрения твердолобого эгоизма нецелесообразными. Человек делает пакость ради получения неких тридцати сребреников в виде выгодной должности, благосклонности начальства, разрешения поехать за рубеж. И он совершенно не думает о том, как эти его деяния будут видеться другими людьми, свидетелями его поступка, и что он сам будет о себе думать — ведь все-таки иногда человек думает же о себе? Он

настолько приземлен повседневной ситуацией, что не думает и о том, что скажут о нем впоследствии, что же будет, условно говоря, с его доброй славой?

Я вспоминаю своих славных скандинавов X-XIII веков, которые только и делали, что нападали на кого-нибудь, убивали, сжигали, а в промежутках сочиняли саги или фигурировали в них. И что же там говорится? Человек заботится прежде всего о своей чести, о добром имени, ибо суждение обо мне — это единственное, что останется, когда и стада погибнут, и сам я умру, и родни моей не будет. Категория доброй славы, присущая сознанию этих древних «варваров», мне кажется, абсолютно неприложима к иным персонажам, с которыми я вчера столкнулся на страницах своего исповедального дневника 1973 года, и боюсь, едва ли применима к общему духовному климату нашего времени.

Царили атмосфера спертости и постоянное стремление власть имущих заткнуть все дыры, через которые мог бы просочиться свежий воздух. Я вспоминаю эпизод, относящийся, правда, к несколько более позднему времени. В одном из академических институтов происходило совещание, посвященное юбилею выдающегося мыслителя поздней Античности. Рядом со мной усаживается мой коллега, теперь очень известный, а тогда еще молодой филолог. В среде историков, на их научном заседании он впервые, кто-то выступает с руководящим докладом. Мой сосед сидит несколько минут и затем говорит мне: «Что это за безобразие? Я не могу этого выносить!»; вскакивает и убегает. Я подумал не о нем, а о себе. Я настолько отравлен этой зловредной «радиацией», что уже не ощущаю несообразности происходящего, низкого, ненаучного уровня этого действа. Ужас был в том, что в большей или меньшей степени, но эта среда нас засасывала.

В своих мемуарах на страницах «Одиссея» я вспоминал, не называя персонажа (теперь я его назову), эпизод, относящийся к началу 80–х годов. На научном заседании речь шла о новых явлениях в зарубежной немарксистской историографии. Обратите внимание — финесы пошли: речь уже не о «реакционной буржуазной», а о «зарубежной немарксистской». Все выступают с небольшими сообщениями. Выходит мой старший коллега М. А. Барг. Я уже говорил об этом ученом, необычайно талантливом, серьезном историке, которому удалось во многом по — новому осветить материал социально- экономической истории. В своей докторской диссертации по истории Англии XI-XIII веков он впервые прибег к фронтальному — в пределах нескольких графств — сопоставлению данных «Книги Страшного

суда» 1086 года и «Сотенных свитков» 1279 года, и эти сопоставления привели к новым выводам и оригинальным построениям.

То было в 50–е годы. Правда, потом он занялся другими делами, считая себя теоретиком, и даже, как он говорил, написал «специальную методологию истории». Это вызывало у меня все больший скепсис. Когда книга вышла, я не нашел там «специальной методологии истории», но это дело точки зрения.

Итак, Михаил Абрамович берет слово для сообщения «Макс Вебер и современная немарксистская зарубежная наука». Как получилось, спрашивает он, что спустя многие десятилетия после смерти Вебера зарубежные историки, социологи, философы не перестают на него ссылаться как на высочайший авторитет, следуют по его стопам и считают его корифеем мировой гуманитарной науки XX столетия? Ответ Михаила Абрамовича предельно прост. Дело в том, говорит он, что Макс Вебер — не более чем эклектик, у него были разрозненные, не связанные между собой идеи, а зарубежные авторы нашего времени выдергивают из гетерогенных писаний М. Вебера кому что пришлось по душе и продолжают кормиться теми хлебами, которые в свое время создал Вебер. Я содрогаюсь. Докладчик не встречает никаких возражений и возвращается на свое место рядом со мной. Памятуя, что за несколько месяцев до этого у него был серьезный сердечный приступ, я говорю ему осторожно, шепотком: «Как странно вы обошлись с Максом Вебером, М. А.!». Он наклоняется ко мне и громким шепотом произносит: «Карл Маркс — пигмей по сравнению с Максом Вебером». Что касается меня, то я не собираюсь сравнивать Маркса и Вебера, считаю, что один был выдающимся мыслителем второй половины XIX века, а другой — первой половины XX века. Но, Бог мой, кто же тебя насиловал? Ты же мог не выступать, если уж не решаешься сказать, что М. Вебер — действительно выдающийся ученый, и сам ты считаешь его выше Маркса…

Это двуличие, способность выпалить ex offlcio, ex cathedra одну истину, а затем сказать приятелю то, что ты думаешь на самом деле, — симптом того времени. Что касается М. А. Барга, то я не мог понять, где кончаются у него серьезные соображения, продиктованные талантом, знаниями, эрудицией, его жизненным опытом, и где начинается служение не знаю уж кому, фиглярство и выворачивание наизнанку. У него это выявлялось особенно наглядно, потому что он был крупнее и ярче многих других ученых. Набор подобных высказываний М. А. Барга был довольно обширен, и к концу его жизни я порвал с ним всякие отношения.

«История историка» (1973 год):

«Трусость, граничащая с подлостью, погубила такого талантливого историка, как М. А. Барг. Оказавшись в прямом подчинении у Е. М. Жукова, он не способен не приноравливаться к нему. Свои искания на поприще структурных методов, понятых, по моему убеждению, совершенно ложно, он свел к попыткам перерядить не то марксизм в структурализм, не то структурализм в марксизм; в результате — старая конструкция с новыми этикетками! Любопытны его отношения со мною. Наедине он не скрывает, что разделяет большую часть моих построений, охотно говорит о новых явлениях и перспективах исторической науки, его конкретные замечания подчас интересны, — но это наедине, ждать от него путных речей публично не приходится. Тут внутренняя цензура вся настороже! То же самое и в том, что он пишет: живая мысль подавляется страхом! Это подлинная трагедия историка. Он дал мне отрывок из написанной им, как он говорит, "Специальной методологии истории" — это тяжело читать: бредовая попытка обрядить респектабельного степенного бюргера минувших времен в сверхсовременные одежды. А Барг мог бы много путного сделать. Но для этого он должен был бы перестать быть самим собой, натуру, однако, не сломать.

Я помню время, когда я поклонялся Баргу, прощая ему все его боковые ходы, неискренность, подличанье: все отступало на задний план перед талантом. Это время прошло безвозвратно. Трусость развратила и погубила талант…»

У советских историков тогда был модным такой жанр, как критика буржуазной историографии, в особенности современной. Собирали большой материал, касающийся той или иной научной школы или направления, показывали фрагменты их достижений и выставляли им негативные оценки, демонстрируя «глубочайший кризис буржуазной историографии эпохи загнивания империализма». Это был вклад в борьбу (а следовало непременно бороться), беспроигрышный, хлебоносный жанр — за это давали степени, печатали книги подобного рода. И вместе с тем некоторые из авторов вовсе не придерживались тех выводов, на которых так настаивали в своих сочинениях, а с восхищением читали порочные труды этих буржуазных исследователей, удивляясь тонкости их мысли, умению анализировать материал, филигранности исследовательских методов. Но затем из-под пера подобных критиков выходило нечто совершенно противоположное.

Умение, склонность, готовность вывернуть наизнанку истину и самого себя, стремление служить неведомо кому ради достижения сиюминутных целей было знамением времени. Конечно, это свойственно было далеко не всем, но такая

тенденция была доминирующей, она отравляла обстановку, делала ее невыносимой, и самое ужасное было то, что все это стало привычным, и далеко не всегда мы находили в себе должный критицизм.

При Сталине боялись, молчали, если не хотели его восхвалять, при Хрущеве и боялись, и смеялись. Но интеллигенция была не на высоте. Мрачно сгущенная атмосфера царила не только в науке, но и в обществе в целом. Хрущев созывал свои совещания, на которых порол одного за другим поэтов, художников, ругался, употребляя ненормативную партийную фразеологию. А кто ему возражал? Только один уже упоминавшийся мною эпизод приходит на память — со скульптором Эрнстом Неизвестным. Мужицкой натуре Хрущева, по — видимому, импонировало поведение мастера — взял и не пустил его в зал. А ведь это очень показательно, и не только для характеристики Хрущева. Когда гонители встречали противодействие и видели личность, не желающую склониться, нападки иногда могли если не прекратиться, то принять какой-то иной характер.

Но когда началась эпоха Брежнева, мы все возопили: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Режим прогнил, это было видно воочию. Не существовало уже тотального надзора, в системе образовались щели, возникло ощущение ее обреченности. Многие, вспоминая это время, говорят, что до появления на сцене Горбачева в 1985 году никто не подозревал, что Советский Союз находится на грани краха. Я с этим не согласен, приведу один пример. В числе диссидентов — а диссидентское движение начало набирать силу еще в 60–е годы — был Андрей Амальрик, молодой человек, студент истфака, исключенный из университета. Талантливый публицист, он написал памфлет «Просуществует ли Советский Союз до 1980 года?» Мой и его друг китаист Виталий Рубин говорит Амальрику: «Андрей, почему 1980? Вспомни Оруэлла». И он изменил в названии книги 1980 на 1984 год. И что же, Амальрик ошибся всего на несколько лет.

Ощущение надвигающегося краха усиливалось еще и на персональном уровне. Если происходила смена лиц в Политбюро ЦК, то какого-нибудь старика подчас заменяли не менее престарелым деятелем. Умер Брежнев, затем отдал Богу душу Андропов, за ним совсем скоро последовал Черненко, который во время своих выступлений все силы тратил на то, чтобы только сделать вдох и выдох. Ходил такой макаберный анекдот. Очередные государственные похороны на Красной площади. Какой-то тип пытается протиснуться через тройной кордон

охранников. Ему говорят: «Ваш спецпропуск». Он отвечает: «А у меня постоянный абонемент». Были и хуже шутки. Вопрос: есть разница между катастрофой и бедой? — Есть разница. Вот пример: падает самолет, в котором летят члены Политбюро. Это катастрофа, но не беда. Нарастало понимание того, что с надвигавшейся сменой поколений — Брежневы, Устиновы, Сусловы все-таки уже отжили свое — все должно измениться. Мы жили в конце эпохи, это ощущение было разлито в какой-то части интеллигенции.

* * *

В 60–х годах возникло и развилось диссидентское движение, в высшей степени существенное для нашей общественной и духовной жизни. Правозащитники — это небольшая кучка мужественных людей, которые, отбросив всякий страх, под лозунгом защиты Конституции и прав человека, гражданских прав, записанных в документах, принятых Советским Союзом в качестве международных или в законодательстве СССР, выступали открыто против засилья властей и бесправия граждан. Мы, более робкие, не решавшиеся примкнуть к ним, следили напряженно за их движением. Я вспоминаю, как в «самиздате» постоянно циркулировали сколотые скрепкой многочисленные листки папиросной бумаги, на которых практически без интервалов печаталась «Хроника текущих событий». Героических усилий требовало и огромного риска стоило правозащитникам собрать сведения о правонарушениях и преследовании конкретных лиц. Не меньшего мужества требовало размножение этих документов, ибо те, кто был застигнут за их распространением или просто чтением, подвергались уголовному преследованию.

В те годы чтение неподцензурной литературы составляло важный аспект нашей духовной жизни. Время «самиздата» было и временем «тамиздата». В довольно широких кругах, во всяком случае в столице, ходили по рукам сочинения, вышедшие за рубежом, но не допускаемые цензурой к изданию у нас. Мы читали эти сочинения, получая их иногда довольно странными путями. От одной английской знакомой я получаю бандероль: несколько книжек в мягких переплетах, в открытой картонке, перевязанной веревочкой, корешки торчат, все видно. Открываю — какие-то романы, совершенно мне не интересные; не понимаю, зачем мне это, пока не добираюсь до главного: вложен «1984 год» Оруэлла. Его специально не запечатали, не спрятали, вот он и

дошел благополучно. А со «Скотским хутором» связана была анекдотическая история: в Ленинграде в букинистическом магазине эта книга якобы стояла на полке открытого доступа в отделе сельскохозяйственной литературы. По недосмотру властей чего не бывает. Но вообще, конечно, получить такую литературу было трудно, приходилось прибегать к помощи зарубежных коллег. Приезжая сюда по своим делам, они привозили новые книги — художественные, а также политического, философского содержания. Многие наши выдающиеся писатели, поэты, мыслители, мемуаристы, которые не могли рассчитывать на то, что их произведения будут у нас напечатаны, пускали их по рукам в виде рукописи, а люди, имевшие к ним доступ, размножали и распространяли эти сочинения.

У меня в свое время имелась немалая коллекция весьма неуютных для дома папок переписанных на машинке сочинений. Как все это передавалось? Звонок по телефону:

— Мне надо срочно с тобой встретиться.

— Давай послезавтра.

— Нет, непременно завтра утром.

— Тебе очень нужно?

— Да, думаю, тебе тоже.

Еду на другой конец города, получаю для прочтения что-то «самиздатское», причем в моем распоряжении только день и ночь, назавтра надо вернуть, поскольку есть очередь, задерживать нельзя, да и вообще, если человек долго держит, скорее могут выследить. Анекдот: озабоченный папаша прибегает к машинистке с огромными томами романа Толстого «Война и мир».

— Перепечатайте мне, пожалуйста, на машинке.

— Зачем?

— Мои дети читают только «самиздат».

Другой анекдот, не совсем благопристойный. Один дал другому прочитать что-то запретное. На другой день звонит:

— Скажите, пирожные, которые мы вам дали, вы уже съели?

— Да, спасибо.

— Вам понравилось?

— Да, очень понравилось.

— Тогда передайте их дальше.

Во всякой ситуации проявлялась вот эта черта: можно было посмеяться над собой и над властями, обмануть.

Что касается Академии наук, то в ней в 70–е годы затхлость атмосферы выразилась, в частности, в отсутствии каких бы то ни было дискуссий. В 60–е годы, когда гремело дело Некрича или в Институте социологии разбиралось дело Левады, опрометчиво

опубликовавшего свои лекции по социологии, отпечатанные малым тиражом на ротапринте, «были схватки боевые», устраивались многолюдные собрания, участники которых с открытыми забралами защищали свою точку зрения. В 70–е годы этого уже нет.

Если кто-то проштрафился, его потихонечку душили в кабинете, за закрытыми дверями, выворачивали руки, заставляли портить свою рукопись, порой доводили до того, что он сам отказывался печатать написанное. Иногда дирекция на своем заседании решала — книгу из плана издательства «Наука» исключить или отложить. Никогда не говорили — «запретить», «снять», нет — «повременить», «отложить», «вот будет съезд», сакральная дата, когда будут провозглашены все истины. Людей уничтожали поодиночке. Такова была наша повседневность.

«История историка» (1973 год):

«…свежий человек вряд ли способен понять горький юмор недавнего обмена репликами между мною и моим другом Л. Баткиным:

— Какие новости?

— Слушай, не пора ли переформулировать этот дежурный вопрос и вместо “какие новости” выражаться точнее: “Какие неприятности?”

— Ха — ха!

Вот именно: ха — ха! Как образчик приведу хронику недавних событий в нашем узком кругу ближайших знакомых и коллег. У Лени не выгорело с изданием книги: издательство ведет политику на то, чтобы зарезать рукопись, несмотря на несколько квалифицированных и авторитетных положительных отзывов. Все, на что он может рассчитывать, это на получение остатков гонорара. У него же резко сократились (до безнадежности) надежды на издание книги в другом издательстве; пока не все ясно, но эмоции, с этим связанные, отрицательные.

Его же статья, принятая, было, редколлегией сборника “Средние века”, затем встретила сопротивление Чистозвонова, который не усмотрел в ней связи итальянского гуманизма с социальным базисом и настоял на экстраординарной мере, никогда дотоле не практиковавшейся редколлегией: на посылке статьи на отзыв министру просвещения Данилову (члену редколлегии тоже), т. е на явное ее убиение, ибо Чистозвонов и Данилов — приятели, да Данилов и сам по себе мужчина, мягко выражаясь, “бдящий”. Данилов дал, как и ожидалось, убийственный отзыв. Что ж редколлегия, которая только что одобрила эту рукопись? Сказкин, ее шеф (дело происходит за месяц — полтора до его кончины), сперва, ознакомившись с

отзывом Чистозвонова, запротестовал и просил того снять свои возражения: старику статья понравилась; но, узнав о вердикте “самого” Данилова, сказал приближенному: “Отзыв неправильный, но статью печатать мы, конечно, не можем” … Владимир Соломонович Библер, талантливый философ, силою вещей оказался в нашем Институте (в другую, более светлую полосу развития событий). Последние два — три года ему постоянно тычут в нос несоответствие его специальности профилю Института (он — не историк, у него действительно нет общего языка с сослуживцами), что не может не отражаться на его нервах, на его научной продуктивности и просто на здоровье. С приходом нового директора Института философии, с которым Библера связывают противоречивые отношения (не лишенные антагонизма), тот согласился взять его к себе и договорился с нашим директором, но райком партии, которому подчинен Институт философии, воспротивился, и все сорвалось… Положение Библера в нашем Институте, естественно, еще более пошатнулось. Одновременно с моими ближайшими друзьями Баткиным и Библером происходят и другие неприятности, так что все вместе порождает постоянное чувство угнетенности, преодолевать которое трудно и не всем и не всегда удается».

Когда мне прочитали этот отрывок из записей 1973 года, моего друга В. С. Библера уже не было в живых. Время, о котором я повествую, пересекается и переплетается, сталкивается со временем, в котором я повествую. Прошлое накладывается на настоящее и наоборот. Последние события, которые нельзя обойти молчанием, — это кончина друзей. Со многими из них я был связан на протяжении десятилетий. Последняя по времени утрата, которая особенно меня поразила, — это кончина Владимира Соломоновича Библера.

Библер умер после длительной болезни, отягощенной тем, что его жена (детей у них не было) на протяжении многих лет оставалась прикованной к постели. Сам Библер испытывал различные физические недомогания, по — видимому, они отразились на его психическом состоянии — он ушел в себя, стал неразговорчивым, телефонные беседы с ним были довольно редкими, ограничивались двумя — тремя фразами; даже если они были насыщены дружескими эмоциями — он не мог продолжать, уходил в себя. И вот он умер.

Я знал Володю не один десяток лет. Первый раз, когда мы с ним встретились, отчетливо запечатлелся в моей памяти. То была середина 60–х годов, когда я подал в формировавшийся тогда сборник по теоретическому источниковедению свою статью «Что такое исторический факт». Я рассматривал в ней те приключения,

трансформации, которые стало испытывать понятие исторического факта (столь плоско очевидное позитивистам XIX и начала XX века), усложняясь, изменяясь, приобретая все большую загадочность и двусмысленность. Я не столько решал вопрос, обозначенный в заголовке, сколько старался обрисовать судьбу этого понятия в развитии историографии. Впрочем, об этой статье я уже упомянул ранее.

На обсуждении этого сборника и, в частности, моей статьи выступил мужчина средних лет, очень симпатичный. Весь его облик отражал серьезность, внутреннюю честность. Это был Библер, он остановился как раз на моей статье и высказал ряд весьма интересных соображений, опиравшихся не столько на его опыт историка, ибо главной его профессией были философия, теория культуры. Мне как историку, старавшемуся сочетать свои общие соображения с конкретным материалом, опытом исторических трудов, было в высшей степени интересно встретить иную точку зрения. Библер критиковал мою статью, но, во — первых, вполне благожелательно, стремясь вскрыть логику моих рассуждений, и во — вторых, конструктивно — потому что предлагал свой взгляд на проблему исторического факта, которая, конечно, возникает не только перед историком, но и перед любым гуманитарием. Когда он кончил, я предложил и даже настаивал на том, чтобы опубликовать это выступление Библера вместе с моей статьей. Я полагал, что экспозиция бок о бок двух разных точек зрения — историка — медиевиста и философа, теоретика истории культуры — представила бы интерес для читателя обсуждавшегося сборника. Библер принял это предложение, написал статью, и обе наши работы вскоре появились в этом сборнике. Кстати, вспоминаю, что автор единственной рецензии на это издание, специалист по российской истории (если не ошибаюсь, он вскоре стал директором Исторического музея), упрекал Библера и Гуревича в том, что они предлагают анализировать понятие «исторический факт», опираясь на логику. Странный упрек, мне казалось, что историку не мешает придерживаться правил логического мышления.

С тех пор установились приятельские отношения между Библером и мной, и вскоре они переросли в длительную и никогда ничем не омраченную дружбу. Я не входил в кружок, регулярно собиравшийся на квартире у Библера, где логики, философы и некоторые историки обсуждали животрепещущие теоретические проблемы, оставался в стороне от этого, но общение с Володей очень много мне давало, ибо предлагало другой, не мой ракурс рассмотрения интересовавших меня

проблем.

Редкое качество Библера, которое я хотел бы отметить, заключалось в том, что поглощенность собственной проблематикой — после длительного молчания он опубликовал, если не ошибаюсь, в 70–х годах книгу под названием «Мышление как творчество» — ни в коей мере не мешала ему с большим интересом самозабвенно погрузиться в рассуждения коллеги, с тем чтобы вскрыть внутренние основания того анализа, который этот коллега предпринимает, и предложить свою, всегда особую точку зрения.

Так было не только с проблемой исторического факта. В дальнейшем я беззастенчиво пользовался готовностью Библера прислушаться и вдуматься в рассуждения другого. Книга, над которой я работал в конце 70–х годов, вышедшая затем под названием «Проблемы средневековой народной культуры», нуждалась в критическом взгляде, и я попросил Володю ознакомиться с рукописью. Он внимательно ее изучил, затем мы несколько раз встречались, и во время этих длительных бесед он высказал целый ряд оригинальных соображений, к которым я не мог не прислушаться, хотя далеко не со всем соглашался; многие из его пожеланий я просто не сумел реализовать, поскольку уровни абстракции, уровни рассуждений на общие темы, предлагавшиеся Библером, не совпадали с моими. Мне трудно было дотянуться до некоторых вершин его мысли, и тем не менее беседы с ним были очень полезны мне в период, когда я готовил рукопись к печати.

Много лет спустя, работая над книгой «Культура и общество средневековой Европы глазами современников», опиравшейся на анализ латинских exempla — дидактических церковных «примеров», я также попросил его прочитать рукопись и высказать свои соображения по поводу вопросов, которые я условно называл средневековым гротеском, внутренней противоречивостью средневековой мысли, отразившейся в этих небольших анекдотах и новеллах, в изобилии созданных францисканцами, доминиканцами, представителями новых монашеских орденов XIII века, и адресованных широким слоям не только духовенства, но и паствы. Эта рукопись тоже была прочитана Библером, и обсуждение ее дало мне не только не меньше, но, пожалуй, даже больше материала для размышления, нежели обсуждение предшествующей книги.

Библер довольно долго работал в Институте всеобщей истории. Я вспоминаю (недавно и Л. М. Баткин напомнил об этом), как мы втроем — Баткин, Библер и я, — подпирая стенку в одном из коридоров Института на ул. Дм. Ульянова, часами

беседовали. Это был наш своего рода микроклуб, где мы обсуждали интересовавшие нас не только актуальные, преходящие политические и общественные темы, но прежде всего те научные проблемы, которые нас волновали в то время. Мы встречались и вне Института, на квартире у меня, у Баткина, у Библера, и наша дружба была безоблачна, поскольку я никогда не видел Володю в дурном настроении, замкнувшимся. Он всегда был открыт, благожелательно заинтересован в своем собеседнике, и общение с ним неизменно было для меня радостным и увлекательным.

Удивительна судьба этого выдающегося мыслителя, в определенном смысле, возможно, последнего философа в нашей стране. Обладавший обширнейшими знаниями и, главное, необычайной остротой мысли, талантом, этот философ никогда не работал в Институте философии. Его попытки устроиться, например, в Институт психологии также не получили поддержки. Что же касается Института всеобщей истории, то очень скоро дирекция заняла явно неблагожелательную позицию в отношении к этому человеку с чуждой, с их точки зрения, профессией, человеку, который был кандидатом философских наук и философом par exellence; ему не заполняли план — карту, делая тем самым его положение в Институте очень зыбким, и в конце концов вынудили покинуть Институт.

Нет пророка в своем отечестве. Влияние Библера на его ближайшее окружение было очень велико, хотя — да простит меня его тень — не всегда только благотворно, ибо то, что высказывал сам Володя, в воспроизведении некоторых участников его кружка или людей, которых притягивал к нему магнетизм его личности и таланта, приобретало иное звучание; эти люди сплошь и рядом вульгаризовали, упрощали и окарикатуривали его мысли. Но он не несет за это ответственности. Дотянуться до человека его «роста» мало кому было дано. Среди его учеников были весьма талантливые люди. Я вспоминаю среди них давно и безвременно ушедшую от нас благородную и талантливую женщину Лину Туманову. Были и другие. Но мысли Библера едва ли могли получить широкое влияние, помимо всего прочего, потому, что он писал очень трудно, чтение его работ — это непростое занятие, мысли его представлялись недоступными, и это подчас мешало читателям проникнуть в существо его построений.

После длительного перерыва, в последний период творчества ему удалось опубликовать несколько монографий, он выступал с докладами. Любопытно, между прочим, отметить характер выступлений Библера. Идет какая-то дискуссия. И вдруг я вижу —

Библер сидит в страшном напряжении, похожий на борца, готового нанести удар противнику на ринге, его лицо наливается кровью, скулы ходят ходуном, впечатление разъяренного быка. Но эта его реакция никогда и ни в коей мере не связана была с его личным отношением к тому, с кем он хотел поспорить, речь шла только о неприятии или критическом отношении к тем рассуждениям, сплошь и рядом совершенно неквалифицированным, которые ему хотелось оспорить. Я помню, как однажды после его темпераментного выступления по докладу другого коллеги одна очень ученая и умная дама спрашивала в кулуарах: «Чего не поделили Библер и Х? Что их рассорило, почему Владимир Соломонович выступил в таком агрессивном тоне?» Представление о том, что полемика может быть вызвана конфликтом идей, а не личными отношениями, была чужда даже таким лицам, как эта дама.

После опубликования моей книги о народной культуре журнал «Знание — сила» обратился к Библеру с просьбой написать рецензию на нее. Он охотно согласился, но выполнил свое обещание таким образом, что его текст не мог быть опубликован. Максимальный размер рецензии, допустимый для публикации в этом журнале, составлял примерно полтора десятка страниц. Володя написал без малого сотню машинописных страниц. Довести этот текст до заказанного объема не представлялось возможным, да никто и не решился бы просить Библера написать другую статью о моей книге. Эта рукопись осталась в его архиве на длительное время, и лишь много лет спустя, когда создавался сборник, посвященный теме «Личность и индивидуальность в истории культуры», Библеру предложили дать туда эту статью. По моей просьбе он произвел в ней некоторые сокращения, убрав замечания комплиментарного свойства, которые мне казалось неловким публиковать, статья приобрела более критический вид.

Библер отмечал важность проблемы простонародного, нетеологического восприятия мира, которое было предметом моего изучения, но остановился еще и на другой стороне дела. Я ввожу понятие простеца. Библер, критикуя меня, дал свою интерпретацию этого понятия, полагая, что Простец (он писал это слово с заглавной буквы) был компонентом личности любого человека, принадлежавшего к универсуму средневековой культуры: не только illitteratus — неграмотного, невежественного человека, не только простонародного жителя деревни или города, не только приходского священника, сплошь и рядом своим образованием да и образом жизни не отличавшегося резко от своих прихожан, но и иерархов церкви, людей образованных,

теологов, монахов, философов. Это понятие простеца, утверждал он, так или иначе применимо к любому человеку средневековой эпохи. Это интересные мысли, с которыми мне трудно полемизировать, хотя должен признаться, что — но это касается уже утлости моего собственного разумения — мне едва ли удалось сколько-нибудь пространно и глубоко развить эту тему в своих работах.

Таким образом, интеллектуальное взаимодействие с Библером оказалось для меня на редкость важным, продуктивным и счастливым, и я навсегда сохранил глубокую благодарность этому замечательному человеку и мыслителю.

И вот Володи не стало, это большая потеря. Разумеется, в последние годы он уже ничего не мог создать, во всяком случае, я не знаю, остались ли после него какие-либо рукописи, которые можно было бы опубликовать. Но то, что в ряду наших немногочисленных талантливых гуманитариев уход Библера образовал новую зияющую брешь, не вызывает никакого сомнения.

Увы, наша гвардия редеет с необычайной быстротой, над нашими головами постоянно рвется шрапнель, и в живых остается все меньше и меньше людей, начавших заявлять о себе на рубеже 50–х и 60–х годов. Володя на несколько лет старше меня, но и люди моего возраста и даже несколько более молодые постепенно исчезают из числа продолжающих активно действовать на поприще гуманитарного знания.

Будем надеяться, что постепенно вырастет и возмужает новая поросль гуманитариев, которые будут смотреть на мир, естественно, уже иными глазами, исходя из других умственных посылок. Им станет яснее, насколько долговременным был тот интеллектуальный вклад, который смогли внести в нашу культуру люди типа Библера, — трудно, впрочем, говорить о «типе» Библера, поскольку это скорее уникальная, нежели типическая фигура, — люди, которые старались быть на уровне наиболее глубокой мысли второй половины XX столетия, в частности Бахтина, творчеству которого посвящена целая монография Володи.

* * *

Конечно, и в 70–е и в начале 80–х годов мы продолжали жить, занимались научной работой, каждый в меру своих способностей и сил. Ужасно было то, что критерии научности, требования, которые мы предъявляли к коллегам и к самим себе,

сплошь и рядом оказывались весьма невысокими. Если статья снабжена соответствующими цитатами из «основоположников», а своей мысли немного или вовсе нет, она проходила благополучно. Если же кто-то выступал со своими оригинальными мыслями, это сразу вызывало взрыв бдительности; интересовались тем, откуда это взялось и куда ведет, и результаты могли быть негативными.

Для меня эти годы не были сплошь черными и беспросветными — я работал, много работал, писал книги и статьи.

«История историка» (1973 год):

«Мой коллега и друг (друг ли? — в прошлом — да, ныне — скорее лишь по обращению между нами, но не по внутренней теплоте) Ю. Л. Бессмертный зачастую пеняет мне за несдержанность, за то, что я не спускаю нападок, делаюсь резок до грубости. Он оговаривает всякий раз: “Я понимаю, что у тебя все живые места отбиты, что тебя измотали постоянными нападками… Но все же не спускайся до их уровня!” Он и прав и не прав. Не прав он прежде всего в отношении моего состояния: ничего у меня не “отбито”, все “живые места” целы, и я отнюдь не чувствую себя измотанным, — напротив, за годы драк и гонений я закалился и реагирую на большую часть происходящего еак наблюдатель, со стороны следящий за копошением пауков. Несдержанность моя — свойство характера, которым я считаю нужным время от времени сознательно пользоваться. Подставлять другую щеку, схлопотав по одной, — не согласен! Молчать, когда меня задевают, — не буду! К сожалению, поза гордого страдальца, не снисходящего реагировать на нападки, воспринимается обычно нападающими как симптом слабости. Предпочитаю, чтобы меня побаивались. Мой непосредственный шеф А. С. Кан (тоже из бывших друзей, которого ныне я стараюсь философски воспринимать — как своего рода “наименьшее зло”) сказал директору Института, когда возник вопрос о моем зачислении на работу: “Гуревич — крупный ученый, но характер у него плохой”. Когда он мне это передал, я подивился: что за характеристика, а теперь доволен — пусть все они знают, что я — тяжелый человек, и делают из этого свои выводы.

Прав Ю. Л. Б. в том, что деградировать до уровня нападающего на меня зверья все же не следует — их поступки подчас разоблачают их же самих. Главное — не ожесточиться до такой степени, чтобы уйти в свои обиды и переживания, вообразить свое воспаленное “Я” центром, вокруг которого сгущаются все мировые беды, и забыть о главном. Надеюсь все же, мне это не грозит.

В 1969 году я получил первый сильный удар (критика в “Коммунисте”, увольнение из Института философии) — в начале 1970 года я ответил своей книжкой “Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе”. В том же 1970 году последовали новые удары: обсуждение и осуждение этой книги в МГУ; остракизм в журналах; снятие с книги грифа учебного пособия; включение меня в “обойму” гуманитариев, подлежащих поношению при каждом удобном случае; мобилизация “друзей — медиевистов против меня и т. д. — в ответ в 1972 году я опубликовал две книги: “История и сага” и “Категории средневековой культуры”. Нельзя печатать статей, что ж, обойдусь как-нибудь изданием книг! В нынешнем году вышла под моей редакцией и с моей большой статьей книга Марка Блока “Апология истории”, которая мне не менее дорога, чем своя собственная. Над такого рода ответами на критику кое — кому придется призадуматься.

И если параллельно всему этому на тех или иных совещаниях, посвященных исторической науке, треплют мое имя; если в рецензиях (подобных опубликованной в “Вопросах истории” на сборник “Источниковедение”) пишут глупости о моих статьях, если академик Сказкин, как он сам рассказывал своим ученикам, трудился над так, очевидно, и не законченной рецензией на “Категории средневековой культуры” (он сказал в этой связи: “Полезную книгу написал Гуревич, но она же против исторического материализма!”, что напоминает мне его же фразу в заключении о моей статье, поданной, было, в “Средние века”, фразу, которую мне передали год- полтора спустя: “Этот тайный, а потому вдвойне опасный враг марксизма”… какова бдительность этого престарелого паладина марксизма, утратившего представление о разнице между научной дискуссией и политическим доносом); если меня не только не пускают на международные конференции по исландским сагам и вообще за границу, но дирекция шлет тайные послания в другие учреждения, дабы воспрепятствовать мне читать лекции даже… в Ленинграде; если Жуков дошел в своем рвении до того, что не разрешает приглашать меня выступать оппонентом на защите кандидатской диссертации по истории Скандинавии в собственном Институте; если меня побоялись включить в состав советской делегации на XIII Международном конгрессе историков в Москве (в которую включили всех докторов наук, и не только их, но не включили и А. М. Некрича), а для того, чтобы я получил слово для выступления, пришлось дать целый бой, после чего Жуков все же снял свой запрет; если… но довольно!

Я не буду перечислять всего остального, ибо это становится

монотонным, да многое уже и забылось… — если, короче говоря, собаки лают, то их лай не мешает каравану идти своей дорогой. Все эти эпизоды, повторяю, ставшие частью моего повседневного быта, не портят мне ни сна, ни аппетита, ни интереса к женскому полу. Главное же, если говорить всерьез: пока я могу работать и думать над своими проблемами, мне жаловаться не на что».

* * *

Это было время освоения новых массивов источников и, главное, — освоения новых проблем, нащупывания все расширяющегося поля исследований. Прежде всего меня привлекала попытка по- новому взглянуть на Средневековье. Я уже упоминал, что в начале 70–х годов вышла книга крупнейшего современного французского медиевиста Жака Ле Гоффа «Другое Средневековье». Она точно соответствовала той задаче, которую перед собой ставил и я. Ле Гофф подчеркивает: дело не в том, чтобы черную легенду о Средневековье, восходящую еще к просветителям XVIII века, заменить розовой, представляя Средневековье эпохой всеобщего благоденствия. Следует отбросить эти легенды и попытаться по — новому взглянуть на многоликую, очень сложную, противоречивую и вместе с тем обладавшую неким метаединством культуру Средневековья, углубиться в ее секреты и попытаться их расшифровать; прежде всего понять, что человек той эпохи был иным, чем нынешний, — не столько в своих психофизиологических особенностях, сколько в мировосприятии.

Логика исследования диктовала необходимость одновременно заниматься скандинавской социальной историей и историей норвежской и исландской культуры, осваивать источники континентальной Европы — Франции, Германии, Италии и т. д.

В конечном итоге передо мной представала все та же культура, которую мы называли средневековой (под культурой я разумею, конечно, прежде всего религиозную сторону дела), подчиненная в большей или меньшей степени идеологическому, богословскому контролю, контролю церкви, и потому имевшая некоторые общие параметры при всем бесконечном многообразии и преломлении в местных, локальных условиях. В то же время мне представлялось все более важным то, что эта культура неоднородна и в другом, более глубоком смысле: в ней обнаруживаются разные пласты.

Наряду с официальной культурой Средневековья, с

богословской религиозностью, опиравшейся на авторитет папства, церкви, монашеских орденов, низшего клира, официальной светской власти, существовали другие — скрытые, потаенные, официально не вполне выраженные или односторонне выраженные параметры культуры тех же самых людей. Эти другие ее стороны игнорировались и были оттеснены на периферию, в потемки уже в Средние века официальной практикой церкви; их игнорировали и исследователи XIX и первой половины XX века, не обращавшие должного или вообще никакого внимания на эту «неофициальную» культуру. Памятники публиковались — exempla (поучительные примеры), проповеди, поучения всякого рода, житийная литература, хроники и т. д., но предметом изучения они, как правило, не были, а если становились, то очень редко и поверхностно. Теперь обнаружилось, что перед нами огромные неисследованные богатства, а представление о том, что Средние века оставили сравнительно небольшое количество памятников, вызвано этой специфической слепотой предшествующих поколений.

Вот характерный пример. Крупнейший наш дантолог середины XX столетия И. Н. Голенищев — Кутузов, воспитанник Сорбонны, после войны вернувшийся в Россию и ставший сотрудником Института мировой литературы, опубликовал в серии «Литературные памятники» «Божественную комедию» и все малые произведения Данте. В комментариях к «Божественной комедии» он говорит, что Данте воплотил в своем триптихе — Ад, Чистилище, Рай — средневековое виденье потустороннего мира, и подчеркивает, что грандиозное творение Данте, высочайшее достижение человеческого гения, ни в каком смысле не может быть сопоставлено с жалкими, беспомощными записями visiones — видениями потустороннего мира, оставленными мужиками, солдатами, монахами и другими незначительными лицами. Богатство творения Данте неисчерпаемо, его исследуют поколения ученых и будут еще исследовать грядущие поколения. А visiones, по его мнению, — мизерные крохи, которые не стоят никакого внимания. Я убежден, что Илья Николаевич никогда их и не раскрывал, поскольку бесконечное их ничтожество было для него ясно a priori.

Таков некий априоризм в подходе к источникам. Заранее известно, что есть великие ценности, великие творения, «номенклатура» высшего класса мыслителей, поэтов, хронистов, фантазеров, визионеров, святых и т. д. А есть «низовые» жанры, второй и третий эшелоны латинской или народной словесности, адресованные простым людям; в них нет высокой мудрости Бонавентуры, Фомы Аквинского, Данте, Петрарки, и на этот

низший эшелон не стоит обращать внимания.

Но когда все же обратились к нему, стали штудировать exempla, внимательно вчитываться в visiones, привычная картина средневековой культуры стала трещать по швам. Неожиданно открывалась ее новая сторона. Мой друг Л. М. Баткин в своем шутливом стихотворении сказал, что ваш покорный слуга занимается не корифеями Сорбонны, а вопросом о том, как мужики пьют и как они блюют. Что касается второй части данного высказывания, то доказано, что весьма существенно — как люди пили, пировали, что это были за пиры и какую роль они играли в жизни людей, и великих и малых.

Выявилась необходимость по — новому подойти не только к рассмотрению источников, относящихся к «низшим» жанрам, но, изучая их, посмотреть, какую функцию выполняли высшие жанры, качество и познавательную ценность которых никто под сомнение не ставит. Произошло резкое расширение кругозора историков. Это революционное преобразование источниковедческой базы было вызвано не менее революционным преобразованием проблематики исследований. Его осуществляли два — три поколения исследователей. Начали его во Франции Блок и Февр, продолжили Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, Э. Леруа Ладюри (я ограничиваюсь в этом перечислении корифеями французской историографии). Как лесной пожар, оно распространилось на другие регионы, на другие отрасли исторического знания, на другие периоды. Не только Средневековье, но и переходный период от Средневековья к Новому времени стали рассматривать по — новому (см. исследования Карло Гинцбурга и Натали Земон Дэвис), привлекая источники, ранее никому не представлявшиеся интересными.

Когда я прикоснулся к этому, меня обожгло, и я понял, что нужно включиться в эту работу. Задача состояла в том, чтобы открыть ту Атлантиду культуры, которая была потоплена усилиями средневековых богословов, церковных деятелей, с одной стороны, и историков XIX-XX веков — с другой, попытаться разыскать хотя бы контуры этой Атлантиды, ибо ее наличие уже не может вызывать сомнений. Это не миф, а реально существовавшая в истории культура, и следовало реконструировать хотя бы какие-то стороны этого потопленного мировиденья. Значимость ее исследования и для социальной, и для экономической истории, и для собственно истории культуры колоссальна. То, что мне удалось подвести под романизованную модель некоторые аргументы, продиктованные взглядом с Севера, мне кажется, способствовало обогащению картины.

Проблема противоречия между культурой высших слоев и

культурой «народной» (так вслед за Бахтиным я да и некоторые французские историки стали называть эти другие пласты культуры) казалась мне в высшей степени существенной.

В 1981 году вышли синхронно три книги. В Германии — книга Петера Динцельбахера, посвященная анализу всего корпуса латинских visiones, «репортажей» с того света. Средневековый человек, глубоко религиозный и более всего страшившийся жалкой, ужасной участи, которая может постичь его душу в потустороннем мире, поглощал их с огромным вниманием, жадностью. Эти записи — весьма сложные тексты, содержащие спонтанные признания людей, сплошь и рядом даже необразованных: монах, рыцарь, крестьянин, крестьянка, солдат и проч. Но они облекались в определенную литературную форму, поскольку их записывали, как правило, не сами визионеры. Перед нами большой корпус видений потустороннего мира, простирающийся на многие столетия — от VI до XIII, XIV веков и даже позднее. Эти visiones были подробнейшим образом исследованы, а потом и опубликованы П. Динцельбахером, в новых переводах.

Во Франции в том же 1981 году вышел фундаментальный труд Ле Гоффа «Рождение чистилища», в котором он рассматривает перекройку карты потустороннего мира, переход от биполярной его структуры — ад и рай — к трехчленной — ад, чистилище и рай.

Главная заслуга Jle Гоффа в книге «Рождение чистилища» и ее оригинальность видятся мне в том, что рассмотрение столь, казалось бы, специального вопроса средневековой теологии перенесено им в контекст изменений в сознании средневековых людей, прежде всего, горожан; контекст, включающий и духовные установки, и верования, и сдвиги в социально — экономической сфере, в гораздо более широкий план истории средневекового мировиденья. Я еще вернусь к этой книге Ле Гоффа и к моим несогласиям с некоторыми ее положениями.

И наконец, ваш покорный слуга в том же 1981 году опубликовал свою книгу «Проблемы средневековой народной культуры». Здесь я уже не рассматривал, как в «Категориях средневековой культуры», самые общие параметры мировосприятия — природа, пространство, время, труд, право, богатство, бедность, личность, а обратился к более специфическим проблемам, которые, несомненно, занимали умы средневековых людей. К ним относятся культ святых и интерпретация святого именно в народной традиции, отличавшиеся на протяжении всего Средневековья от того, что наблюдается в канонизационных процессах, проводимых папской

курией.

Затем я рассматривал видения потустороннего мира. Поскольку меня продолжала занимать проблема времени в Средние века, в центре внимания оказались представления о протекании времени на том свете, несколько противоречивые, даже парадоксальные. По определению, в загробном мире времени нет, а есть вечность; но вчитывание в visiones показало мне нечто иное. В противоположность теологическому пониманию вечности как не имеющей протяженности, в культуре, отразившейся в visiones да и в других памятниках, обнаруживается представление о том, что и в мире ином время протекает. Там можно встретить часовни, в которых колокол отбивает время, узнать, что Иуда Искариот по понедельникам, средам и пятницам подвергается мукам в нижнем аду, а по вторникам, четвергам и субботам — в другой, верхней его части; по воскресеньям же, вследствие неизъяснимой милости Господа, он имеет, так сказать, тайм — аут, отдохновение; значит, там есть дни недели. Представление о земном течении времени переносится визионерами — в той или иной мере, далеко не всегда и очень непоследовательно — в потусторонний мир.

Уже одно это заставило меня заинтересоваться visiones, а там посыпался ряд других проблем, в частности проблема рождения категории чистилища. Когда я открыл книгу Ле Гоффа (отнюдь не сразу по выходе, поскольку путь книг из Парижа в Москву, как вы сами понимаете, не всегда был близок), оказалось, что в наших наблюдениях много сходного. Это меня очень порадовало, как всегда радует, когда какие-то мысли, к которым я прихожу на основе своего анализа, обнаруживаются также в работах коллег. Неважно, кто сказал «э» — Бобчинский или Добчинский. И не симптоматично ли, что в Германии, Франции и России по меньшей мере три медиевиста одновременно занимались одним и тем же? Значит, это было некое веление времени, породившее необходимость поднять новые пласты источников и их рассмотреть.

Анализ сходных источников историками, придерживающимися одного и того же методологического направления, сплошь и рядом приводит их к выводам если не совпадающим, то во всяком случае сближающимся, перекликающимся между собой и вместе с тем дающим основания для полемики. Никогда, ни на какой стадии моего научного и духовного развития у меня не было притязаний на то, чтобы сказать нечто не сказанное другими. Если к моим выводам, которые я не рассчитываю запатентовать как свою персональную собственность, так или иначе, полностью или частично, приходят

мои коллеги, это подтверждает, что я не вполне безумен, а нахожусь на тропе, по которой можно или даже должно идти.

К тому же в гуманитарном знании вполне идентичных выводов никогда не бывает. Я вспоминаю один свой давний разговор с С. С. Аверинцевым. Мы с ним не так часто разговариваем, но кое- какие из наших бесед мне запомнились в силу оригинальности его высказываний. Однажды Сергей Сергеевич излагал мне свою концепцию относительно существования сверхдлительных преемственностей в европейской культуре, европейской литературе — от классической греко — римской Античности вплоть до XVIII века. Я слушаю, а потом говорю: «С. С., но насколько я припоминаю, эту точку зрения развивал Эрнст Роберт Курциус в своей знаменитой книге о европейской литературе и латинском Средневековье». Он отвечает: «Да, но ведь я это сказал в другое время, и я сказал это по — своему». И я подумал: ведь это глубоко верно. Когда одни и те же факты и наблюдения проходят через головы разных ученых, они всякий раз преломляются по — новому в зависимости от индивидуальности этого ученого, предполагающей и включенность его в какой-то круг проблем, и принадлежность к определенному культурному социуму.

Смиренное, сдержанное отношение к тому, что мы называем новаторством, очень существенно для историка. Речь идет, конечно, не о том, чтобы сдирать у других, но о некотором созвучии — на определенном уровне — научного анализа.

«История историка» (1973 год):

«Самостоятельность ученого, по моему убеждению, заключается вовсе не в том, что его идеи совершенно самобытны (вряд ли возможно такое: ведь наталкиваясь “вполне самостоятельно” на какую-то мысль, затем, осмотревшись, хочешь воскликнуть: “Будь прокляты те, кто сказал мое до меня!”), а в его способности разделить учение наиболее перспективного и плодотворного научного направления своего времени и сделать в него свой вклад. Возможно, со мной не согласятся некие самобытные умы, не чувствующие себя обязанными омажем никакому учителю или учению, — я к таковым причислить себя не могу.

Я не открыл идей, которые разрабатываю, моей интуиции хватило настолько, чтобы применить проблемы, носящиеся в воздухе и уже оплодотворившие иных ученых, в иных отраслях знания, к своему материалу. Это дало мне возможность открыть в нем некие новые грани.

Я сумел построить “модель” средневековой культуры, которая во многом близка построенной Ле Гоффом, но

отличается от его “модели”, основывающейся исключительно на западноевропейском христианском материале, тем, что совмещает в себе два пласта: варварский и собственно средневековый. Это — мое, насколько мне известно, и этим я дорожу. Ибо такое сопоставление двух срезов, отражающих две стадии, два периода, позволило мне, как кажется, по — новому сформулировать проблему первостепенной важности, а именно: как в рамках одной, средневековой, христианской культуры сочетаются, переплетаются, синтезируясь и вместе с тем противоборствуя, две ее ипостаси: “низовая” и “верхушечная”, “элитарная” культура?»

Этот отрывок из записей 1973 года дает мне повод для рассуждения и о более общих различиях в подходах к исследованию средневековой культуры и социальности между мною и историками Школы «Анналов».

В статье одного английского или американского историка, посвященной конкретной проблеме, а именно легенде о чистилище св. Патрика (XII век), рассказывается об отношении его студентов к современной медиевистике. Студенты говорили профессору, что никак не могли взять в толк, каким образом двигалось то, что они называли кораблем средневековой жизни, а объяснения, предлагаемые историками, по словам автора статьи, студентов не убеждали. Так было, по их словам, до тех пор, пока они не ознакомились с трудами Ле Гоффа, Гуревича и некоторых других представителей исторической антропологии. Эти авторы ввели их (как они выражались) в «машинное отделение» корабля, и тогда им стало более понятным внутреннее устройство средневекового общества, которое придавало ему и стабильность, и — отчасти — изменчивость.

Если действительно мои труды, как и труды глубоко чтимых мною и многому научивших меня представителей исторической антропологии, могут способствовать лучшему пониманию внутренних механизмов средневекового развития, то это не может не вызывать удовлетворения. Подходы здесь могут быть разные. Немецкая исследовательница творчества Ле Гоффа и Гуревича Шольце — Иррлиц писала в своей диссертации, что между нами, при общности основополагающих идей и главных направлений методологии, существуют немаловажные различия. Шольце — Иррлиц не без основания видит эти различия в следующем.

Ле Гофф стремится обнаружить внутренние сдвиги, которые переживали и общество и культура в эпоху зрелого и позднего Средневековья. Он очень чуток к сдвигам смыслов, к изменениям картины мира, которые происходили в то время на Западе.

Русскому читателю это может быть хорошо известно из опубликованной несколько лет назад на страницах «Одиссея» статьи Ле Гоффа «С небес на землю». В этой статье он подчеркивает, что в XIII-XIV веках происходила значительная переоценка ценностей. Взоры верующих обращались прежде всего уже не к небесам, люди все в большей мере и все пристальнее всматривались в то, что происходит с ними самими и с обществом, в котором они живут. Мир посюсторонний приобретает самоценность, которой он не имел в более ранний период, когда спиритуальность, вера в Бога, независимо от того, была ли она глубока или поверхностна, заслоняла весь горизонт верующих. Это интересная статья.

Но мне казалось и тогда, когда я впервые ознакомился с этим текстом, да и теперь кажется, что Ле Гофф несколько форсирует и переоценивает значимость этих элементов нового. Несомненно имело место социальное, материальное, культурное, религиозное развитие, но для того, чтобы понять его характер, необходимо учитывать, что на разных уровнях средневековой жизни оно происходило не синхронно, не одновременно и далеко не всегда в координации с другими явлениями.

Во всяком случае, установить такого рода внутренние функциональные зависимости, как мне кажется, намного труднее, нежели это иногда представляется Ле Гоффу. В частности, это касается проблемы возникновения идеи чистилища, о чем я не раз высказывался в печати. По мысли Ле Гоффа, в результате накопления нового жизненного опыта, прежде всего представителями городского населения — бюргерами и купцами, в XII-XFV веках формировались новые жизненные ориентации, социальные практики, что в конечном итоге привело и к такому сдвигу, как появление на карте потустороннего мира, наряду с адом и раем, третьего царства — чистилища. Тем самым представители городского населения получали надежду на спасение.

Установить если не прямую, то хотя бы косвенную связь между перекройкой картины потустороннего мира, с одной стороны, и новыми социальными практиками горожан — с другой, далеко не так просто. Я думаю, что необходимо иметь в виду самостоятельность развития религиозного сознания, которое, разумеется, не могло не получать импульсов из социальной сферы, но вместе с тем в своем репродуктивном состоянии прежде всего определялось внутренней структурой христианского вероучения.

Мне вообще кажется важным придавать особое значение — наряду с элементами развития — факторам, определявшим

воспроизводство на прежней основе, т. е. консерватизму средневековой жизни. Может быть, этот акцент отчасти диктовался моими интересами историка — аграрника, ибо в сравнении с городом, центром более динамичной социальной жизни, деревня в Средние века представляла собой, несомненно, более консервативную среду. Однако следует иметь в виду, что при всем развитии городов в XIII-XIV веках все же подавляющее большинство населения жило в деревне, городское население пополнялось за счет выходцев рттуда, и поэтому традиционные навыки миросозерцания, мироощущения, создававшиеся в сельской местности, не могли не оказывать весьма мощного воздействия на сознание людей, принадлежавших к городскому населению. Короче говоря, элементы статики нельзя упускать из виду и тогда, когда мы говорим об определенном динамизме средневекового общества.

По определению, историк изучает изменения, те новые явления, которые не существовали в предшествующий период и наложили свой отпечаток на дальнейшее развитие. Это входит в непосредственные и главные, основополагающие задачи исторического знания. История — это наука об изменениях, которые переживают человек и общество, это бесспорно. Но сила консерватизма, сила статики при этом сплошь и рядом оказывается как бы вынесенной за скобки, ей не придается большого значения. Поэтому мне казалось очень важным подчеркнуть именно эту сторону дела, ибо только учитывая ее, мы можем понять и характер изменений, происходивших в средневековом обществе, и темпы этих изменений, и то, в какой мере новые явления оказывались устойчивыми, продуктивными для дальнейшего и в конечном итоге — уже неотменяемыми.

Забегая вперед, приведу следующий пример. Понятие persona в средневековой теологии на протяжении почти всего Средневековья связывалось главным образом, если не исключительно, с Божественными ипостасями, между тем как человеческой личности теологи, философы не придавали существенного значения, не на это было направлено их внимание. Понятие личности получает новое звучание, уже мирское, связанное с человеческими отношениями, в проповедях францисканца Бертольда Регенсбургского во второй по — ловине XIII столетия. О моей работе над этими проповедями я расскажу позже. Останавливаясь подробно на анализе соответствующих высказываний Бертольда и придавая им очень большое принципиальное значение, я вместе с тем с самого начала стремился всячески подчеркнуть, что это несомненное завоевание мысли не имело непосредственных и даже отдаленных

последствий для дальнейшего развития теологии и мировоззрения; после Бертольда к вопросу об антропологическом, а не теологическом содержании понятия «persona» мыслители конца XIII, XIV или XV века не возвращались. Мысли Бертольда не нашли дальнейшего отклика. Поэтому те новации, которые, несомненно, содержатся в его проповедях, приходится связывать не с тем, что было после него, а с другими явлениями в области духовной и художественной жизни в той же Германии в то же время, когда творил Бертольд Регенсбургский.

О возросшем беспрецедентном интересе мастеров искусства, скульпторов к реальному изображению человека свидетельствуют статуи донаторов Наумбургского собора, равно как и скульптуры, украшавшие некоторые другие церковные постройки в Германии того же времени. Это не портреты в современном понимании, они выражают некоторые общие представления о человеке, и интерес к человеку в них несомненен. Также и некоторые другие явления того же времени координируются, как мне кажется, с мыслями Бертольда. По — видимому, в третьей четверти XIII столетия в Германии в силу определенных, хотя и не вполне ясных нам обстоятельств возник интерес к человеку, к его земной природе, разумеется, соотнесенной с Божеством, с Творцом, которому он должен дать отчет о своей субъективной деятельности. Но едва ли возможно говорить здесь о прогрессе, развитии, зарождении нового; речь идет о феноменах, самих по себе существенных, но не являющихся зародышами дальнейшего развития.

Подобное же расхождение между Ле Гоффом и вашим покорным слугой можно увидеть, как мне кажется, и в интерпретации истории становления идеи чистилища в картине потустороннего мира.

Ле Гофф стремится установить определенную связь между социально — экономическими процессами, прежде всего ростом городов и бюргерства, с одной стороны, и изменениями в коренных религиозных представлениях, к каким следует отнести мысли о загробном мире, — с другой. Казалось бы, с этим можно согласиться.

Но изучение видений потустороннего мира, в том числе тех, что относятся к VI-VIII векам, привело меня к предположению, которое может быть обосновано анализом текстов некоторых из этих visiones, что уже в этих ранних видениях потустороннего мира при описании ада вычленяются два его отсека — глубины ада, из которых души совершивших смертный грех никогда не смогут выйти, и другой отсек, из которого по истечении определенного срока и после претерпевания адских мук, носящих

очистительный характер, душа грешника может выйти. Поэтому тут и встречается термин ignis purgatorius, то есть очистительный огонь, и это своего рода синоним purgatorium как места. Это место не обозначено в качестве третьего царства в загробном мире и является одним из отсеков ада, но тем не менее в фантазии людей Раннего Средневековья оно уже вычленено. Чистилище, не вполне четко оформленное, скорее как предчувствие, латентно уже существует, по моему предположению, в сознании верующих Раннего Средневековья.

Я не буду сейчас подробно рассматривать всю аргументацию, хочу только указать, что если Ле Гофф придает решающее значение *перелому*, который произошел в XII-XIII веках в отношении к идее чистилища, то я склонен видеть как раз определенную преемственность и, по сравнению с его концепцией, некоторую стертость столь для него четких граней между представлениями о потустороннем мире в начале Средних веков и в классический и поздний их период.

Думается, что методологические разногласия между нами — того же рода, как и те, о которых мы говорили только что. По моему мнению, в сознании средневековых людей идет не столько резкое качественное развитие, сколько перемещение акцентов, и наблюдается устойчивость коренных представлений, в частности о загробном мире.

В этой связи нельзя не остановиться на упреке, который сделал Ж. Дюби в своем в целом весьма позитивном предисловии к французскому изданию моей книги «Категории средневековой культуры». Дюби упрекает меня в том, что, рисуя общую картину мира средневекового человека, я, во — первых, недооценил региональные различия в культуре и то, как они интерпретировались в тех или иных странах и регионах Европы, и во — вторых, недостаточно, по его мнению, остановился на тех глубоких сдвигах, которые происходили на протяжении всей этой огромной эпохи.

Возразить против этого упрека Дюби довольно трудно: Европа была многоразлична и многолика, говорить об этом разнообразии можно и совершенно необходимо. В свое оправдание я хочу сказать совсем другое. У Дюби, кажется, не было оснований сомневаться в том, что я должен был знать о многообразии средневековой культуры и социального строя. Дело не в том, что я упустил это из виду, а в том специфическом принципе, которым я руководствовался, работая над «Категориями средневековой культуры». Я не собирался нарисовать сколько-нибудь детализированную и потому нюансированную по регионам и периодам картину средневековой истории и средневековой

культуры. В противном случае я написал бы совершенно другую книгу.

В мой замысел входило нечто иное — построение некоего идеального типа средневековой культуры. Этот идеальный тип в большей или меньшей степени должен быть приложим к различным вариантам в контексте этой культуры. Я хотел выяснить именно самые основные категории, предполагая, что дальнейшие исследования, которые могут быть предприняты мною или совсем другими учеными, если они смогут базироваться на этих категориях, чертах идеального типа, приведут к тому, что картина будет становиться все более и более индивидуализированной применительно к пространству и времени.

Таким образом, и в «Категориях средневековой культуры» принцип, которому я сознательно следую, — это внимание не столько к движению и изменению от начала к концу, хотя, конечно, и эти черты эволюции мною не игнорируются, а к некоторым общим особенностям средневековой культуры, выделяющим картину мира западноевропейца из ряда других картин мира, которые могли бы быть отнесены к другим регионам — Запад и Восток Европы, и к другим периодам истории — Античность, Новое время, и т. д. и т. п.

Во всех случаях, которые я сейчас бегло и поверхностно обсудил, я, собственно, имел в виду одно и то же, а именно: необходимо попытаться выяснить специфику той модели мира, о которой идет речь. Высказанные мною соображения показывают, что принцип, которым я руководствовался в своих исследованиях, в той или иной степени отличается от исследовательских принципов и Ле Гоффа, и Дюби, при всех явственных различиях между этими двумя великими французскими историками.

Мне думается, что только сочетание и сопоставление разных подходов, о которых шла речь, открывает перед историками возможность продвижения в плане более углубленного познания специфики Средневековья. Незачем стремиться к однозначному, унифицированному суждению об этой эпохе, каждый историк в зависимости от своей индивидуальности, от тех специфических методов, которые он использует, в силу особенностей источников, на которых он базирует свое исследование, естественно, приходит к своим, более или менее оригинальным представлениям. Читателям, коллегам, всем, кто интересуется этой проблематикой, представляется возможность предпочесть ту или иную точку зрения или, что еще более продуктивно, составить собственное мнение о средневековой культуре, учитывая те соображения, которые вышеназванными авторами были

обозначены.

* * *

Работая над книгой о средневековой народной культуре, я хотел подвести некоторый итог довольно долго уже тянувшейся внутренней полемике с Бахтиным и сформулировать мои согласия и в основном несогласия с положениями этого замечательного ученого в его книге «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса».

«История историка» (1973 год):

«Проблему народной культуры Средних веков и Ренессанса с большой остротой поставил М. М. Бахтин. Заслуги его неоспоримы. Особенно интересны его построения относительно мифа “гротескного тела”, “карнавальной” культуры и синтеза этих образов в творчестве Рабле. Но, воздавая ему должное, нельзя пройти мимо упрощенной схемы противостояния двух якобы внешних друг другу и лишь враждующих культур: серьезной и смеховой, т. е. церковной и народной. Эту проблему, вне сомнения, необходимо рассмотреть заново. Этим-то я и занялся, отчасти уже в книге “Категории средневековой культуры”, более пристально и сознательно — после ее издания, когда эта проблема, важность коей невозможно переоценить, стала вырисовываться перед моим взором во весь рост. Таков предмет моих нынешних занятий».

В моей книге о средневековой народной культуре была уже целая полемическая глава, посвященная гротеску, понимаемому мною на основании источников, которые я исследовал. Это были средневековые источники, между тем как Бахтин в основном опирался на романы Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Но XVI век, когда были созданы эти романы, — это не совсем Средневековье, чтобы не сказать, что это уже совсем не Средневековье. Хотя в этом творении Рабле несомненно отражены некоторые средневековые традиции, но их понимание — весьма сложное и субъективное.

Возможно, помимо проблемы источниковой базы, дело было еще в темпераменте и судьбе исследователя. Бахтин испытал непомерные невзгоды: саранская ссылка, тяжелая болезнь, которая привела его, злостного курильщика, к ампутации ноги, а он продолжал испытывать страшные боли. Для человека, который не был расположен к веселью и радости, средневековая народная культура представляла собой прежде всего «карнавал», разгул «телесного низа».

Бахтин был титаном мысли, каковым я себя вовсе не считаю, но как историк — зануда я обнаружил в этой культуре нечто, другое. Да, много было шуток и смеха. Но сплошь и рядом — и это характерно не только для латинских или старофранцузских памятников, но и для скандинавского Севера, где были другие культурные традиции, — смеховое начало, ориентирующее, казалось бы, на веселье, на самом деле выступает прежде всего как необходимый социальнопсихологический противовес неизбывному сознанию ужаса перед загробными муками. Человек смертен и потому подвержен Страшному суду, и этот суд может привести его совсем не в рай. Для того чтобы жить с этой мукой, под страшным давлением учения о загробном личном воздаянии, человек не мог не прибегать к смеху, к веселью. Но это веселье может быть правильно оценено только на фоне этого неизбывного страха, являясь подчас его необходимым коррелятом.

В конечном итоге оказалось, что моя книга о народной культуре перекликается — отчасти в позитивном, а отчасти в негативном плане — и с книгой Бахтина, и с книгой Динцельбахера, и с книгой Ле Гоффа, не говоря уже о трудах многих других ученых, которые в это же время или раньше писали на те же темы. Как здесь не вспомнить о книге Ж. Делюмо «Страх на Западе», где на огромном материале показано нарастание глубокого беспокойства и массовых фобий в Европе XIV-XVII веков. Я почувствовал, что включился в какое-то важное течение современной медиевистики, ориентированное на новые проблемы, и это очень меня укрепляло.

Погружение в проблематику средневековой культуры и народного мировиденья представлялось мне весьма существенным, но на официальном уровне продолжало встречать противодействие.

Впрочем, в начале 80–х годов появились уже зазоры в «китайской стене» советской системы. Когда в 1972 году вышло первое издание «Категорий средневековой культуры», заведующему редакцией издательства «Искусство» звонил чиновник Комитета по печати и предупреждал:

— Готовься к вызову «на ковер» (я полагаю, что присутствующие слыхали, что такое вызов «на ковер» — это значит подвергаться «проработке» со стороны вышесидящих чинуш).

— А что такое?

— Ты выпустил книгу Гуревича.

— И что же?

— А ты посмотри, я проверил по именному указателю, сколько раз он упоминает Энгельса и сколько раз Христа.

«На ковер» заведующего редакцией не вызвали, но бдительность проявлялась.

* * *

В конце 70–х — начале 80–х годов я интенсивно работал над поиском новых источников, которые позволили бы расширить представления о народной, неофициальной культуре. Я прорабатывал латинские проповеди и средневековые exempla — короткие назидательные примеры и вскоре посвятил их анализу книгу «Культура и общество средневековой Европы глазами современников».

Но ведь существовали же и проповеди на народных языках, подумал я. И крупнейшим проповедником, упоминания о котором я уже многократно встречал, был Бертольд Регенсбургский, замечательный францисканец, действовавший в середине и второй половине XIII века в южной Германии и за ее пределами.

Бертольд — моя слабость, и, говоря о нем, мне следует себя обуздывать. Но я хочу рассказать о переживании, которое он мне доставил. Я стал читать текст его проповедей, написанный на средневерхненемецком языке. Обширные проповеди, которые, судя по их объему, произносились на протяжении одного — двух часов. И, по- видимому, несмотря на длинноты, они держали публику в напряженном состоянии от начала и до конца. Во всяком случае, Салимбене Пармский, францисканец и хронист, рассказывает, что толпы народа и в Германии и в Италии сбегались послушать Бертольда, зачарованно внимали каждому его слову, а некоторые избранники даже переживали чудеса, связанные с действием его проповедей.

До Лютера это был, может быть, самый крупный немецкий проповедник. Читая его тексты, я вскоре почувствовал, что поддаюсь обаянию Бертольда. Он глубоко религиозный человек, а я на этой волне не работаю. Но я ощущаю его личность — то, что в латинской проповеди очень трудно уловить, ибо речи человека, говорящего на латыни, обычно подчинены такому обилию топосов и общих положений, что его индивидуальность может лишь изредка прорваться через эти общие места. Бертольд говорит, как мне кажется, совершенно свободно, последовательно и в высшей степени убедительно.

А далее я стал испытывать и нечто иное. В общении с источником всегда имеет место отстраненность, «пафос дистанции»; чувствуешь принадлежность автора текста к иному времени и иной культурной традиции. Это создает совершенно

особое поле напряжения. Оно было и здесь, но вместе с тем возникало необычайное ощущение, что есть интеллектуальная и эмоциональная почва для моего сближения с автором проповедей. Я стал чувствовать созвучность проблематики, которой я занимаюсь, тем идеям, которые Бертольд развивал за сотни лет до меня.

Я испытывал некий амок, высшее интеллектуальное возбуждение. Казалось, я подступаю к чему-то необыкновенно важному, и это чувство не только не оставляло меня, но при чтении одной проповеди за другой все более и более усиливалось, знаете, как в игре «холодное — горячее». Я приближался к этому «горячему», чувствуя, что вот сейчас, в одном из ближайших текстов открою нечто экстраординарное. И это произошло, когда я стал читать проповедь «О пяти талантах» (в дальнейшем я о ней не раз писал), не переставая восхищаться ее удивительностью и значимостью. В ней обыгрывается евангельский текст, совершенно, однако, вывернутый; для Бертольда этот текст не более чем повод для развития вполне оригинального хода мыслей.

Бертольд ставит вопрос, который, начиная еще с проблем «Генезиса феодализма», если не раньше, занимал меня больше всего в течение многих лет. Что такое средневековый человек? И что такое человеческая личность, или, выражаясь языком Бертольда — persona, латинское persona? Такая постановка вопроса совершенно не свойственна средневековой литературе: современники Бертольда — а среди них были такие авторитетные мыслители, как Фома Аквинский, — этой проблемы не ставили, не обсуждалась она и впоследствии. Когда говорилось о persona, то имелась в виду persona divina, речь шла о Божественной Троице, о трех ипостасях Божества.

Бертольд произносит религиозную проповедь, но речь идет о персоне человека, дается характеристика личности, указываются ее главные признаки. Господь даровал каждому из нас пять «фунтов» (талантов), говорит Бертольд. Первый дар — это наша собственная персона. Бертольд изъясняет, что это такое: persona обладает следующими качествами — социальный статус, должность, сословная принадлежность (Amt).

Каждый член общества занимает совершенно определенное место в том или ином ordo, сословии, социальном слое, недопустимо из одного статуса переходить в другой, каждый должен оставаться при своем служении, и из этой принадлежности вытекают определенные обязанности и права. Итак, должность, статус, служба — это второй дар Божий человеку.

Далее. Индивид владеет своим собственным имуществом — guot, Gut. Ставится проблема собственности, подробно рассказывается, что Господь сотворил всего более чем достаточно, но люди поделили все между собой не поровну, и получилось, что одни бедные, другие богатые, третьи — среднего достатка; «переделять» ничего не нужно, каждый должен довольствоваться своим. Но нужно заботиться о том, чтобы то имущество, которым человек владеет, сохранить и приумножить, ибо человек — не собственник его, а лишь управитель; верховное право собственности принадлежит сотворившему его Господу. И в последний день своей жизни индивид должен дать Ему отчет о том, как он управлял дарованным владением. Таков третий дар.

Время нашей жизни, говорит Бертольд, — следующий дар Господа. Со временем мы должны обходиться осмотрительно, беречь его, тратить с богобоязненностью, прежде всего на посещение церкви, молитву, совершение добрых дел, спасение души, а также и на собственные хозяйственные нужды.

И наконец, пятый дар Господа Бога — это любовь к ближнему, что определяет принадлежность к социуму.

Таковы дары Господа — признаки человеческой персоны. Согласитесь, интерпретация Бертольдом евангельской притчи — в высшей степени вольная и оригинальная!

Некоторое время спустя после того, как я изучал этот довольно обширный корпус проповедей, мне пришла в» голову мысль: во время работы в 60–х годах над «Категориями средневековой культуры» какие же я наметил себе категории? Время, пространство, собственность, богатство и бедность, социальные отношения и право и — как итог — проблема личности. Что же получается? Историк, вчитывающийся в источники во второй половине XX столетия, выделяет те самые категории, которые, оказывается, были намечены Бертольдом в его проповеди, созданной между 1252 и 1270 годами. Один мой добрый критик упрекал меня в том, что в «Категориях средневековой культуры» я намечаю понятия, которые, может быть, не столь свойственны были средневековым людям, сколько интересуют меня самого. Поэтому имеет место некоторая несогласованность между проблематикой, придуманной Гуревичем, и тем, над чем билась мысль средневековых людей, чем определялась их жизнь.

Вглядываясь в источник и не имея в голове ничего, кроме одного лишь интереса к этому источнику, мы мало что в нем найдем. Я ищу в нем только то, что стучится в мою голову; моя проблематика, мое мировиденье продиктованы временем, в котором я живу, культурой, к которой принадлежу. Исходя из

этого, я и задаю источнику свои вопросы. Но вот оказалось, что мы с Бертольдом сумели протянуть друг другу руки через много столетий.

С точки зрения методологии исследования, эпистемологии анализа средневековых источников и вообще рассуждения о том, как работает историк, откуда берутся проблемы его штудий, мой опыт чтения проповедей Бертольда Регенсбургского представляется в высшей степени любопытным и поучительным. Это было одним из самых сильных моих переживаний как историка, особенно важным потому, что оно явилось результатом не какой-то игры с понятиями, абстракциями, а нелегкого чтения текста.

В 1989 году вышла книга «Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства», в которой самая большая и центральная для меня глава была посвящена взгляду на мир Бертольда Регенсбургского.

* * *

Понятие «народная культура» ныне не представляется мне вполне удачным применительно к тем пластам религиозности и миросозерцания средневековых людей, которые выдвинулись в центр моих изысканий. Слово «народный» многозначно, а подчас даже двусмысленно. Оно было навеяно прежде всего книгой Бахтина, хотя, как уже было упомянуто, я с самого начала вкладывал в этот термин иное содержание. По сути дела, речь идет не о двух культурах, официальной и неофициальной, которые противостоят одна другой, — речь идет о разных сторонах того в высшей степени сложного и внутренне противоречивого комплекса, который более отчетливо вырисовывается перед умственным взором современного медиевиста, нежели это представлялось нашим предшественникам. Если у Бахтина «народная культура» резко противопоставлена культуре богословов и церковников, то я уже в 1981 году писал о «диалоге — конфликте», развертывавшемся в поле напряжения культуры той эпохи.

Перед нами скорее разные аспекты культуры и религиозности, противоречиво, а подчас даже парадоксально сосуществовавшие в одном и том же сознании. В самом деле, даже невежественные простолюдины, казалось бы, погрязшие в тех верованиях и традициях, которые церковь квалифицировала как языческие, в какой-то мере усваивали элементы ортодоксии, а, с другой стороны, наиболее образованные и изощренные в

теологических тонкостях люди вовсе не были чужды тем «суевериям», которые они находили у своей паствы и с которыми неустанно боролись.

Проблема заключается в том, чтобы охватить эти столь различные стороны культуры и религиозности и не стилизовать средневековое христианство в виде рафинированной веры. Именно поэтому современный медиевист едва ли может представлять себе средневековый католицизм исключительно как собрание догматов и апробированных церковью практик, а изучение памятников церковной словесности, относящихся ко «второму эшелону» ее, не может не охватывать exempla, visiones, пенитенциалии, жития святых, проповеди и другие подобные же источники.

Религиозная культура паствы, естественно, не могла найти прямого выхода в текстах, но анализ указанных категорий источников может хотя бы отчасти приблизить нас к ее пониманию. В этой связи существенным кажется мне введение понятия «обратная связь»: проповедники, приходские священники, обращаясь к верующим, неизбежно должны были изъяснять богословские истины на языке, понятном прихожанам, используя привычную для паствы и вовсе не чуждую им самим систему образов и представлений.

В результате подобных исследовательских усилий мы могли бы воссоздать картину средневековой культуры, отличающуюся от традиционного ее образа. Мысли и верования средневековых крестьян и горожан, рыцарей и монахов поглощены толщей забвения, но историк, ставящий перед собой новые вопросы, мог бы, как я надеюсь, пробить в этом забвении некоторые бреши.

Здесь я вынужден ограничиться немногим и остановиться преимущественно на парадоксах средневековой религиозной культуры.

Историки, писавшие о миросозерцании людей той эпохи, как правило, выводили на первый план четкое противостояние добра и зла, «верха» и «низа». Мир средневекового человека организован по вертикали, полюсы которой предельно отстоят один от другого. Казалось бы, трудно опровергнуть подобное понимание системы средневекового миросозерцания, в которой каждьр! компонент занимает место, предопределенное ему Божественным провидением.

Но если мы внимательно вчитаемся в те памятники, которые были перечислены выше, то перед нами начнет вырисовываться более сложная картина. Святые — избранники Господа, заступники грешного люда, воплощение благости и добра — во многих житиях фигурируют в облике, мало отличающемся от

облика магов. Верующие ожидают от них чудесной помощи в сложных и неблагоприятных жизненных обстоятельствах, более того, требуют от них чудес и принуждают их к совершению таковых. Здесь обнаруживается универсальный принцип do ut des: я поклоняюсь тебе, возношу молитвы и приношу дары, так будь же любезен выполнить мои просьбы и помочь мне. Имели место случаи, когда статуи святых, не спешивших прекращать засуху и иные природные невзгоды, подвергались крестьянами поруганиям, побоям идаже потоплению в реках. Это — с одной стороны.

С другой же стороны, святые нередко оказываются столь же требовательны по отношению к верующим. Они ниспосылают болезни и беду на головы тех, кто им непокорен и не изъявляет должной почтительности. Мало того, подобным же образом в ряде случаев ведет себя и сам Христос. Сохранилось немало рассказов, в которых Распятый сходит с креста для того, чтобы пинками и побоями возвратить к повиновению грешника и покарать его. Согласитесь, пинающееся и дерущееся божество — предельно странное зрелище, способное повергнуть верующих в трепет и ужас. Вспоминаю, что когда я впервые докладывал о такого рода «странностях» поведения высших сил, Ю. М. Лотман воскликнул: «Да они же ведут себя у вас наподобие бесов!» Действительно, четкая граница между началами любви и милосердия, с одной стороны, и воплощениями зла — с другой, оказывается, пусть на краткий миг, стертой.

Такое же размывание противоположности между добром и злом можно наблюдать при чтении рассказов о поведении чертей. В нравоучительных «примерах» встречаются упоминания бесов, которые боятся Страшного суда и низвержения в ад; они хотели бы примириться с Господом, но гордыня, определяющая их существо, служит препятствием для их молитвы и покаяния. Бес, принявший облик оруженосца, верой и правдой служит рыцарю, а когда последний отсылает его от себя, заявляет, что ему любо общаться с детьми человеческими, и просит те деньги, которые рыцарь предложил ему за верную службу, истратить на покупку колокола для приходской церкви.

Борзой пес, который спас новорожденного ребенка рыцаря и по ошибке был убит, делается святым, и на его могилу крестьянки приносят для исцеления больных младенцев. Эта легенда о святом Гинефоре и вера в его чудодейственную силу, зафиксированная доминиканским монахом в середине XIII века, сохранялась в народа еще и в конце XIX столетия.

И так далее и тому подобное.

Перечень «странностей» и парадоксов средневековой

религиозности легко увеличить, но я о них в свое время писал более подробно и хотел здесь напомнить о некоторых из них только для того, чтобы показать, что традиционная для историографии Нового времени трактовка веры людей той эпохи, игнорировавшая подобные «безобразия» и несообразности, в высшей степени одностороння.

Как видим, средневековое мировиденье нуждается в дальнейшем исследовании, отказывающемся от тех шор, какие еще совсем недавно мешали проникнуть в его существо и неповторимое своеобразие.

* * *

Когда раскрываешь новые проблемы и загораешься, обратив внимание на те источники, которые еще совсем недавно тебя не привлекали, это вселяет большие силы и дает очень серьезное утешение даже в повседневной жизни. Все дрязги, происходившие в Институте и за его пределами, в Академии наук и далеко на периферии этого благословенного учреждения, представлялись преходящими мелочами, которые не должны и не могут наполнять душу и сознание. Занимаясь своим делом, я чувствовал себя и в 60–е и в особенности в 70–80–е годы, говоря откровенно, совсем неплохо. Мы знали, что в общественной жизни нельзя принимать никакого участия, потому что это негигиенично и ни к чему хорошему не приведет. Не нужно думать о том, доведется ли тебе когда-нибудь съездить на Запад и встретиться с коллегами, работы которых тебе интересны, познакомиться там с библиотеками, которыми ты не пользуешься, довольствуясь весьма ограниченными запасами наших даже больших книгохранилищ. Надо принимать то, что есть, за данность и в пределах этой данности упорно работать.

С этим отчасти связаны мои размышления о том явлении в нашей жизни, которое стало заметным с конца 60–х годов и к которому я теперь обращусь. Оно, на мой взгляд, заслуживает некоторого обсуждения, хотя подозреваю, что мое мнение далеко не во всем совпадает с мнением тех, о ком я буду говорить. Это эмиграция. Вообще-то, эмиграция — исторически объяснимое, детерминированное явление в истории многих народов. На фоне исторических переселений огромных масс людей то, что происходило и происходит в нашей стране, может показаться не таким уж экстраординарным. Я не имею в виду эмиграцию дореволюционную или послереволюционную, я говорю о той, что началась в 60–х годах, когда двери стали хоть и с трудом, но

приоткрываться.

Я мало знаю свою страну, бывал в Коктебеле, в Прибалтике, куда мы с женой и дочкой неоднократно ездили отдыхать. И то обычно я их туда отправлял на лето, а сам приезжал позже, потому что и в отпуске нужно было работать. Удалось посетить Донецк, Днепропетровск, Новосибирск, Тбилиси, Владимир, Ярославль, еще какие-то города, и это все. Я не бывал ни в Киеве, ни в Новгороде, ни в Средней Азии. Когда кончились мои продолжавшиеся шестнадцать лет еженедельные маятниковые движения между Москвой и Калинином, нужно было вплотную засесть за пишущую машинку и что-то пытаться сочинить. Конечно, жаль, что я так мало поездил по своей стране, но затянувшаяся «ссылка» в Калинин, признаться, отбила у меня охоту к туризму. Специально путешествовать по какой-нибудь даже очень привлекательной стране у меня не было особого желания. Между трудами и трудами текла моя жизнь. И в более поздние годы я и на Запад, когда это стало возможным, приезжал работать, и как только работа заканчивалась, ощущал потребность вернуться к своим пенатам.

Я допускаю, что у каждого человека, желающего покинуть свою страну и переселиться в другую, есть вполне достаточные основания, обсуждать которые было бы бессмысленно и бестактно. Тем не менее я затрону проблему эмиграции в рамках своих личных мемуаров. Тому есть две причины. Во — первых, среди моих друзей и коллег число эмигрирующих постепенно стало расти и достигло некоторой критической массы. Приходит момент, когда твоя записная книжка — это уже что-то совершенно антиквированное; человеческие контакты все больше и больше сокращаются. Потерять друзей с возрастом оказывается гораздо легче, чем обрести новых, создаются новые конфигурации в человеческих отношениях.

Стали уезжать и историки. Одни считали, что здесь их недооценили, их таланты могут расцвести только на другой, более ухоженной почве, другие — и таких было немало — ссылались на то, что боятся оставить здесь детей в обстановке политических и иных сумятиц. Многих совершить этот шаг стимулировал, конечно, рост национализма, шовинизма и антисемитизма.

А во — вторых — дело в том, что я дважды получал приглашения уехать. Во второй половине 70–х годов ко мне домой является мой коллега из Швеции. Я знал его давно, визиты его были многократными, и я не придал этому его приходу особенного значения. Но в ходе беседы он довольно робко сказал: «Нет ли у вас, профессор Гуревич, желания эмигрировать в

Швецию? Для вас нашлась бы достойная работа». Я поблагодарил его, но не воспользовался приглашением, хотя Швеция — очень благоприятная для проживания страна, лишенная многих «прелестей» великих держав и нашей, в частности. Но я сказал: нет.

Второй раз (это было позднее) я получил приглашение от одного из ведущих в Израиле медиевистов. Велись переговоры о переводе моих «Категорий средневековой культуры» на иврит. (Между прочим, недавно мне передали слова одной дамы из МГУ: то, что книги Гуревича переводятся на многие языки, утверждала она, вызвано содействием израильских спецслужб. На это я могу возразить только одно: единственным издательством, которое выпустило перевод «Категорий средневековой культуры», не уплатив мне никакого гонорара, ни шекеля, было иерусалимское издательство «Академон». Я упустил, по — видимому, что надо было по этому поводу обратиться в Моссад.)

Так вот, этот израильский историк пишет мне: «Профессор Гуревич, есть три возможности Вашего приезда в Израиль. Первая — эмиграция. Работой будете обеспечены. Вторая — Ваш визит к нам на год или на учебный год, работа в достойных для университетского профессора условиях. Третья — короткий визит, лекционное турне по нашим университетам в течение месяца». Я отвечаю: «Глубокоуважаемый коллега, я очень благодарен за Ваше приглашение, но прошу прощения — я плохой еврей и ехать на так называемую историческую родину абсолютно не готов. Оторваться от своей работы в Москве на год мне кажется чрезмерным. Я предпочел бы месячное турне по вашим университетам при условии, что Вы пригласите не только меня, но и мою супругу».

Они приняли это предложение, и в январе 1993 года мы провели месяц в Израиле. Это была чрезвычайно интересная, уникальная поездка, даже в сравнении с посещениями стран Запада. Я встретил там много знакомых, друзей, которые уехали гораздо раньше, как-то устроились, хотя и по — разному. Бывает и так: человек уехал, а потом начал метаться, не прижился, не только материально, но и психологически, почувствовал себя как бы выдернутым из родной почвы и не может свой корешок запустить в чужую, хотя и очень, казалось бы, благоприятную почву, для того чтобы произрастать и процветать дальше. Я встречал таких людей в Израиле. Они говорили: вот уехали, а теперь не знаем, что делать дальше, вернуться невозможно или трудно, а здесь к нам относятся плохо. Те, кто приехал раньше, заняли позиции, а нам остались места уборщиц в отелях и т. п.

Впрочем, по большей части уехавшие, с которыми нам

довелось общаться, были вполне довольны и нисколько не сожалели о том, что совершили этот шаг. Но мы друг друга уже не совсем понимали: моя убежденность в том, что не надо уезжать, оставалась столь же непоколебимой, как их убежденность в том, что они должны были уехать. Мой друг Виталий Рубин (пять лет он энергично боролся за то, чтобы выехать, пять с лишним лет прожил в Израиле и погиб за рулем автомобиля, которым только там овладел, разбился насмерть) говорил: советские евреи делятся цд бесстрашных и смелых. Смелые — это те, кто хочет уехать, а бесстрашные — те, кто по глупости не испытывает даже чувства страха. Ну что же, я остаюсь бесстрашным дураком.

Во мне сидит чувство, которое было выражено за два столетия до меня: землю отечества на подошвах своих сапог не унесешь. Это иррациональное чувство. Но я хотел бы посмотреть на эмиграцию и с другой точки зрения. У нас происходят всякие гадости и неприятности, здесь очень многое, и в материальном, и в духовном существовании, нас не устраивает. Но кто мы такие? Мы гуманитарии, которые чего-то добились, опубликовали свои работы, надеюсь, оказали влияние на определенную категорию населения, на своих читателей, слушателей. Тебя здесь уже знают, ты становишься выражением каких-то надежд, пусть небольшого круга людей.

И главное. Уехал выдающийся гуманитарий, который работал здесь в каком-то университете. Теперь он работает совсем в другом университете, там, где люди, если смотреть на глобус, ходят вниз головой. Однажды он приезжает в Москву и летом 1991 года, за неделю до ГКЧП, участвует в организованной Виталием Третьяковым дискуссии в редакции «Независимой газеты». Человек, который окопался уже далеко от наших пределов, говорит: «Считается, что отъезд гуманитариев и вообще ученых причиняет вред развитию науки в нашей стране, наносит ущерб культуре. Я не думаю, что это так, есть другая сторона дела. Через наших выдающихся ученых, которые уехали на Запад, там лучше знакомятся с состоянием дел в нашей науке, убеждаются в том, что гуманитарное знание у нас вовсе не находится в загоне, что с ленинско — сталинским и брежневским бессмысленным толкованием высочайших достижений человеческой мысли уже покончено. Нас видят и убеждаются, что мы не лыком шиты и можем принести пользу не только своим соотечественникам, но и людям в других странах».

Я возражаю: «Глубокоуважаемый коллега, конечно, можно доказать на Западе, что мы тут тоже не дураки, некоторые из нас, во всяком случае. Но, простите меня, есть же дети в широком

понимании — студенты, аспиранты. Почему стоит читать лекции студентам Бостона, Лос — Анджелеса, Чикаго, Кембриджа, а не московским или питерским студентам? Почему вы наших соотечественников лишаете того, что дарите там? К тому же, вы не можете дать там столько, сколько могли бы дать здесь, потому что здесь говорите на своем языке, и все оттенки вашей богатейшей мысли могут быть адекватно выражены и восприняты. А когда вы разговариваете с замечательными студентами из Филадельфии, возникает лингвистическая проблема. Вы можете блестяще владеть их языком, но они вашим языком культуры не владеют, и приходится разжевывать элементарные вещи. Вы будете там тратить сокровища своих знаний и затрагивать нюансы, которые могут быть поняты только здесь, а наши слушатели будут этого лишены».

Мои слова были не случайны. Этому профессору, читающему лекции в одном из крупнейших американских университетов, пришлось, рассказывая студентам старших курсов о русской культуре и литературе XIX века, выписывать на доске мелом латинскими буквами имя «Herzen», ибо они его не знали. Ничего позорящего американских студентов я тут не вижу. Почему, действительно, какой- нибудь сын бизнесмена или ковбоя должен знать о некоем Герцене? Если он знает про Джорджа Вашингтона или тем более про Фолкнера, то это уже большое достижение. А Герцен — кто это, где-то в России? Они даже толком не знают, где Россия. Когда я в Америке внуку купил большой мячик в виде глобуса, то оказалось, что Волга, вопреки заявлениям чеховского героя, впадает не в Каспийское, а в Черное море.

Когда этот профессор приехал в Москву и выступал на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, он уже автоматически писал на доске, правда, русскими буквами — «Герцен». Но здесь—то студентам, наверное, все-таки знакомо это имя — улица Герцена была хотя бы!

Мы прекрасно знаем, что даже низшая должность в американском университете оплачивается лучше, нежели должность действительного члена Академии в нашей стране. И, конечно, «деньги не пахнут». К тому же благоприятные бытовые условия, медицинское обслуживание… Качество жизни другое. Но я убежден, что если ты стал гуманитарием и уже сотворил нечто нашедшее резонанс и здесь, и на Западе, ты уже не только частное лицо и у тебя есть некоторая миссия. Ты подумал об этом, оставляя молодежь в Москве, Питере и других городах?

Это очень серьезная проблема. Мы не можем не заботиться о себе и своих ближних, но вместе с тем на нас лежат некоторые обязательства, выходящие за пределы индивидуальной личности.

Одно дело, когда уезжает человек, которому все равно, где работать, с культурой, кроме некоторого потребления, непосредственно не связанный. Но когда уезжает известный ученый, ослабляя и порывая здесь практически все связи, — это совсем другое. Мы выполняем некоторую миссию. Может быть, во мне говорит непомерная гордыня? Ну, я готов ответить за это перед людским судом и на Страшном суде.

Об этом далеко не все задумывались. Мой друг А. П. Каждан уезжал в США — его сын, крупный математик, с четырьмя своими детьми уехал раньше и обосновался в Бостоне. Дедушке и бабушке осталось только потянуться туда же. Почва для Каждана была там подготовлена: Шевченко, выдающийся византолог, обещал, что устроит его в центре византиноведческих исследований в Думбартон — Оксе (Вашингтон). Мой друг отправлялся в Америку, преисполненный надежды и энтузиазма, и при прощании говорит мне: «Я там осмотрюсь, найду тебе местечко, ты тоже приедешь». Я нагло ухмыльнулся ему в лицо.

Условия для научной работы в нашей стране, к несчастью, не становятся более легкими, как и вообще вся наша жизнь. Но пути разрешения всех поистине Неимоверных трудностей, которые стоят и перед старшим, и перед молодым поколением, нужно искать здесь. Во всяком случае, для меня выбора не было. Конечно, то, что я здесь остался, не открывало новых шансов, преподавать на кафедре истфака МГУ студентам мне так и не пришлось, но мне довелось работать на другом факультете, о чем я вскоре поведаю.

IX. Перестройка. Открытие мира

Новые начинания. — Создание ежегодника «Одиссей» и семинара по исторической антропологии. — Меморандум о демократизации Академии наук. — Письмо в КГБ. — Выездная комиссия райкома КПСС. — Италия: визит к Папе римскому. — Исландия: Скала Закона. — Статуи донаторов Наумбургского собора. — Церемония в Лунде. — Кембридж: лужайка Королевского колледжа. — Центр Гетти. — Работа над книгой о средневековом индивиде

Вторая половина 80–х годов. Все еще ощущаются гниение и мерзость; они не сразу исчезли из нашего быта, когда началось то, что называлось перестройкой и вело к некоторому обновлению. Я двадцать лет не открывал советских газет. Раскрывать их для того, чтобы подсчитывать процент лжи и расшифровывать смысл того, что рядом с тов. Брежневым по правую руку стоит сегодня тов. Суслов, а по левую — тов. Демичев, а не наоборот, и не означает ли это каких-то сложных структурных перемен? Кремленология была развита не только за рубежом, но и у нас — читали газеты, рассматривали фотографии. Мне хватало «Голоса Америки», Би — би — си, «Свободы», я получал информацию оттуда. Удручало положение в Академии, но не возникало никакой мысли о том, что можно что-то изменить. Я был оторван от общественной жизни настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы заниматься своей исследовательской практикой.

Но к концу 80–х годов некоторые из нас задумались: а может быть, следует все-таки принять посильное участие в движении обновления, хотя бы в академических и университетских масштабах? И произошло нечто весьма неожиданное для меня самого. Десятилетиями я был приучен к тому, что я вне всяких групп, коллективов. Я никогда не мог осознать себя стопроцентным сотрудником Калининского пединститута, где работал шестнадцать лет; я чувствовал себя аутсайдером в Институте философии, где, конечно, был инородным телом — некий историк среди философов; через три года меня оттуда пинком и вышвырнули. В Институте всеобщей истории я работал

уже двадцать лет, но оставался вне игры и снова оказался аутсайдером, маргиналом и не чувствовал себя принадлежащим к коллективу, о котором мог бы сказать: Мы.

Но теперь во мне стали зарождаться новые представления. Необходимо что-то делать, у нас огромный Институт (расскажите на Западе, что в нашем Институте работают двести человек, там этого просто не поймут. Там институт — это маленький творческий коллектив, человек десять — двенадцать, а то и меньше. А у нас? Полезно, правда, поразмыслить о том, что эти люди делают), и в нем нет ни одного научного семинара. При жизни Б. Ф. Поршнева организовался семинар по исторической психологии, который он регулярно созывал, и мы там некоторые проблемы обсуждали. Но вместе с Борисом Федоровичем Поршневым был похоронен и этот семинар. После разгона сектора методологии, которым руководил Гефтер, появился семинар под руководством Е. М. Жукова, он назывался методологическим. Меня однажды туда загнали, там происходили совершенно иррациональные действа, толкование каких-то самых общих партийных тезисов, рассуждения о том, что международные отношения — это своего рода классовая борьба и т. п. Возвыситься до этого уровня я не мог и понял, что это моление, с которого надо уходить, не тратить попусту время.

Я решил создать свой научный семинар, и осенью 1987 года я его открыл. В какой-то мере продолжая традицию семинара Б. Ф. Поршнева, свой я тоже назвал семинаром по исторической психологии. Впоследствии, когда все мы убедились, что речь идет не об исторической психологии, — в самом существе дела заключено некоторое противоречие, психология с трудом пользуется историческим измерением, а историки с еще булыыим трудом могут использовать категории психологии — мы его переименовали в семинар по исторической антропологии. Он существует и поныне, ему идет четырнадцатый год.

Я убедился в том, что этот шаг, имевший не только научный, но и общественный смысл, сделан своевременно и точно, потому что с самого начала стало собираться гораздо больше народа, чем это допустимо в рамках семинара. Конференц — зал на четвертом этаже Института на ул. Дм. Ульянова заполнялся целиком, и начальство стало смотреть косо на эти «сенсационные» сборища. И время от времени, пользуясь добротой Т. Б. Князевской, неизменного ученого секретаря Научного совета по истории мировой культуры, мы арендовали за счет этого Научного совета Белый зал в Доме ученых, подальше от «глаз государевых». Собиралось множество народа, доклады слушались разного уровня и содержания, но проявлялся огромный интерес. Это

длилось до определенного момента, когда политические страсти достигли такого накала, что интерес гуманитариев стал переключаться с научных проблем на проблемы общественной жизни. Но семинар не прекратил своего существования.

Теперь в его работе участвуют несколько десятков человек, на одни доклады приходит меньше слушателей, на другие — больше, но это не те гала — спектакли, которые разыгрывались вначале.

Второе начинание мы осуществили вместе с Е. М. Мелетинским. Мы считали необходимым основать новый журнал по истории культуры. «Одиссей» только начинал свое странствие, формировалась его специфическая направленность, и вместить под его обложку статьи разных направлений, связанных с культурой и историей литературы, представлялось невозможным. Мы предприняли малоуспешные попытки заручиться чьей-то поддержкой, вплоть до Министерства иностранных дел, и, наконец, убедились в том, что журнал может быть создан только на индивидуальной основе. Молодой человек, который к нам прибился, договорился с каким-то банком, ныне давно уже растворившимся в небытии. Так удалось основать журнал «Мировое древо» («Arbor mundi»), который нерегулярно, с перерывами, но все же выходит и поныне, теперь под эгидой РГГУ.

Были и другие начинания, касавшиеся педагогического поприща. Я вам расскажу нечто похожее на легенду, с правдоподобностью которой я постепенно освоился, поскольку сам стал участником событий. Тут было нечто неожиданное для человека, привыкшего к тому, что в организационном плане самостоятельно ничего сделать нельзя. Я помню, в детстве мы читали рассказы дедушки Дурова, знаменитого дрессировщика, основателя династии Дуровых. Голубя посадили на цепочку, он мог, взмахивая крылышками, попорхать над колышком, к которому привязали цепочку, попрыгать вокруг, но летать не мог. Прошло какое-то время, цепочку сняли, голубь больше не летал. Нас приучили к тому, что в рамках официальных структур никакая инициатива невозможна.

Осенью 1987 года меня приглашают на День науки в МГУ, не на исторический факультет, конечно, а на филологический. Я выступаю в большой поточной аудитории, масса студентов, рассказываю о новых направлениях гуманитарного знания, о необходимости единения гуманитариев, контактов между филологами, лингвистами, историками, социологами и т. д. Всем, как мне кажется, интересно.

Выхожу из аудитории, ко мне подскакивает невысокий

молодой человек, представляется: студент пятого курса философского факультета, выпускник. Провожая меня до дому, говорит: «Как же так, А. Я., вы толковали о важных вещах, выясняется, что изучение культуры в том плане, о котором вы говорили, у нас отсутствует, его нет ни на историческом, ни на филологическом, ни на философском факультетах. Везде речь идет лишь о ее односторонних аспектах. Совершенно необходимо создать какой-то центр для изучения и преподавания истории и теории культуры». Что может ответить старый Гуревич? «Да, да, очень жаль». Но он меня не понимает. Если я считаю, что нужно этим заниматься, то пора от благих пожеланий перейти к практическим действиям. Это для меня было совсем непривычно. Ввести в МГУ курс истории культуры? Я там вообще не работаю, кто я такой?

Но Валерий Яковлевич Саврей, студент, с которым я разговаривал, оказался человеком другого пошиба. Проходит несколько дней, он мне звонит: «Я договорился с деканом философского факультета. Вопрос о создании кафедры теории и истории мировой культуры будет изучен». Я, конечно, не верю в успех, ведь мы всю жизнь предлагали какие-то более или менее разумные или безумные проекты, нам говорили — да, конечно, спасибо, а когда мы уходили, нам в спину показывали язык.

Я помню, например, следующее. Когда затеяли коллективный труд «История Европы», мы с Л. М. Баткиным вылезали со своими наивными идеями: надо выработать теоретические предпосылки, рассмотреть, что такое Европа и когда она начинается, каковы ее пределы и культурные возможности. Нам говорили: да, конечно, надо. Но всем было ясно, что начинается Европа, согласно учебнику Сергеева, тогда-то, продолжается, согласно учебнику Косминского, тогда-то, и оказалось, что все эти наши прекраснодушные разговоры на деле никому не интересны и не нужны.

Но теперь, к концу 80–х годов ситуация в стране изменилась, и старые категорические табу сплошь и рядом не действовали, инициативу нельзя было пресекать так безусловно, как раньше. В течение года кафедра теории и истории мировой культуры на философском факультете МГУ была создана. Пригласили, предложив нам всем полставки, поскольку мы работали в академических институтах, М. Л. Гаспарова, Е. М. Мелетинского, С. С. Аверинцева, Г. С. Кнабе, вашего покорного слугу и А. Л. Доброхотова (единственный философ среди нас).

Валерий ставит передо мной вопрос о заведующем кафедрой. Я говорю: есть одна кандидатура — Вяч. Вс. Иванов. Научные заслуги и авторитет Иванова бесспорны, он обладает и

организаторскими способностями, и влиянием. Но будут серьезные трудности. Ведь в 1960 году его, молодого преподавателя лингвистики филологического факультета МГУ, с треском выгнали за открытое выступление в защиту Б. Л. Пастернака. Тогда происходило заседание Ученого совета, где ведущие сотрудники кафедры клеймили Иванова. Он оскорблен тем, что произошло. Ректорату придется извиниться и реабилитировать его. Потребуется отменить формально постановление Ученого совета, принятое в 1960 году. И все это было сделано, пошли на попятную, извинились, пригласили Иванова, и он возглавил кафедру.

На этом подвиги Саврея не кончились. Он считал нужным заручиться поддержкой в «сферах» и отправился в Фонд культуры на Гоголевском бульваре. Шло заседание руководства, В. Я. сумел пройти через все кордоны и обратился к Раисе Максимовне Горбачевой, которая была членом правления этого Фонда. Он толкует ей о создании кафедры теории и истории мировой культуры в МГУ и о том, что нужна поддержка Фонда. «Первая леди» обещает содействие и говорит, что пригласит своего супруга на какую-нибудь лекцию. После этого разговора к В. Я. подходит некто из свиты Раисы Максимовны и говорит: «Молодой человек, вы танк». Г — н Горбачев, естественно, не посетил наших заседаний, но это мы как-то пережили.

Что же произошло? Инициатива человека, который только еще заканчивал университет, неожиданно привела к позитивному результату. Созданная тогда кафедра продолжает существовать, хотя характер ее совершенно иной, и почти все, объединившиеся тогда в ее рамках, покинули ее по тем или иным причинам. При МГУ создан также Институт теории и истории мировой культуры. Все это совершилось не по указанию сверху, а по инициативе людей, проявивших волю, причем это были не интеллектуалы старшего поколения, которые говорят: да, надо, надо, но не умеют ничего делать, а молодые люди. С Валерием мы, к сожалению, расстались, у него странная судьба, теперь ему ближе, кажется, не история культуры, а московский патриархат; ну, каждый находит свои пути.

Наконец, в тот же год Л. М. Баткин и Ю. Н. Афанасьев придумали план создания научного учебного заведения нового профиля, не звено университетской цепи под эгидой Министерства высшего образования и не институт в системе Академии, а небольшой, независимо существующий научный центр с двумя десятками ученых- исследователей и несколькими аспирантами. Такой проект надо было пробивать на самом высоком уровне. Долго искали каналы коммуникации, наконец,

через А. С. Черняева передали докладную записку Горбачеву. Горбачев предписал А. Н. Яковлеву рассмотреть этот проект. Он лежал до осени 1991 года и был реализован — не благодаря содействию Горбачева или Яковлева, а вследствие того, что Ю. Н. Афанасьев создал РГГУ, в рамках которого основан и ныне функционирует ИВГИ — Институт высших гуманитарных исследований.

В Институте всеобщей истории в 1986 или 1987 году был создан сектор истории культуры, насколько я понимаю — специально для Афанасьева, который его возглавил. Но вскоре Юрий Николаевич выступил на страницах журнала «Коммунист» с критикой состояния исторической науки в СССР, была затронута и честь мундира тех академических лиц, которые не привыкли к тому, чтобы на нее посягали. Произошел скандал, Ю. Н. Афанасьева пригласили к заместителю директора Института и сообщили, что в соответствии с распоряжением Президиума АН все работающие по совместительству подлежат сокращению. По — видимому, дело касалось одного Ю. Н. Он сказал, что готов работать на общественных началах, но просто не был услышан.

Сектор истории культуры повис в воздухе. А был уже подготовлен сборник трудов, его надо было спасать. И вот на Ученом совете Института в 1988 году встает вопрос — что делать с этим бездомным сектором? Закрыть? Я не выдержал, не рассчитав возможных ответных шагов, и заявил: сейчас, когда наука переживает поворот от изучения формаций и даже цивилизаций к изучению культуры, вы решаете закрывать такой сектор! Его надо укреплять и расширять, а не закрывать. И мышеловка захлопнулась. На другой день был издан приказ о назначении А. Я. Гуревича руководителем этого сектора. Никогда я ничем не руководил, никогда не хотел ничем руководить и никогда не научился и не научусь никем руководить — мои сослуживцы знают это лучше, чем я. Но я не мог отказаться, потому что сектор нужно было сохранить. Сборник, который был вчерне собран, мы превратили в ежегодник, назвав его «Одиссеем». К нему можно по — разному относиться, но он выходит, и мне кажется, что это тоже немаловажный вклад в развитие нашей гуманитарной мысли, особенно на фоне того, что у нас имелось. Таким образом, при всей своей организационной беспомощности мы все же старались что-то сделать. Разумеется, планы всегда превосходят их реализацию, результат чаще всего не соответствует замыслам, но некоторые плоды наших усилий все-таки остались.

В конце 80–х годов происходило много любопытных вещей. Вдруг мне звонят из Министерства иностранных дел. Я подумал,

что это ошибка, не тому Гуревичу позвонили. Про Министерство иностранных дел я знал только, что эта пирамида находится на Смоленской площади. Мне говорят: «Я звоню по поручению заместителя министра иностранных дел В. Ф. Петровского, он просит вас в такой- то день прийти на совещание, где будет обсуждаться проблема гуманитарного знания в связи с нашей внешней политикой».

Я был заинтригован: как-то не соединялись наше гуманитарное знание и Министерство иностранных дел. На пороге здания Министерства встречаю Юрия Михайловича Лотмана, его тоже пригласили. Мы с трудом отыскали кабинет, где заседали Петровский, его советники и ряд приглашенных лиц, в основном представители учреждений, связанных с МИДом. А из гуманитариев присутствовали П. П. Гайденко, Ю. М. Лотман и я. Состоялось довольно любопытное совещание. Естественно, каждый высказывал свое, у кого что болит. Юрий Михайлович, в частности, говорил о том, что проследил, каким образом подданные нашей великой державы могли посещать Запад, начиная со времен Ивана Грозного и до наших дней. Выяснилось, что самые большие трудности чинились в наши дни. Я тоже что-то говорил — о выступающих по телевидению журналистах, у которых от лжи уже глаза скосились.

Кончается совещание, ко мне подходит Петровский и начинает беседу. И вдруг меня осеняет. «У меня есть друг, — говорю я ему, — датский историк Бент Енсен, который занимается русско- датскими отношениями в XX веке, в частности, датско — советскими отношениями в период Второй мировой войны. Он приехал по договоренности с МИДом работать в вашем архиве, уже десять дней сидит в Москве и жалуется, что разрешения все нет. Вот, — продолжаю я, — мы здесь очень мило поговорили, очень обнадеживающе, но давайте перейдем из области разговоров к поступкам. Докажите, пожалуйста, что вы действительно можете протянуть руку гуманитариям, тогда и мы вам протянем руку». Он говорит своему помощнику: «Займись этим делом». Я ушел, приехал домой, не успел снять плащ, как раздался звонок из МИДа — все улажено. Завтра Бент Енсен будет работать в архиве. Это было время, когда возникла иллюзия, что можно чего-то добиться. С Петровским мы потом еще встречались, я с ним беседовал о возможностях издания журнала, но дальше разговоров в инстанциях дело не пошло.

Тут я перехожу к другим событиям того времени и моей биографии. Можно создать семинар по исторической антропологии, журнал и даже кафедру, можно составлять какие-

то прожекты. Но что происходит в системе Академии наук? Берем ее устав. В нем написано, что Академию составляют действительные члены и члены- корреспонденты. Все остальные сотни тысяч сотрудников уставом не предусмотрены, нас нет. Я вполне допускаю, что так было в уставе, сочиненном во времена Петра Великого. Академию составляли выдающиеся ученые, русские или немецкие, им помогали служители, которые в ней, естественно, не значились. Но теперь-то все иначе, и кто же мы такие? От нас иногда толку не больше, чем от тех, кто подметает пол, но все-таки… Дальше. Кто командует Институтом и наукой? Директор. Откуда он взялся? Он назначается кем-то, кем именно, мы не знаем. Формально — Президиумом Академии наук, фактически эти вопросы решаются, конечно, на Старой площади, в Отделе науки ЦК. И в Институт «спускают» директора, нравится он нам или нет, специалист он или не специалист, достоин или недостоин. Нас не спрашивают — нас же нет.

Ученый совет назначается директором. Каким образом? Как он хочет или как ему предпишут инстанции, скрытые от нашего взора. Нами помыкают, мы никого не избираем, начальство нам назначают, никакой демократии нет. Раньше я на это не обращал внимания: таков был отравленный воздух, которым мы дышали, и никому в голову не приходило, что можно что-то изменить. Теперь эти порядки вызывали раздражение, и не только потому, что я думал о нашем бесправии, а и потому, что от этого зависела наша научная жизнь. Кто определяет те проблемы, которые надо обсуждать? Дирекция, Ученый совет, но ведь он назначен дирекцией, и разногласий там быть не может. Кто утверждает исследовательские планы Института? Опять-таки какая-то узкая элита, никем не избранная. Кто утверждает или отвергает монографии, подготовленные сотрудниками? И это вне нашего контроля, это делает маленькая кучка лиц, директор и его заместители, может быть, еще заведующий сектором.

Отложив все в сторону, я сунул в свою старую машинку новый лист бумаги и стал писать меморандум директору Института. Я кратко изложил невозможность сохранения прежних порядков, противоречащих велению времени и духу того общества, которое мы силимся сейчас создать, и предложил этот вопрос в той или иной форме поставить на обсуждение коллег. Однако это дело касалось, конечно, не только нашего Института, но Академии наук вообще, вопрос системный. Поэтому, представив меморандум директору и копию его — академику — секретарю Отделения истории, я стал сочинять сокращенный вариант этого документа для предания его гласности через печать. При помощи друзей я обратился к сотрудникам нашего

Института и других академических институтов, включая Институт истории СССР, с тем, чтобы собрать подписи под коллективным обращением к президенту Академии наук Марчуку; это удалось сделать. Тогда же был опубликован аналогичный протест сотрудников Института права АН. Наш документ, появившийся в «Литературной газете», пришелся кстати. В Президиуме АН пришлось устроить какое-то совещание (без нас, конечно), эти документы обсуждали и, кривя губы, признали, что нужно принять во внимание, уточнить, рассмотреть, подчистить, отредактировать руководящие документы и т. д. Дух времени, давление общественности привели к тому, что устав был пересмотрен, и вскоре мы получили право избирать Ученый совет, а также и директора.

Вполне ли адекватны эти реформы потребностям академической жизни, я теперь не знаю. Но все это имело прямые последствия и для Института, и для меня, в частности. Когда я размножил свой меморандум с помощью машинки (в ксерокопировании мне отказали в дирекции) и пустил его по рукам, чтобы все желающие могли прочитать, произошло следующее. Секретарь парторганизации приглашает меня рассмотреть вопрос на заседании партийного бюро. Я пришел, сидят парторги, готовые обсудить мое сочинение и сказать, как обычно: да, конечно, в наших порядках надо кое-что изменить. Я решил идти на обострение. Не говоря о самом меморандуме, я привел некоторые факты — как выкинули Афанасьева, напомнил историю с Холодковским и др., — доказывающие, что атмосфера в Институте невыносимая, и заявил, что необходимо ее изменить и начать именно с этого, а не с каких-то административных мер. Это застало моих уважаемых коллег — парторгов врасплох. Они стали говорить: давайте это не обсуждать, ведь речь о меморандуме. Потолковали о нем: да, да, надо подумать, и на этом все кончилось. Затем мне сообщают, что будет открытое партийное собрание Института и меня просят прийти и выступить. Я решил, что, вставши на тропу войны, уклоняться уже нельзя, и явился. В президиуме сидели не только члены дирекции и общественных организаций, но и неизменный завсегдатай таких мероприятий, представитель Отдела науки ЦК. Он молчал, но воплощал партийную линию и тот надзор, который тогда, осенью 1988 года, еще осуществлялся.

Дошла очередь до меня. Я изложил свои тезисы об аморальной атмосфере в Институте, которую необходимо менять; подчеркивал, что вопрос нужно ставить, однако, гораздо шире, и виновников следует искать не только в Институте, хотя и в нем тоже, но и в инстанциях, заботящихся об удушении мысли. Я

прямо сказал, что на Старой площади сидят идеологические инквизиторы, которые бдительно следят за нашей деятельностью и пресекают ее, как только возникает подозрение, что есть какая-то свежая мысль. Я замахнулся, таким образом, на нечто запретное, находящееся уже не в Институте, а совсем по другому адресу.

Было довольно много выступлений, говорили о том, что происходит в архивном деле, высказывали разного рода критические замечания. Но в заключительном слове директора Института З. В. Удальцовой выяснилось, что наибольшее недовольство вызвала моя персона. «Арон Яковлевич, — заявила она, — выступил здесь в роли гонимого. Между тем он вовсе не гонимый, он гонитель (я не жаловался на свою судьбу, вовсе не считал ее такой уж плохой, а говорил о другом). А. Я неплохо устроился, он сидел в Институте и писал одну монографию за другой, и учтите, товарищи, все за гонорар». Что правда, то правда, я действительно писал неплановые работы.

Тут была попытка не только дезавуировать мое выступление, но и показать, что Институт бдителен, директор понимает свое положение, и надо передать в Отдел науки, что у нас все в порядке, а если что и происходит, то лишь по вине злокозненных ораторов. Я попросил слово для справки и сказал, что трудно ссориться с директором Института, от которого ты так или иначе административно зависишь, но заключительное выступление З. В. показывает, что совершенно не учитываются те глубокие сдвиги, которые происходят в нашем обществе, между тем как уже нельзя руководить Институтом по — старому и реагировать на критику в прежних тонах, необходимо обновление.

Проходит несколько дней, меня вызывает Удальцова.

— А. Я., я понимаю, почему вы написали этот меморандум.

— Почему?

— А потому, А. Я., что вас не выпускают за границу.

— Меня не выпускают, это медицинский факт. Но поверьте, что я руководствовался не этим соображением. Этот документ не поможет мне выезжать, все остается по — прежнему. Но раз уж вы упомянули это печальное обстоятельство, то не можете ли мне сказать, кто препятствует мне и почему?

— Я вам скажу, А. Я. Это КГБ.

Я ушел домой, и по дороге меня осенило: я должен обратиться к тов. Чебрикову, члену Политбюро ЦК КПСС и председателю КГБ.

Я написал Чебрикову письмо следующего содержания. Я такой- то, занимаюсь тем-то, получаю многочисленные приглашения из- за границы для чтения лекций, для выступлений

на конференциях и для нормальной научной работы. Все мои труды известны далеко за пределами нашей страны, поскольку переведены на многие языки. Ни разу я разрешения выехать не получил. Ныне мне было сказано, что препятствием для моих поездок за границу являются возражения вашего Комитета. Не знаю, так ли это, но прошу вас ответить мне. Если Комитет госбезопасности действительно возражает против моих поездок за границу, прошу объяснить, в чем причина, на каком основании это делается.

Я отправил это письмо…

Я был советским человеком и не рассчитывал на ответ. Ведь очень многие писали письма во всякие низшие, средние и высокие инстанции — в ЖЭК, в райисполком, Сталину, — и вовсе не обязательно Советская власть спешила удовлетворить нас ответом. Однако несколько недель спустя ответ на мое письмо последовал. Телефонный звонок:

— С вами говорит майор такой-то из Комитета государственной безопасности. Вы написали письмо в КГБ, и по этому поводу мне нужно с вами встретиться. Если не возражаете, давайте найдем удобное время для встречи.

— Завтра, в такое-то время.

— Очень хорошо, приходите в приемную КГБ на Кузнецкий мост.

Приемная Комитета государственной безопасности находилась не в большом здании на Лубянке и не в новом здании, построенном около Детского мира, а в старом особнячке на Кузнецком мосту. Я вхожу и чувствую себя на государственной границе, потому что в вестибюле стоят двое военных в зеленых фуражках, пограничники. Подхожу к окошку, говорю, что я к майору Ерофееву; появляется молодой человек в штатском, просит подождать, он поищет кабинет, где можно будет побеседовать. Кругом идет кипучая работа, кто-то входит и выходит, несут показания, доносы. Я подумал: куда я попал и чем это может кончиться?

Наконец, майор Ерофеев приглашает меня в кабинет и произносит следующий текст: «Вы очень правильно сделали, что написали нашему председателю письмо; в таких вопросах неясности, двусмысленности, недоговоренности недопустимы. Я официально уполномочен вам заявить: у Комитета государственной безопасности в прошлом никогда не было и ныне нет никаких возражений против вашего выезда за рубеж по приглашению научных организаций или университетов».

Я не спрашиваю, правда ли это, принимаю все за чистую монету и, понимая, что он скажет мне ровно столько, сколько

сочтет нужным, говорю:

— Вот недавно поступило очень важное для меня приглашение из Римского университета прочитать курс лекций в январе 1988 года. И, как и прежде, это приглашение обращается в пустую бумажку, потому что никто ни в Отделе внешних сношений Академии, ни в дирекции Института не пошевелит пальцем, чтобы сдвинуть это дело. Не мог бы я получить от вас письменный ответ на свое письмо? Может быть, мне дадут какую-нибудь бумагу, на основании которой я смогу добиваться своего?

— Нет, мы не можем вам дать такую бумагу. Если бы вы были репрессированы, то при освобождении получили бы документ. Но вас никто не преследовал. Повторяю, Арон Яковлевич, КГБ не имел и не имеет к вам никаких претензий.

— Но что же мне делать?

— А это пусть вас не беспокоит. Подайте бумаги, а если что-то будет не так, вот мой номер телефона, вы мне позвоните.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, что-то произошло. Он произносит ключевую, на мой взгляд, фразу:

— Вас приглашают в Римский университет, а их — нет, ваши книги переводят, а их книги не переводят. Вам знакомо такое чувство — зависть?

— Наслышан, — говорю я. — Даже роман был под таким названием.

— Так вот в этом вся разгадка. А на нас ссылаются, говоря, что мы препятствуем вашим выездам.

Кто-то посмел сослаться на КГБ, а он их разоблачает. Нечего к нам сюда, на Олимп, обращаться. Посмотри, что у тебя в Институте, в Академии делается. Это *они* тебе не разрешают. Из нашей беседы мне стало ясно, что этот человек не посторонний для Института. Я предположил, что он «курирует» наш Институт; каждый институт имел своего «куратора» из КГБ. Он беседовал со мной вполне компетентно: и про меня, и про других, и про начальство знал все, знал фамилии директора, секретаря партбюро. Я спрашиваю:

— Я могу требовать, чтобы мои бумаги оформлялись?

— Безусловно.

Прощаясь, я говорю:

— По — видимому, эта беседа должна остаться между нами?

— Нет, почему, если вам нужно на нее сослаться, ради Бога.

Я ухожу, вооружившись номером его телефона, которым, правда, воспользоваться не пришлось, еду в Институт, иду к ученому секретарю по международным делам и рассказываю ему, что произошло. Он слушает с несомненным интересом. Я говорю: «Пойдите к Удальцовой и спросите, как быть с приглашением из

Римского университета, оформлять или нет». Я предположил, что если слова того человека из КГБ считать обещанием, то исполнение его он откладывать не будет. Поэтому, как бы скоро я ни действовал, Зинаида Владимировна уже будет что-то знать. Я жду в кабинете ученого секретаря, через несколько минут он возвращается и сообщает, что Удальцова приказала немедленно оформлять мою поездку.

Но это еще далеко не конец истории. Вскоре директор приглашает меня и говорит, изображая дело как акт доброй воли:

— Все решено, вы поедете в Италию. Но человек, который никогда не выезжал в капиталистические страны, должен сначала съездить в страну народной демократии (некое чистилище, а затем уже можно и в райские кущи, в город Рим, например). В Берлине состоится международная конференция, посвященная 750–летию Берлина — города, столицы и культурного центра. Мы хотим просить вас принять участие в этой конференции.

— Но я не занимался проблемами города.

— Ну, у вас что-нибудь найдется.

Конечно, «кое-что» нашлось. Ведь у меня был Бертольд Регенсбургский, который проповедовал в городе и великолепно подходил для этого случая. Меня быстро оформили, и я прилетел в Берлин.

***

Это был мой второй визит в Восточный Берлин, первый состоялся по частному приглашению. Летом 1980 года, как это повелось в нашей семье, мы выехали на летний отдых в Пущино, где находится Биологический центр Академии наук. Там мы жили в гостинице, гуляли, наслаждались природой, у нас в Пущине хорошие друзья. Однажды у меня в номере звонит телефон: «С вами говорит Йенс Райх из Берлина. Я в Пущине и хотел бы с вами встретиться». Приходит очень симпатичный человек средних лет, биолог, работающий в крупном биологическом центре Академии наук ГДР, в Бухе (там когда-то работал Тимофеев — Ресовский). Рассказывает, что приехал в Пущино для продолжения своих работ вместе с советскими коллегами. Говорит, что он и несколько его друзей — искусствовед, философ, редактор какого-то журнала — регулярно собираются для обсуждения новой литературы гуманитарного свойства, которая выходит в Германии или в других странах. Они заинтересовались моей книгой «Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen» (немецкий перевод «Категорий средневековой культуры»).

Сегодня он зашел в магазин «Академкнига» (магазин этот расположен напротив гостиницы через зеленый луг, который мне многие годы снился), спросил, нет ли новых книг Гуревича. Продавцы ответили отрицательно (ведь Гуревич, как вам уже известно, не публиковал свои книги в издательстве «Наука»). Но какой-то человек из покупателей говорит: «А Гуревич сейчас здесь», и Йенс разыскал меня в гостинице.

Мы подружились с Йенсом и его очаровательной женой Эвой, они пригласили нас с женой на следующий год приехать к ним. Осенью 1981 года мы были у них в Берлине. Я встречался там с Юргеном Кучинским, одним из старейших историков ГДР, это была весьма любопытная, колоритная фигура. Тогда же я получил приглашение из Йенского университета, где неожиданно для себя прочитал несколько лекций, познакомился с видными искусствоведами, супругами Мёбиус, специалистами по средневековой архитектуре и искусству, вместе с ними посетил Вартбург и видел подлинные, как говорят, следы чернильного пятна, оставшегося на стене комнаты, в которой обитал Мартин Лютер: он швырнул чернильницу в досаждавшего ему черта. Самое сильное впечатление от той моей первой поездки в ГДР — это стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин. Такого я представить себе не мог. В Западном Берлине мне не пришлось побывать ни тогда, ни после, когда стены уже не существовало.

Что до Йенса Райха, то он оказался не только прекрасным другом и видным ученым, но и активным общественным деятелем. Власти ГДР преследовали его за свободомыслие, когда же пала граница между двумя Германиями, он принял самое энергичное участие в возрождении демократии в восточной части страны, прекрасно понимая огромные трудности, порожденные длительной разобщенностью его родины. Когда в 1993 году происходили очередные выборы президента уже объединенной Германии, демократические круги выдвинули на этот пост Йенса, но избран был другой кандидат…

Итак, в конце 1987 года я приехал на конференцию в Берлин. В ней участвовали не только немецкие историки, но и ученые из других стран. Я и Е. В. Анисимов, специалист по русской истории XVIII века, автор книги о Елизавете Петровне, были представителями советской исторической науки. Мы шутили. Анисимов говорил: «Я думал, кто же за мной будет наблюдать? Вы, Арон Яковлевич?» А я говорил, что не знал, кто такой Анисимов, и думал, что это он будет за мной наблюдать. Мы выяснили, что у нас обоих такой склонности нет, впрочем, нас никто и не призывал, по — видимому, знали, что мы для этого не годимся.

Подходим к столу регистрации. Там сидит известный немецкий историк, действительный член Академии наук ГДР профессор Мюллер — Мертенс. Я подумал, что он, наверное, болен, потому что, когда я представился ему, лицо его вдруг исказилось. И затем на протяжении всей конференции я наблюдал весьма любопытное явление: как только он замечал вашего покорного слугу, в помещении или на улице, он тотчас же исчезал, прятался за столб, за угол. По — видимому, общение со мной было для него опасным. Может быть, я действительно источаю злые чары. Но я решил, что дело не в нем и не во мне, а в том, что официальная историческая наука ГДР находилась в теснейшем контакте с моими дорогими московскими коллегами, которые уже передали своим немецким коллегам, кто такой Гуревич и что про него надо думать.

Сама конференция была довольно казенная. Однако так состоялась моя инициация, и, казалось бы, я мог с легким сердцем отправиться в Рим.

Но прежде чем отправиться в город Рим, я, как и любой другой советский подданный, должен был пройти выездную комиссию районного комитета партии. Только утверждение представленной этой комиссии характеристики «на» выезжающего за рубеж давало возможность действительно выехать. Еще секретарь парторганизации в Калинине писал характеристику «на меня». Я говорил:

— Может быть, «мою характеристику»?

— Нет, — говорил он, — я пишу характеристику «на вас».

Донос «на тебя» пишут, вот и характеристика «на вас». Короче говоря, характеристику «на меня» должна была утвердить вот эта выездная комиссия.

Я вместе с группой других граждан, живущих или работающих в Брежневском районе столицы, иду на заседание этой комиссии в райком партии. Здание расположено недалеко от метро «Профсоюзная», вполне комфортабельное, а под лестницей комната, где надлежало претерпеть эту процедуру. Недавно я слушал рассказ Маканина «Длинный стол с графином посередине», и он произвел на меня большое впечатление. Там речь идет о некоей комиссии, не уточняется, что это за комиссия, кого и почему туда вызывают. Но вызванных подвергают там издевательству, унижению, ловят на слове, всячески демонстрируют им их ничтожество, хотят доказать, что они «не наши люди», чтобы потом сделать вывод, нужный комиссии. И даже то, что комиссия, куда я должен был отправиться, заседала в комнате под лестницей, соответствует тому, что изображено в рассказе Маканина, — там помещение напоминало подвалы

Лубянки, конечно, без орудий пыток.

Я являюсь в сопровождении члена партбюро Института, который должен меня представить и затем получить решение комиссии. В комиссии сидят заслуженные члены партии — человек десять— двенадцать, — пробавляющиеся тем, что играют какую-то роль при райкоме, значит, не лишние люди; наверное, среди них были и такие, кому пришлось оторваться от своей работы, чтобы принять участие в этом сакральном действии.

Зачитывается характеристика «на Гуревича». Читает ее, звучно и четко, председатель или непременный и активный член комиссии Е. А. Л. Я имею честь и сейчас быть сослуживцем этого джентльмена, возглавляющего сектор в нашем богоспасаемом Институте. Все идет гладко, пока он не спотыкается о фразу: «принимает участие в общественной работе». Те, «на кого» писали характеристику, знают, что именно в ней сообщалось: отношения в семье нормальные, морально устойчив и ведет общественную работу. Поскольку характеристика утверждается «треугольником» Института (директор, секретарь партбюро, председатель месткома), все ясно. Но Л. прерывает чтение: «А. Я., вы ведь не ведете активную общественную работу». Удар был ниже пояса: во — первых, я ее не вел и не хотел вести, во — вторых, я знал, что это ведь пустая ритуальная формула, которая имеет ко мне такое же отношение, как к Иванову, Петрову, Сидорову. Но я нашелся и говорю: «Ну почему же, Е. А., я регулярно, как только меня приглашают, выступаю в центральном лектории Всесоюзного общества “Знание”».

Но то, что при чтении характеристики такое замечание прозвучало, и выяснилось, что Гуревич чего-то, как нужно, не делает, вызвало общее внимание. Один из членов комиссии, обращаясь не ко мне, а к представительнице партогранизации, которая меня привела, говорит:

— Неужели в вашем институте, где столько народу, не нашлось больше никого послать в Рим, кроме Гуревича?

Я жду, что же будет дальше. Она объясняет:

— Но, простите, они приглашают именно Гуревича, их интересует определенная проблематика, по которой он является специалистом.

— Нет, но все-таки.

Я понял, что сегодня с характеристикой ничего не получится, и покинул это заседание. Придя в Институт, я сказал, что больше в эту комиссию не пойду. Это слишком унизительно, и если уж меня оформляют, то пусть сами как-нибудь позаботятся. Действительно, как-то позаботились.

Накануне отлета в Италию мне пришлось пройти еще одну

формальную процедуру в выездной комиссии ЦК КПСС. Прежде всего там мне вручили для ознакомления обширную инструкцию, в которой выезжающие на капиталистический Запад получали все мыслимые и немыслимые предостережения относительно опасностей, на каждом шагу их там подстерегавших. Особенно предосудительными считались встречи и разговоры с иностранцами. Ознакомившись с этим наставлением, я должен был посетить одного из членов выездной комиссии для личной беседы. Оказалось, что у этого пожилого «партайгеноссе» не было ни времени, ни сил повторять все те же заклинания, и он меня с миром отпустил. Лишь после этого я получил свой заграничный паспорт, и 30 декабря 1987 года я был в городе Риме.

* * *

Мои поездки на Запад, начавшиеся с рубежа 1987–1988 годов, открывают новый этап моей биографии. Мир неимоверно расширился, я понял, как он прекрасен, я увидел впервые, что те шведы, французы, американцы, которые приходили ко мне домой, — не выходцы из абстрактной для меня Вселенной, а что их бесконечно разнообразный мир действительно существует и живет по другим законам, что люди там обладают системой ценностей, немало отличной от принятой у нас.

Я не собираюсь рассказывать о впечатлениях выходца из Советской России, который впервые оказался на Западе и посетил Италию, а затем и еще около полутора десятков других стран. С. Образцов, великий кукольник, издал книгу, в которой сумел со свойственным ему талантом описать, как он открыл Англию. Я удивить вас подобного рода впечатлениями не могу. Но представляют интерес кое- какие человеческие контакты, которые у меня были на Западе, а также и впечатления медиевиста от специфических памятников Средневековья, и это, может быть, стоит вспомнить.

К сожалению, когда я прибыл в Италию, уже не было в живых глубоко чтимого мною старшего моего коллеги, известного итальянского медиевиста Рауля Манселли, с которым я встречался раньше в Москве. Могу только с благодарностью вспомнить, что для перевода на итальянский язык моей книги «Проблемы генезиса феодализма» он написал предисловие, в котором пытался ввести своих соотечественников в едва ли понятную им атмосферу нашей исторической науки. В Италии, где вышло не меньше переводов моих книг, нежели в Германии и Англии, продолжалась работа по их подготовке к публикации, и у

меня происходили встречи с такими известными издателями, как Эйнауди и Латерца.

Клара Кастелли, моя переводчица и старый друг, встречает меня в аэропорту и сообщает новость: я — лауреат международной литературной премии Ноннино. Это название фирмы, производящей граппу, итальянскую виноградную водку. Предприниматели учредили премию, присуждаемую итальянским или иностранным авторам за научные, поэтические, прозаические произведения, так или иначе затрагивающие проблемы жизни сельского населения. А в моей книге «Проблемы средневековой народной культуры» есть глава «Крестьяне и святые». Это название было вынесено на обложку итальянского перевода книги. Учредители премии сочли, что это как раз то, что нужно. Предстояло совершить поездку на север Италии, в городок Удине.

— Это приятно, большая честь для меня, — говорю я.

Клара продолжает:

— Тем более что твоими предшественниками были Клод Леви- Стросс и Леопольд Сенгор, президент Сенегала, известный африканский поэт.

В том году, когда я получал эту премию, она была присуждена также одному итальянскому поэту и молодой женщине из Гватемалы, участнице освободительного движения, которая через несколько лет удостоилась Нобелевской премии мира. К стыду своему, не запомнил ее имени.

На следующий день после приезда в Рим я присутствовал на новогодней понтификальной мессе, которую служил Папа, а в конце своего месячного пребывания в Риме удостоился приватной аудиенции у Иоанна Павла II и до сих пор нахожусь под впечатлением общения с этим человеком. Расскажу о некоторых внешних обстоятельствах моего визита в Ватикан.

Начать с того, что приглашение оказалось на вчерашний день. (Вот пойдите в Кремлевский дворец с просроченным приглашением, вряд ли вы далеко дойдете.) Являюсь, в воротах стоят швейцарские гвардейцы в своей колоритной форме, предъявляю билет. «Проходите». Идет дождик, я в плаще. Несколькими годами ранее на Папу было совершено покушение, ну, хоть бы они пощупали, что у меня там под плащом. Никто ни о чем не спросил, не посмотрел, никаких аппаратов для проверки нет. Может быть, сейчас это изменилось, но тогда все обстояло именно так, что меня озадачило. Впрочем, не только это.

Какое-то здание внутри Ватикана, неказистое с виду. Встречает меня человек во фраке, со звездой на груди, поднимает на лифте и показывает дорогу: по коридору до конца. Иду и слышу музыку. Какую же музыку мог я ожидать услышать во

дворце, где находится Его Святейшество, и вообще на территории Ватикана? Что угодно, но только не джаз. Прохожу мимо широко открытой двери в зал и вижу там огромное количество молодежи, которая неистовствует, вопит, бьет в ладоши, ведет себя, как на площади. А на сцене стоит кресло и сидит Его Святейшество, перед ним выступают артисты. Мне объяснили, что в определенные дни Папа устраивает увеселения для римской молодежи. В этот день выступали артисты цирка, они кувыркались и прыгали, и Папа вместе с молодежью явно получал удовольствие от такого общения. Репертуар выступлений, по-видимому, разнообразен. Через несколько недель после того, как я уехал домой, в Ватикане побывал Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской армии под управлением Александрова.

Иду дальше до конца коридора, там в углу стоят потертый диван, маленький столик и кресло, пепельница, набитая окурками, впечатление второразрядной театральной ложи. Я задаюсь вопросом: неужели Папа здесь принимает? Папа курит? Но оказалось, что это некий «предбанник». Входит монах и приглашает меня в другую комнату — круглый, не очень большой зал, у стены несколько монахов в рясах, а в другом конце комнаты, подальше от меня, стоит Его Святейшество и перед ним два господина, мне показалось, латиноамериканцы. Кардинал в красной шапке и соответствующем одеянии читает вслух какой-то документ, ими, по — видимому, привезенный. Заканчивается эта недолгая аудиенция, посетители припадают к руке и покидают помещение. К Папе подходит один из монахов и говорит: профессор Гуревич из Москвы. Иоанн Павел II подходит, мы здороваемся, идет непродолжительная беседа, в ходе которой я поспешил вручить ему экземпляр книги «Крестьяне и святые» и поговорить, в частности, на эту тему.

Такого человека, как Папа римский, воспринимаешь особым образом. Ведь он облечен такими полномочиями и окружен таким ореолом, которым не обладает никто. Но даже отвлекаясь от мысли о том, что передо мной — глава католической церкви, я должен сказать, что сама его личность производит большое впечатление. Это сильный человек, преисполненный духовной энергии; беседа и вообще встреча с ним были для меня очень важным переживанием. Сейчас он очень стар и болен, тогда он был еще довольно бодрым. Что касается нашей беседы, я не собираюсь говорить о ее содержании и не получал на это разрешения Его Святейшества.

Я тогда решил, что в Москве никому, кроме самых близких друзей, рассказывать об этой аудиенции не стану. Опять начнутся какие-нибудь инотолкования, уже говорили, что израильская

разведка оплачивает мои переводы, теперь скажут, что Ватикан меня финансирует, содержит тайного католика Гуревича. К тому же это был январь 1988 года, официальных отношений между Москвой и Ватиканом не было. Визит Горбачева состоялся несколько позже. Между прочим, я помню, по телевизору показывали — Папа пригласил его в кабинет и предложил сесть. Я был поражен: Горбачев первым плюхнулся на стул, Его Святейшество сел потом. Ну, у всех свои представления об этикете, мы не сидели, а стояли, аудиенция была, конечно, более скромная. Но у меня есть медаль, врученная Папой, и замечательные совместные фотографии.

В Италии, помимо Рима, где я читал лекции в университете, я видел не так много; я был в Венеции недолго, во Флоренции — не дольше, но воспоминания об этих городах неизгладимы. Для меня, медиевиста, все виденное в Италии явилось очевидным воплощением истории европейской культуры на протяжении огромных исторических эпох. Это было неповторимое переживание, особенно на римской почве, где перенасыщение культурного слоя вековыми «отложениями» — от этрусских и древнеримских времен вплоть до времен Муссолини и современности — производит на человека, который здесь впервые, ошеломляющее впечатление.

Но более всего в Италии я был потрясен именно общением с папой, главой католической церкви, которая воплотила в себе динамизм средневековой Европы. Я человек не религиозный, не католик, не иудаист, не православный. Но мне думается, что иногда кажущаяся избыточной пышность католической церкви существует не зря, это очень важное средство воздействия на сознание и чувства людей, гораздо большее, чем демонстративный отказ от всего этого ритуала в протестантизме. Вы можете не быть католиком и вообще не верить ни в какого Бога, можете повторять за тов. Сталиным слова (не знаю, сказал он их или же ему их приписывают): «А сколько у папы дивизий?» Но католическая церковь впитала в себя веру бесчисленных миллионов людей.

Вы можете не веровать в Христа, но все эти поколения на протяжении двух тысячелетий веровали в Него, жили этой верой. Для человека нерелигиозного вопросы о том, существовал ли Сын Человеческий, был ли он Сыном Божиим, был ли распят и воскрес, отступают на задний план, потому что Христос стал таким мощным фактором человеческой истории по сравнению с участвовавшими в ней живыми людьми, что те оказываются бесплотными тенями. Именно поэтому встреча с понтификом Римской церкви, и тем более с таким достойным ее главой, как

Кароль Войтыла, была для меня, медиевиста, столь важна.

* * *

Итак, отпали ограничения, которые, несмотря на поглощенность исследовательской работой, не могли не тяготить меня, лишали тех возможностей, масштабы которых я ощутил только начиная с 1988 года. Разумеется, это произошло довольно поздно: мне шел шестьдесят пятый год, и я не обладал уже свежестью и остротой восприятия, которые необходимы для того, чтобы ощутить богатство и разнообразие мира. Кроме того, на протяжении двенадцати лет нового периода моей жизни, когда для меня открылся западный мир, от Лондона и Парижа до Нью — Йорка и Иерусалима, любоваться им мне был отпущен судьбою вдвое меньший срок, ибо после 1993 года мир Божий в своих зримых очертаниях уже окончательно ускользнул от меня.

Для человека, изучающего историю Запада, посещение его в высшей степени важно. Мало разглядывать фотографии Шартрского собора, собора Парижской Богоматери или собора св. Петра, надо увидеть эти каменные громады, поражающие как своими размерами, так и легкостью конструкций, богатством скульптурных групп и деталей, необычайным светом, проникающим сквозь витражи.

Все это я воспринимал прежде всего как медиевист. Я соприкоснулся с тем миром, который изучал на протяжении нескольких десятков лет. Не знаю, стали бы иными мои книги, к этому времени давно напечатанные, если бы они были написаны человеком, который во все это окунулся, мог бы посещать Ватиканскую библиотеку, смотреть фрески и росписи Микеланджело и пр.? В 1991 году я повидал остатки викингских лагерей в Дании, потоптался в таком военном лагере в Треллеборге и понял, что и теперь ничего не изменил бы в своей книге «Походы викингов», изданной в 60–х годах (там воспроизводились фотографии, заимствованные из других источников, и даже планы этих удивительных лагерей); тем не менее, впечатление было колоссальное.

Я думаю, что историку необходимо соприкоснуться с теми историческими местами, о которых он пишет, физически это пережить. В особенности я в этом убедился, когда совершенно неожиданно для себя смог посетить Исландию, расположенную так далеко от Западной Европы, не говоря уже о Москве.

Около 1960 года группа учеников А. И. Неусыхина подарила ему к шестидесятилетию альбом с нашими фотографиями и

шутливыми стихотворными подписями. Я запомнил, естественно, ту, что касалась меня:

Путь из Исландии в Калинин,
Конечно, бесконечно длинен.
Сквозь жизненные передряги
Гуревич выбился в варяги
И ищет там иммунитет,
Где даже феодалов нет.
Автор — А. С. Кан

Да, путь из Исландии в Калинин, действительно, бесконечно длинен, и все-таки в 1991 году я попал на конференцию «От саги к обществу» в Рейкьявикском университете, и это было любопытное научное собрание. Но я летел туда не для того только и прежде всего не для того, чтобы послушать доклады и выступить самому. Мне нужно было попасть на Скалу Закона. Я сказал Гисли Палссону, антропологу из Рейкьявика: «Гисли, вам грозит, что я отсюда не уеду, если меня не свозят на Скалу Закона». — «Вы ее увидите».

В 1991 году я еще мог ее видеть. Меня повезли на машине — это далеко от Рейкьявика, в пустынном месте. На берегу огромного озера тянется высокая и непомерно длинная, около километра, если не больше, базальтовая или из какой-то другой твердой породы скала. С вершины этой скалы законоговоритель, т. е. единственное должностное лицо в свободной Исландии, какой она оставалась с конца IX до 60–х годов XIII века, каждый год произносил перед участниками альтинга какую-то часть положений древнеисландского права, хранившегося в памяти законоговорителей.

А внизу стояла масса бондов — свободных поселян, которые собирались заблаговременно со всех четырех концов Исландии (в административно — судебном отношении она делилась на четыре «четверти») и принимали участие в судебных разбирательствах. Когда я подошел к этой скале, я подумал: как это все происходило? Законоговоритель наверху, далеко, рупоров ведь не было. И я крикнул. Оказалось, что там неимоверной силы эхо, так что акустическая проблема этого, как его иногда называют, древнейшего в Европе парламента в X веке была решена.

Это было удивительное переживание: я, влюбленный в исландские саги, в рассказы о древних исландцах, ощутил, что действительно рядом со мной тени людей, фигурирующих в «Саге о Ньяле» или в «Саге о Гисли». Я говорил уже о М. И. Стеблин — Каменском, в книге которого «Культура Исландии» рассказывается, как в гостинице «Сага» в Рейкьявике автора посетил призрак исландца XI века. У меня не было такой беседы,

но сопереживание с древними скандинавами произошло не только потому, что я изучал источники, а потому, что физически ощущал себя в этой ни с чем не сравнимой стране.

Я был там летом, когда солнце вообще не заходило, и песок там черный. В этой стране, где саги хранятся как в рукописях, так и в памяти народа, вообще все удивительно и совсем не так, как в других странах Европы, гораздо более «цивилизованных», богатых, обставленных дворцами и небоскребами. Воздух, который я здесь вдыхал, преисполнял меня сознанием, что сага и ее герои не вполне отчуждены, несмотря на тысячелетие, которое отделяет меня от них.

Сказать, что впечатления, полученные на Западе, сыграли огромную роль в моем духовном росте, трудно: в шестьдесят пять лет растешь уже не в том направлении, в каком рос до того. Но они обогащали. Конечно, меня не покидало сожаление о том, что хотя в определенном смысле жизнь прошла, разумеется, не впустую, но в тисках ограничений, от меня не зависевших.

Только теперь, только в шестьдесят с лишним лет я увидел статуи донаторов Наумбургского собора, меня дважды возили туда в разные годы. Все видели фотографии статуй Эккехарда, Уты и других князей, которые стоят в приделе часовни собора в Наумбурге в Саксонии. Но когда я вошел в эту капеллу, увидел эти человеческие фигуры, а рядом резные кресла, где сидели во время богослужения патриции, знатные граждане города, как бы соучаствуя в общении этих донаторов с Богом, меня охватило совершенно особенное чувство. Я вглядывался в эти лица и фигуры и не мог наглядеться, насытиться.

Конечно, это не портреты в обычном, общепринятом смысле, хотя бы потому, что мастер, который сотворил статуи Эккехарда, Уты и остальных супружеских пар Наумбургского собора, работал через несколько десятков лет после того, как донаторы вложили свои деньги и доверие для того, чтобы отстроить или перестроить собор. Он их не видел и к внешнему сходству не стремился. Он хотел выразить те чувства, которые испытывали донаторы, совершающие благочестивое дело, передать черты характера живых мужчин и женщин той эпохи. Человеческие эмоции, ориентированные на высшее, выражены с необычайной тонкостью и гениальностью.

Или «леттнер» — каменная преграда, которая отделяет ту часть центрального нефа, где во время службы находятся миряне, от той, где, ближе к алтарю, располагается духовенство. Здесь изображены созданные в то же время, что и скульптурные группы донаторов, евангельские сцены. Тайная вечеря: тут не какие-то благостные апостолы — сидят кряжистые мужики в простых

одеждах, закусывают с аппетитом (конечно, в глазах средневекового человека эта жанровая сцена имела другой смысл, поскольку люди знали, что такое Тайная вечеря). А рядом изображен арест Христа — опять-таки жанровая сцена, динамичные фигуры.

Это, если угодно, реализм XIII века, хотя слово «реализм» настолько затаскано, что не хочется его употреблять. Все это сделано с необычайным для того времени мастерством, которое не было закреплено, зафиксировано, унаследовано мастерами последующих столетий. В музее средневекового искусства в Восточном Берлине я видел триптихи, распятия XIV, XV и даже XVI столетий. Они проникнуты средневековым символизмом, это условные изображения, и в них нет устремления передать индивидуальное и неповторимое. А то, что совершилось в Наумбурге в середине XIII столетия, — уникально.

В истории искусства, как и во всем остальном, нет прямой эволюционной линии, как если бы от символического изображения X века в результате постепенного накопления наблюдений человеческого глаза перешли к линейной перспективе и стремлению реально выразить специфический облик того или иного лица. Вот в середине XIII века почему-то возникают потребность и способность мастеров приблизиться если не к оригиналу, то к правдивому изображению человека, а затем это надолго теряется.

А ведь эта артель — Наумбургская, Майссенская, работала в те самые десятилетия, когда мой Бертольд Регенсбургский задавался вопросом: что такое человеческая персона? По — видимому, что- то произошло в духовной и социальной жизни Германии середины XIII века. Разные, казалось бы, поиски — в художественной сфере и в сфере религиозной проповеди — привели к более внимательному всматриванию в человека. И я был особенно предрасположен к восприятию этого искусства, поскольку с давних времен меня занимала именно проблема человека и человеческой личности.

Визиты на Запад имели для меня очень большое значение, но не как стимул для дальнейших исследований. Они состоялись в период моей осени, когда уже не столько создаешь новое, сколько пожинаешь плоды того, что успел сделать. Но я нашел здесь подтверждение тому, что мои искания оказались не бесплодны, не беспочвенны, они ретроспективно нашли определенные обоснования в моих впечатлениях.

В свое время мы невесело шутили: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Но можно и сказку сделать былью. Я расскажу теперь о моем втором визите в город Лунд, в один из крупнейших

шведских университетских центров.

Отступая назад, надо сказать, что в свое время я был поклонником кино и особенно двух величайших, совершенно не схожих между собой режиссеров — Федерико Феллини и Ингмара Бергмана. Больше всего импонировала мне неповторимая северная специфика миросозерцания Бергмана.

На рубеже 60–х годов у нас демонстрировали несколько фильмов Бергмана: «Лицо», «Вечер шутов» и еще картину картин, которая в моем сознании запечатлелась как непревзойденный шедевр кинематографа, самое запомнившееся из всего, что я видел, — «Земляничную поляну». Конечно, я не специалист, но мой ограниченный кругозор выдвигал эту ленту Бергмана на первое место. Я ходил на этот фильм столько раз, сколько его показывали в разные сезоны, и сцены из него стоят перед моим умственным взором до сих пор.

Профессор Борг, старик, доктор медицины, которого гениально играет актер и вместе с тем выдающийся кинорежиссер Виктор Шёстрем, получает ученое звание доктор honoris causa Лундского университета и едет в машине из своего города в Лунд; по пути происходят разные встречи и переживания. В центре картины — воспоминания, которые предстали перед героем в виде снов. Там есть мертвый город, где нет никаких признаков жизни. В недоумении, не понимая, куда он попал, герой идет по этому городу и видит клячу, везущую катафалк. Траурный кортеж упирается в фонарный столб, катафалк опрокидывается, гроб падает, крышка раскрывается, профессор Борг, влекомый какой-то неодолимой силой, наклоняется над покойником и видит самого себя. Memento mori. Есть и другие сны — сцены из его неудачной семейной жизни, неверности его жены, воспоминание о родственниках и детях, которые у них были, сон, символизирующий его некомпетентность как медика, когда людей, его обманывающих, он принимает за покойников и т. д. и т. п. На меня это произвело огромное эмоциональное воздействие, в значительной мере иррациональное. Последняя важная сцена — он добрался до Лунда в тот самый день, когда там награждают ученых (среди них и он), удостоенных получения кольца и шляпы доктора honoris causa, происходит торжественная церемония. Все это сделано великолепным режиссером и не менее замечательным его оператором.

Это я видел сорок лет назад. Но мог ли я представить себе, что сам окажусь на месте профессора Борга в Лундском соборе, и мне тоже будут вручать золотое кольцо и, правда, не шляпу, а лавровый венок, и я сам стану почетным доктором того же университета? Это было удивительно. В начале 1993 года я

получил соответствующее постановление Ученого совета Лундского университета и приглашение приехать на торжества. Вручение почетных регалий происходило сразу для нескольких факультетов — медицинского, юридического, исторического и др.

Я ехал туда, конечно, с приключениями, без которых у нас дело не обходится. Получил визу, купил билет, приезжаю в аэропорт, предъявляю документы, и на паспортном контроле мне говорят:

— А у вас в паспорте нет штампа.

— Что же делать?

— Зайдите в консульский отдел при аэропорте.

Иду, мне объясняют, что прошляпил чиновник в Отделе внешних сношений АН, а они здесь ничего сделать не могут. Повели меня к начальнику паспортного отдела, тот заявляет: «Ничего не знаю, должен быть штамп». Сразу узнаешь свою родину. Был вечер воскресенья, я позвонил жене и рассказал, что случилось. Забираю свой чемодан и еду домой, приезжаю, жена говорит: «Ты слишком быстро уехал [из Шереметьева]». Она догадалась позвонить супруге академика Бонгард — Левина, та посоветовала обратиться к главному чиновнику Отдела внешних сношении АН. Моя жена позвонила ему, и тот позвонил в аэропорт и все уладил. Но я об этом узнал лишь дома. Я опаздывал на день, настроение было испорчено, ехать уже не хотелось.

Однако к торжеству я все-таки успел. Разумеется, традиционная церемония не лишена известного комизма. Сидят взрослые дяди во фраках и тети в длинных платьях, им вручают кольца и произносят латинскую формулу, потом каждому на голову надевают лавровый венок. В тот момент, когда вручают кольцо, палят из пушки. Вечером на банкете ко мне подходит какой-то джентльмен и говорит: «Профессор Гуревич, это вам от университета», и протягивает длинный сверток, обернутый в фольгу. Я думаю: тут не меньше двух литров, дома выпьем. В гостинице развертываю — оказывается, это пустая гильза от того снаряда, которым выстрелили в мою честь. Гильза эта, как и запыленный венок, до сих пор хранится у нас дома. Пусть здесь видится что-то детское, но ведь это старинная традиция, существующая на протяжении столетий, и выходцу из Москвы вовсе не вредно однажды стать участником подобной средневековой церемонии.

Академические и университетские обычаи в разных странах своеобразны, это другой мир, другие игры. Я был приглашен в Кембридж университетским Королевским колледжем, одним из наиболее известных, старых и замечательных. Со мною приехала

дочь. В столовой этого колледжа время от времени устраивались специальные обеды, называвшиеся high table dinners. Студенты сидят на всем пространстве пиршественного зала, а у стены — помост высотой в одну ступень, и там располагаются члены факультета. Они приходят на это торжество в своих черных мантиях. Мантии у них истерзанные, иногда смахивающие на лохмотья, и еще надевают их они подчеркнуто небрежно, сикось — накось. Член факультета понимает, что носить мантию — привилегия и правило, но вместе с тем хочет дистанцироваться от старинного обычая, показать, что он выше него. Таково очень заметное здесь двойственное отношение к традициям.

Или вот еще. Во дворе колледжа зеленая лужайка, в центре ее доска, на которой написано: хождение по газонам воспрещается, исключение только для членов факультета. И тут же привратник (опять-таки в мантии), в функции которого входит с утра до вечера сгонять с этой травки тех, кто не имеет права на нее ступать. И я имел это право, поскольку несколько недель был членом факультета, но по траве все же не ходил, а дочь моя смеялась над теми снобами, которые, пользуясь своей привилегией, эту травку топтали с очень большим удовольствием. Но я говорил ей: не надо нам свои ригористические требования предъявлять им, у них свои порядки, свои причуды и традиции. Концентрация знаний и культуры в таких вот Кембриджах достигла столь высокой степени, что они все-таки кое-что создали. Может быть, сюда входит и та цена, которая платится за чудачества. И вообще, что такое Англия без чудачеств?

Когда я был на конференции в Оксфорде, мне предложили встретиться с сэром Исайей Берлином. Сэр Исайя, несмотря на свой преклонный возраст, сохранял бодрость и оказался так добр, что принял меня. Я получил редкую привилегию посетить этого выдающегося ученого и человека. Он родился в бедной еврейской семье в Риге, благодаря попечению состоятельных людей получил хорошее воспитание, а затем после революции оказался на Британских островах, стал крупным мыслителем и не только профессором Оксфордского университета, но и председателем Британской академии. Мы беседовали часа полтора. Я успел ему изложить, конечно, кратко, суммарно, концепцию своей новой книги, посвященной индивиду в средневековой Европе. Работу над ней в расширенной редакции я предполагаю завершить в этом году.

Впечатления субъективного свойства, вынрсенные из встреч с некоторыми выдающимися людьми Запада, обогатили меня. Личное общение имеет немалые преимущества перед знаниями книжными.

Мои зарубежные поездки, как правило, не были продолжительными. Исключение составляет восьмимесячное пребывание в США. Я был приглашен Центром Дж. П. Гетти в Лос — Анджелесе для занятий исследовательской работой и пробыл там с ноября 1988–го до июня 1989 года. Впервые в жизни у меня был отдельный кабинет для занятий, компьютер (которого доселе я в глаза не видал), возможность заказывать любую книгу или журнал, не ожидая отказа, и даже секретарь, не говоря уже о прекрасных материальных и бытовых условиях. Я постарался использовать время пребывания в Лос — Анджелесе с максимальной отдачей и действительно успел собрать материал для книги «Исторический синтез и Школа “Анналов”» и завершить работу над первым ее вариантом. В Центре Гетти одновременно работали два — три десятка ученых из США и других стран, что создавало возможность для постоянного научного общения.

Эффективность работы персонала Центра не могла не броситься в глаза мне, прибывшему из России: все просьбы и пожелания, связанные с моими изысканиями, немедленно исполнялись, и мне ни разу не пришлось их повторять, это было бы воспринято сотрудниками Центра как оскорбление. Понимая, что подобные благоприятные рабочие условия никогда уже не повторятся, я трудился без выходных, с раннего утра до вечера, отказываясь от увеселительных поездок и бессмысленных визитов, которые, надо сказать, весьма занимали многих коллег. Кто-то из них констатировал в конце моего пребывания в Центре, что никто не работал столь интенсивно, как я. Я чрезвычайно признателен сотрудникам Центра Гетти за помощь и гостеприимство.

Вместе с тем не могу удержаться от воспоминания о некоторых чертах быта американских ученых. Я прибыл в Америку незадолго до Дня благодарения. По случаю этого праздника был устроен большой прием на вилле Гетти в пригороде Лос — Анджелеса, где расположен знаменитый музей Гетти. Эта вилла представляет собой точную копию древнеримской виллы — с садом, прудами и фонтанами. В свете вечерних огней я наблюдал огромную толпу празднично разряженных дам и господ, снующих во всех направлениях в необычайном возбуждении. В разных местах внутреннего дворика стояли слуги, щедро наливавшие вино и угощавшие гостей индейкой и черной икрой. Все было столь же экстравагантно, сколь и неестественно, во всяком случае, для меня, московского провинциала. Любезные дамы, выражавшие бурный восторг от встречи со мной и перспективы скорого знакомства с моей женой,

перебрасывали меня, как мячик, от одной к другой со стандартными пустыми фразами, в тот же миг забывая о моем существовании. Кого мне не хватало в этом сборище — это Федерико Феллини и его кинооператоров, которые сумели бы достойно запечатлеть на пленке это американское торжество.

Но все это — поверхностные впечатления. Я сполна оценил доброту и предупредительность окружавших меня людей и понимаю неуместность применения наших критериев к их порядкам и обычаям. В Принстоне и Думбартон — Оксе, как мне показалось, обстановка была более строгой, и подобных излишеств я не наблюдал.

* * *

На этом, наверное, я должен закончить свои мемуары. Конечно, можно было бы еще о многом рассказать, в частности, о встречах с французскими учеными, с Ж. Ле Гоффом, Ж. — К. Шмиттом, Э. Леруа Ладюри, отчасти с Ж. Дюби. Они были в высшей степени добры ко мне, и это не могло меня не радовать. Дюби написал предисловие к переводу на французский язык «Категорий средневековой культуры», Ле Гофф предложил мне при нашей первой встрече в Москве осенью 1989 года, когда у нас происходила конференция по случаю шестидесятилетия «Анналов», написать книгу об индивиде в средневековой Европе для его серии «Строить Европу». Дюби рекомендовал мою книгу «Проблемы средневековой народной культуры» издательству «Фламмарион», и она после некоторых затяжек была опубликована во Франции.

Во время двух моих визитов в Париж я читал лекции в Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ecole Normale Supйrieure, Collige de France. Я высоко цею дружеское расположение Жака Ревеля, возглавляющего Ecole des Hautes Etudes, и Мориса Эмара, руководителя Maison des Sciences de l'Homme. Благодаря сотрудничеству с ними нам удалось несколько интенсифицировать научные контакты и сделать возможными командировки отечественных молодых ученых в Париж.

Общение с западными коллегами, не только с французскими, но и со скандинавскими — Эвой Эстерберг, Ларсом Лённротом, Сверре Багге, Кнутом Хелле, Юстином Бёртнесом, с немецкими — Отто Герхардом Эксле или Михаэлем Рихтером, с англичанами Эрнстом Гелльнером, Джеком Гуди и Майклом Клэнчи, итальянцами Раулем Манселли и Карло Гинцбургом, с американцами Элизабет Браун и Натали Земон Дэвис, с Питером

Брауном, происходившее в разные годы и в разных обстоятельствах, было очень важным, особенно когда удавалось обсудить весь спектр волновавших нас проблем.

Мне удалось прочитать лекции в сорока научных и университетских центрах мира, от Израиля до Лос — Анджелеса, от Кембриджа до Рима, а также в Варшаве, Будапеште и университетах Северной Европы. Правда, не во всех университетах я мог встретиться со студентами. На Западе существует открытый доступ в университеты, и всякий, кто окончил среднюю школу, может стать студентом, независимо от успеваемости. А поэтому уровень преподавания снижается, многим студентам не до науки. На мои выступления приглашали преимущественно преподавателей, профессоров и аспирантов. Общение с ними было в высшей степени интересным. Задавали вопросы, завязывалась полемика, и я с глубокой благодарностью вспоминаю аудиторию и Бергена, и Нью — Йорка, и Цинциннати (там происходила общеамериканская конференция историков).

Должен сказать, что встречи с коллегами на Западе не повлияли на направление моих изысканий, на отбор источников. Скорее, я мог проверить, в какой мере то, что делаю я, вызывает у них интерес, проверить свои идеи. Без ложной скромности могу сказать, что моя работа действительно их интересовала, и это находило выражение в предложениях о переводе моих трудов или в приглашениях принять участие в некоторых научных начинаниях. Мне удалось войти в эту res publica scholarum, которая охватывает весь ученый мир и в Западном, и в Восточном полушариях.

На переводы моих книг было много рецензий, в основном положительных. Были, конечно, и странности. Выходит французский перевод моей книги «Категории средневековой культуры», и в «Le Monde» появляется большая статья Э. Леруа Ладюри. Рецензент очень хвалит книгу, но утверждает, что она проникнута настроениями советского диссидента. Когда Гуревич пишет об огромных доменах Каролингской эпохи, совершенно ясно, что он имеет в виду советские колхозы. Там были и другие, не менее разительные наблюдения. Я вынужден был огорчить Леруа сообщением, что таких тонких намеков на толстые обстоятельства в книге нет, и о колхозах я не думал.

Я был избран членом семи зарубежных академий или научных обществ со статусом академий. Естественно, я ни в коей мере не хлопотал, чтобы меня избрали в какую-нибудь академию. Я получал письмо: «Дорогой сэр, не соблаговолите ли Вы принять приглашение присоединиться к составу ученых, являющихся членами нашей Академии?» Ни разу я не просился ни в какой

университет, ни разу не обращался ни к одному зарубежному издателю или человеку, связанному с издательствами, с просьбой перевести мою книгу, они это делали сами.

Все это стало свидетельством того, что мой научный поиск и плоды моего труда оказались интересными и нужными.

Ныне я завершаю книгу «Индивид в средневековой Европе». Как уже упоминалось, предложение написать такую книгу сделал мне в 1989 году Ж. Ле Гофф, замысливший обширную серию монографий под общим названием «Строить Европу». В отдельных томах этой серии рассмотрены многие аспекты европейской истории эпохи Средневековья и Нового времени.

И вот в начале 90–х годов я должен был написать эту книгу, причем объем ее был строго ограничен, а срок подачи рукописи весьма краток. Но предложение было очень заманчиво, и, несмотря на все трудности и неотложные дела, я сдал рукопись в должное время. Говорю об этом потому, что работать пришлось весьма напряженно, и я лишен был возможности дать рукописи вылежаться.

Начиная с 1994 года книга была опубликована в переводах на немецкий, английский, французский, итальянский, испанский и шведский языки. Насколько мне известно, готовятся и другие переводы. Надеюсь, что наконец-то состоится и ее публикация на русском языке.

Но первоначальный текст ныне меня не вполне устраивает: ряд вопросов не проработан с должной полнотой, другие вовсе обойдены молчанием, к тому же за последние годы обнаружилась довольно богатая научная литература, которая не могла быть мною учтена. Потому-то я теперь вновь обратился к этой книге, коренным образом перерабатывая ее содержание в свете накопленного мною нового опыта.

И на сей раз, как это неоднократно бывало со мной в прошлом, я оказался в конфронтации с устоявшейся и до последних лет не вызывавшей сомнений традицией. Эта традиция состоит в том, что о человеческой личности и индивидуальности допустимо говорить якобы лишь начиная с эпохи Возрождения. Между тем я убедился, что прогрессистский и эволюционный подход к указанной проблеме приводит к неоправданным стилизациям и упрощениям.

Человеческая личность не была впервые открыта в эпоху Возрождения, как утверждали Мишле и Буркхардт, или во времена «Возрождения XII века», как полагают некоторые другие исследователи (например, К. Моррис). Структура и самосознание личности были глубоко своеобычны в разные эпохи, но отрицать ее существование в какие-либо периоды истории означало бы

игнорировать самое проблему. Подлинная история человеческого индивида имеет мало общего с картиной постепенного развития от «родового существа», якобы всецело поглощенного родом, племенем, сословием, к автономному члену атомизированного общества Нового времени.

Не поразительно ли то, что наиболее глубокое проникновение в собственное «Я» имело место не в пору Ренессанса, но на рубеже Античности и Средневековья — в «Исповеди» Аврелия Августина? Но не менее поразительно и другое наблюдение, которого не могли сделать мои предшественники, игнорировавшие, как уже подчеркивалось, скандинавские памятники: на острове, удаленном от континента Европы, не знавшем городских поселений, равно как и государства, на протяжении столетий создавалась и культивировалась словесность, тексты которой рисуют нам ярко выраженные личности, в том числе и творческие. Я имею в виду, разумеется, Исландию с ее сагами и поэзией скальдов.

Я уже говорил о проповедях Бертольда Регенсбургского и, в частности, о его рассуждении о человеческой персоне как первейшем и главнейшем даре Господа каждому человеку. Если средневековые богословы и схоласты рассуждали о персоне преимущественно или даже исключительно как о Божественных ипостасях, то этот францисканский монах, обращаясь к простым верующим, впервые в средневековой мысли рассматривает, по сути дела, личность человеческую, причем, по его убеждению, persфne есть неотъемлемое качество всякого индивида.

Я не собираюсь излагать здесь концепцию книги о средневековом индивиде, но хотел бы лишь подчеркнуть: я шел к постановке этой проблемы на протяжении трех, если не четырех десятилетий. Далеко не сразу я полностью осознал ее смысл и значимость. Но ведь когда мы обсуждаем вопрос о миросозерцании средневековых людей, об их представлениях о времени — пространстве, о природе, о смерти и потустороннем мире, о праве, о социальной структуре, о богатстве и бедности, о грехе, чуде и святости, о смехе и страхах и т. д. и т. п., то по сути дела мы не можем не предполагать наличия некоего ядра, центра, с которым связаны все эти и многие другие проявления менталитета. Это ядро — человеческая личность, ее и нужно изучать во всем своеобразии и неповторимости, каковыми она обладала в контексте средневековой культуры.

Я полностью отдаю себе отчет в том, что проблему личности в средневековой Европе легче поставить, нежели решить, но постановка этой проблемы давно назрела, и к ее рассмотрению ныне обратился ряд историков.

Я уже не раз говорил, что при написании той или иной статьи или книги для меня очень важным было представить себе читательскую аудиторию. Переработка книги для отечественного читателя побудила меня по — новому взглянуть на многие стороны проблемы. Мы живем в обществе, в котором еще сравнительно недавно личность считалась поглощенной коллективом и самое понятие «индивидуализм» носило однозначно негативный смысл.

Ныне положение изменилось, личность и ее права, хотя бы теоретически, получают признание. Будущее нашего общества, естественно, воплощенное в новых поколениях, зависит от того, в какой мере каждый его член обретет самосознание, чувство личной ответственности и внутреннюю независимость. А потому и историческое сознание не может обойти вопроса о человеческом индивиде.

* * *

Случилось так, что работа над книгой об индивиде в средневековой Европе и написание этих мемуаров совпали во времени. Конечно, такое совпадение едва ли случайно. Размышления над судьбами людей совсем другой, давно миновавшей эпохи и попытка очертить собственный жизненный путь, несомненно, питаются из единого источника.

Работая над книгой о средневековом индивиде, я заметил, что в «Истории моих бедствий» Абеляр почти совершенно не упоминает своих друзей, между тем как известно, что долгие годы он был включен в плотную сеть человеческих контактов. Почему я об этом вспомнил? В моих мемуарах отсутствуют имена очень многих людей, с которыми я дружил или был близко знаком. Но логика изложения событий побудила меня воздержаться от рассказа о целом ряде коллег и друзей, к которым я был и остаюсь привязан. Я надеюсь, что они это поймут. К сожалению, жизнь моя развертывалась таким образом, что я то и дело приходил в столкновения в «боях за историю» со своими оппонентами и недоброжелателями. Им-то чаще всего и удавалось попасть на страницы моего повествования. Отсюда некоторое смещение света и тени в пользу последней.

Жизнь заканчивается, пора подводить итоги. Но я не поступлю так, ибо это уже не моя забота. Но все же я хотел бы надеяться, что ибсеновский Пуговичник, верно, поджидающий со своей ложкой на последнем перекрестке, не заставит меня идти в переплавку. Я сделал, что сумел, конечно, не все из намеченного,

но по крайней мере старался не увильнуть от своей судьбы. Может быть, кто-нибудь из тех, кто меня вспомнит, скажет: «Ты славно роешь, старый крот».

Ноябрь 1999 года — апрель 2000 года — август 2000 год

Postscriptum

Со времени написания «Истории историка» минуло три года. Жизнь продолжалась, и кое — какие факты следовало бы здесь упомянуть. Мне не пришлось сидеть сложа руки. Я в основном завершил работу над монографией, посвященной истории человеческой личности на средневековом Западе. Она представляет собой принципиально новую редакцию текста, написанного десятью годами ранее и предназначенного для издаваемой Жаком Ле Гоффом серии книг под общим названием «Строить Европу». Как и другие тома этой серии, моя книга опубликована в переводах на ряд языков, но когда я задумался над необходимостью подготовить ее для русского издания, то стало ясно, что она нуждается в глубокой переработке и резком расширении объема. Дело в том, что в среде отечественных историков идет, по временам обостряясь, полемика, в ходе которой кое — кем оспаривается возможность говорить о человеческой личности в эпоху, предшествовавшую Ренессансу. Я убежден в противоположном. Разумеется, человеческая индивидуальность в Средние века была существенно иной, нежели индивидуальность человека Нового времени. Задача, следовательно, заключается, прежде всего, в том, чтобы выяснить особенности структуры и статуса личности в ту эпоху, а не спорить о применимости этого понятия к Средневековью.

И вот, неожиданно для меня самого, я в разгар этой работы испытал соблазн обратиться, наряду с изучением автобиографий, исповедей и апологий средневековых авторов, к самому себе, к своему жизненному пути. Мне было бы трудно логически убедительно обосновать и объяснить связь, несомненно, существующую между этими двумя, казалось бы, совершенно разными начинаниями. Здесь достаточно высказать предположение, что историк, погружаясь в изучение жизненного пути индивида далекого прошлого, вольно или невольно соизмеряет его, этот путь, с собственным жизненным опытом. Сколь ни различны эпохи и персонажи, одно помогает понять другое.

Надеюсь, читатель не заподозрит меня в том, что я осмеливаюсь приравнять свою собственную личность к персонам такого формата, как Аврелий Августин или Петр Абеляр. И тем не менее, вчитываясь в «Исповедь» или в «Историю моих бедствий», я обнаруживаю некоторые схемы и ходы мысли, которые, mutatis mutandis, лежат в основе всех этих попыток автобиографии. Смена философских и религиозных убеждений приводит

Августина к познанию истинного Бога и к обращению в христианскую веру, и этот перелом представляет собой центральный и решающий момент его исповеди. Кульминационный пункт в жизнеописании Абеляра — это его кастрация и осуждение его теологического труда на церковном соборе, когда его вынудили собственной рукой бросить в костер свое сочинение.

В совершенно несоизмеримой системе масштабов автор «Истории историка» примерно в том же возрасте, когда пережил свое обращение Августин, должен был пройти через длительную и мучительную ломку научных убеждений. Одним из отдаленных последствий этой внутренней перестройки был конфликт с официальной идеологией и пропитанными ею принципами исторического анализа. Разве не представляли собой атаки коллег и «инстанций», понуждавшие меня отречься от выстраданных мною новых методов исследования, своего рода метафору научной самокастрации?

Как показал Хейден Уайт, историк строит свое повествование, руководствуясь наперед заданными ему требованиями «осюжечивания». В высшей степени рискованно пытаться проникнуть в собственное подсознание, и все же осмелюсь предположить, что чтение Августина или Абеляра, как и других средневековых авторов, и побудило меня в разгар этой работы внезапно отвлечься на сочинение собственного научного досье. Изучая судьбы людей прошлого, мы ведь неизбежно сопоставляем их с собственной судьбой — и для того, чтобы найти параллели и сходства, и для того, чтобы более отчетливо представить себе облик Другого. Ибо знакомство с этим Другим помогает нам понять самих себя.

* * *

Только что, после затянувшихся на несколько лет проволочек, наконец-то опубликован капитальный коллективный труд «Словарь средневековой культуры». В его создании приняли участие без малого сорок авторов, включая нескольких зарубежных коллег. В сотне с небольшим статей, как правило, довольно обширных, мы старались на конкретном материале продемонстрировать тот подход к постижению культуры средневекового Запада, который присущ исторической антропологии. Любопытно то, что авторами, взгляды и ориентации которых отнюдь не единообразны, в конечном итоге была воссоздана картина средневековой культуры, отвечающая

требованиям современной медиевистики.

Остается надеяться, что наш труд послужит достойным ответом на недавно прозвучавшие инсинуации о «кончине» исторической антропологии. Этот спор решается в первую очередь не посредством отвлеченных спекуляций, но в процессе исследования конкретного материала. «Словарь» наш ни в коей мере не претендует на полноту, однако, надеюсь, сыграет свою роль в качестве стимула для дальнейших изысканий.

Одновременно со словарем появился очередной (уже пятнадцатый, начиная с 1989 г.) выпуск ежегодника «Одиссей. Человек в истории». Чуждые какому бы то ни было научному сектантству, мы стараемся на страницах нашего журнала нащупать и обосновать новые подходы к изучению истории, воплощающие историко — антропологический взгляд на нее. Кажется, нам удалось преодолеть медиевистическую замкнутость, и на страницах «Одиссея» за последние годы появились статьи и по русской истории, и по истории Востока, и по истории Нового времени. Эта работа должна быть продолжена, ибо косность мышления все еще характерна для значительной части отечественных историков.

* * *

Что касается меня самого, то несмотря на катастрофически быстро приближающееся восьмидесятилетие я время от времени предпринимаю попытки обсудить проблемы, которые в одних случаях вытекают из сделанного прежде, а в других — диктуются меняющейся историографической ситуацией. Здесь я позволю себе упомянуть две статьи, опубликованные мною в последних выпусках «Одиссея».

В одной из этих статей я возвращаюсь к дискуссии о понятии «феодализм». Более тридцати лет назад я чуть было не свернул себе шею, подняв этот вопрос в книге «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе». Сравнительно недавно появившиеся на Западе работы, как кажется, подтверждают мысль о неправомерности глобального осмысления всей средневековой эпохи как «феодальной». Теоретические построения мыслителей, юристов и историков начала Нового времени были без должных оснований ретроспективно распространены на все институты и порядки, существовавшие в Западной Европе на протяжении предшествовавшего тысячелетия. В результате игнорировались живое многообразие и принципиальная многоукладность социальной и культурной действительности той эпохи. Эта

неискоренимая гетерогенность была принесена в жертву односторонней стилизации. Я убежден, что накопление новых наблюдений и, главное, освобождение от тяжкого груза догм, наследия философско — исторических построений времен Гегеля и Маркса, открывает возможность воссоздания более объективной и убедительной картины европейского прошлого.

В другой только что опубликованной статье я позволил себе ввязаться в обсуждение вопроса о смысле поругания тела умершего Папы римского или светского монарха. Эта тема, как показал немецкий исследователь Р. Эльце, многократно возникает в памятниках на протяжении всей средневековой эпохи. Как мне представляется, интерес в этой связи привлекают два вопроса. Первый: в какой мере современный историк может принимать на веру сообщения средневековых церковных авторов, в поле зрения которых неизменно остаются сообщения о жалкой участи трупа государя, тогда как информация о панических состояниях массы населения, охваченного ужасом и разрушавшего все, оттесняется на задний план? Второй вопрос, над которым я не мог не призадуматься, — о переживании времени, носителем и владыкой коего в ту эпоху считали государя, так что его смерть, как я полагаю, воспринималась подданными, всем обществом, как «конец времен», как апокалиптическое завершение жизни рода человеческого. Такая гипотеза подтверждается сообщениями северных саг о скандинавских конунгах, жизнь и смерть которых связывались современниками с благополучием социума.

Таким образом, на излете своей научной деятельности мне приходится вновь возвращаться к темам, которые я начал разрабатывать несколько десятков лет тому назад. Все же, я надеюсь, речь идет не просто о возвращении к прежнему, а о попытках раскрыть новые стороны в содержании старых проблем — концепта феодализма, восприятия времени, понятия личности. Эти проблемы поистине неисчерпаемы, и от уменья исследователя зависит, насколько глубоко он проникает в тайны исторических источников.

* * *

Но возвратимся к «Истории историка». Как уже было упомянуто, я изложил ее содержание в серии лекций, прочитанных в семинаре. Этому способу повествования присуща известная спонтанность, но вместе с тем я не мог не заметить, что подвергаю свой рассказ определенной цензуре: не все из

задуманного излагается вполне свободно, и кое — какие острые факты и ситуации мною замалчиваются. В одних случаях эти купюры продиктованы нежеланием задеть упоминаемых в рассказе лиц, в других — стремлением избежать извлечения «скелета из шкафа».

Когда перечитываешь записанное, то вспоминаются все новые факты и положения, но, по здравому размышлению, я решил не делать никаких добавлений в тексте. О том, что мне казалось важным, я поведал по возможности объективно, раздувать же свою научную автобиографию, по — моему, незачем.

Пожалуй, главное, о чем я по большей части умолчал, — это рассказ о друзьях и знакомых. Этот сюжет едва ли мог бы быть легко вплетен в ткань моего повествования, в центре которого остаются «бои за историю». К старости я потерял многих друзей. «Иных уж нет, а те далече». В моей записной книжке немало номеров телефонов, по которым уже некому звонить. Но дело не только в уходе из жизни друзей и коллег. Отношения с рядом лиц, длившиеся многие годы, прекратились, а горечь и досада остались, и здесь, пожалуй, не место говорить об этих разрывах. Решись я на подобные откровения, в «Истории историка» появилось бы немало желчи. А этого я хотел избежать. Ведь и без того читатель, вероятно, уже имел возможность убедиться, что автор наделен нелегким характером. Впрочем, я не исключаю того, что, если судьба дарует мне еще силы и время, я зафиксирую свою historia arcana и в ней кое кому не поздоровится.

Возвращаясь к главному, я считаю нужным вновь подчеркнуть: необходимо сохранить память о потрясениях, пережитых нашей наукой и ее носителями. Совсем недавно, уже после того как я продиктовал свои мемуары, вышла в свет книга Е. В. Гутновой «Пережитое». Я был настолько поражен тенденциозностью и неискренностью ее воспоминаний, что опубликовал подробный их разбор («Историк среди руин». Средние века. Вып. 63. — М., 2002). Однако нет гарантий того, что и впредь наш читатель не столкнется с «кривыми» версиями истории отечественной исторической науки. Поэтому, завершая этот затянувшийся postscriptum, я призываю моих сверстников, сохранивших честную память о том, что нам довелось испытать, передать свой жизненный опыт новым поколениям историков.

Сентябрь 2003